

3-1968

Март

К столетию со дня рождения А. М. Горького

Двадцать восьмого марта 1968 года советская литература, весь советский народ и прогрессивное человечество отметят замечательный юбилей — 100-летие со дня рождения гениального художника слова Максима Горького, основоположника литературы социалистического реализма. Это был человек необыкновенной, поистине легендарной судьбы. Пережив голодную, полную лишений и тягчайших испытаний юность, не раз побывав на самом «дне» жизни и на краю гибели, он не только не очерствел душой и не впал в отчаяние, а проникся глубочайшей любовью к людям труда, верой в их будущее. Жизнь Максима Горького стала наглядным и неопровержимым свидетельством того, какие неисчерпаемые запасы творческой энергии таит в себе народ.

Для него, как и для большинства людей «низов», оказались закрытыми обычные пути к знаниям. Он должен был, проучившись год, прервать занятия в начальном училище, чтобы пойти «в люди», стать «мальчиком» в магазине, посудником на пароходе, грузчиком, бурлаком, батраком, подручным пекаря. Как мечтал он об университете! Впоследствии он вспоминал: «Если б мне предложили: «Иди, учись, но за это, по воскресеньям... мы будем бить тебя палками!» — я, наверное, принял бы это условие». Ему пришлось пройти совсем другие «университеты», но он сумел овладеть таким широким кругом знаний, что потом не раз поражал и восхищал своей образованностью крупнейших ученых. Жизнь Максима Горького стала символом подъема многомиллионных трудовых «низов» к высотам мировой культуры.

Выйдя из народной массы, он не ушел от нее, а посвятил всю свою жизнь борьбе за ее интересы, за ее свободу и счастье. Успех, популярность, слава переставали его радовать, если он начинал сомневаться в том, приносит ли его творчество пользу народу. В 1900 году, когда его первые сборники получили невиданное распространение, когда повесть «Фома Гордеев» вызвала огромную прессу и когда имя его было у всех на устах, он признался в письме к другу, что готов бросить перо: «Литература? Для кого литература?.. Когда я подумаю о людях, которые читают, и о тех, которые не читают, — мне делается неловко, неудобно жить». Годы революционного подъема, когда на авансцену истории вышел гот «читатель-друг», читатель-народ, о котором мечтали писатели XIX столетия, освободили Горького от его сомнений. Но чем больше он мог обращаться к «читателю-другу», тем резче высказывал презрение к «читателю-врагу». Когда группа буржуазных литераторов стала упрекать Горького за то, что он не ценит их любовь к нему, их протесты против заточения его в тюрьму, он ответил: «С точки зрения здравого смысла вам, господа, следует желать, чтобы я в тюрьме сидел возможно чаще и дольше... Господа! Искренно говорю вам: мне, социалисту, глубоко оскорбительна любовь буржуа!».

Всю жизнь борясь за свободу личности и свободу творчества, он увидел реальный путь к такому освобождению не в пустом и лицемерном призыве к «абсолютной свободе», а в социалистических идеалах, в борьбе ленинской партии, в строительстве коммунизма. Жизнь Максима Горького показала, какую целеустремленность, бесстрашную правдивость и подлинную свободу обретает творчество художника, если его путь озарен светом «основной. организующей идеи» — идеи коммунизма.

Максим Горький выступал в литературе как прямой продолжатель своих великих предшественников, как художник, развивающий традиции реалистического искусства. И вместе с тем мало было в литературе XX столетия писателей, которые так неустанно искали бы и экспериментировали в содержании и форме творчества, так много раз заново начинали бы поиски и в жанре рассказа, и в широких эпических полотнах, и в драматургии, так беспощадно переоценивали бы все ими достигнутое, чтобы сделать новый шаг вперед.

На долю Максима Горького как художника выпала задача огромного значения: запечатлеть переход от предыстории человечества к его подлинной истории, отразить час рождения новой, социалистической эры. Решая эту задачу, он сделал столько художественных открытий, поставил по-новому столько проблем и так помог людям XX столетия понять свое место в истории и свою ответственность перед нею, что ни он сам, ни его творчество никогда не будут забыты.

Б. Бялик

## ОТЕЦ

Алексей Максимович почти не помнил своего отца. Максим Савватеевич Пешков ухаживал за маленьким Алешей, заболевшим холерой, и спас сына, но заразился от него сам и умер. Мать считала Алешу виновным в этой смерти и не любила его, да и она прожила недолго...

Писатель вспомнил об отце, когда избрал для себя псевдоним: Максим Горький. В честь отца назвал он Максимом и своего первенца. Испытав с самого раннего детства всю горечь сиротства, он тем сильнее любил своих детей — Максима и Катю. Этой любовью светятся его письма к жене — Екатерине Павловне и к маленькому, учившемуся читать сыну.

Горький писал семилетнему-восьмилетнему Максиму: «Скоро мы увидимся с тобой... Я буду рад, мне тоже без тебя скучно, очень я люблю тебя... Поцелуй Катеринку, которую я тоже люблю и хочу видеть» (29 мая 1904 г.); «Я очень рад, что ты стал часто писать мне, приятно читать твои письма!.. Поцелуй Катюшку» (1905 г.); «Ты — молодец, сынишка, славно написал мне про сестренку Катю. Я читал и смеялся...» (апрель 1905 г.); «Дорогой мой сынишка! Ты можешь читать по писанному, или все еще только печатное читаешь? Почему иногда не напишешь мне?.. Хочется знать, как ты живешь, что делаешь? Как живет смешная Катеринка?» (19 января 1906 г.); «Спасибо тебе за твое хорошее письмо. Очень хочется увидеть тебя и Катеринку, но приехать не могу, потому что должен ехать в другую сторону и далеко. Увидимся, когда в России будет конституция... Что такое конституция — спроси у мамы» (январь 1906 г.).

Я выбрал несколько строк из многих писем Горького к сыну с упоминаниями о маленькой Кате. Потом эти упоминания обрываются: дочь умерла. Ее смерть была тяжелым ударом для Горького. Во второй половине декабря 1906 года он писал Екатерине Павловне из Италии: «Привези мне карточку Кати. Как она красива была! Особенная какая-то. Села она мне гвоздем в сердце». Теперь вся отцовская любовь Алексея Максимовича сосредоточилась на Максиме. Письма Горького к сыну (а они составляют целый том, который готовится к печати Архивом А. М. Горького) выражают и любовь к родному человеку, и заботу о воспитании будущего гражданина, и растущее чувство товарищества и дружбы между сыном и отцом.

Вот что писал Горький Максиму в декабре 1907 года:

«Милый мой сынище и дружище!

За письмо — спасибо, ждал я его от тебя лет 600 и очень рад, что, наконец, ты раскачался, на старости лет потрудился и написал.

И пишешь не дурно — толково, ясно. Только вот твое мнение насчет учителей не очень мудро, ну да это не беда! Я верю, что когда ты будешь старше, заговоришь о людях иначе, получше.

Знаешь, почему некоторые люди плохи? Потому что их злят, право, только поэтому. Если начать над тобой смеяться каждый день, так ты и сам через месяц будешь злющий, как волк — не правда ли?

И если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди, — попробуй относиться к ним внимательно, ласково, вежливо — увидишь, что все станут лучше. Все в жизни зависит от тебя самого, поверь мне.

Ну, это скучно для тебя, потому я перестану...»

Сколько еще таких «поучений» — мудрых и любовных — рассыпано по письмам Горького! Их почти всегда сопровождают шуточные примечания, вроде: «пойми — у всех племен и наций отцы не пишут без нотаций».

Горький меньше всего хотел «подавить» сына своими знаниями, опытом, авторитетом, он стремился пробудить в нем способность к смелому самостоятельному мышлению. И это удалось ему. Удалось до такой степени, что бывали моменты, когда сын оказывался способным в чем-то помочь отцу, иногда в очень существенном и важном.

В 1917 — 1918 годы, когда Горький сомневался в своевременности социалистической революции и разошелся в этом вопросе с горячо любимым им В. И. Лениным, сын решительно стал на сторону Владимира Ильича. 4 апреля 1917 года Максим вступил в большевистскую партию, участвовал в агитации среди войск, а в Октябрьские дни в Москве принял участие в боях. Потом работал в Управлении всеобщего военного обучения, был корреспондентом «Правды» и «Известий», исполнял ряд ответственных поручений, например, в 1918 году, в пору голода, участвовал в поездке в Барнаул за хлебом для Москвы. А в следующие годы выезжал в Германию и в Италию в качестве дипкурьера.

В. И. Ленина в ту пору огорчало то, что Горький слишком загрузил себя в Петрограде организационными и редакторскими делами, мешавшими ему поехать по России и увидеть то новое, что возникало тогда и в городах, и в деревнях, и в сражавшейся Красной Армии. На настроении Горького, несомненно, сказывалось то, что он сузил приток впечатлений от новой действительности. И если настроение его стало вскоре меняться, то свою роль в этом сыграли многие факты и впечатления, в том числе письма Максима о поездках по стране, его рассказы об увиденном и пережитом (один из таких рассказов был по настоянию отца записан Максимом и опубликован в «Известиях» под названием «Лампочка»). Горького радовало, что у сына есть литературные способности и другие дарования.

26 мая 1934 года, после безвременной кончины Максима, умершего от воспаления легких в тридцатилетнем возрасте, Горький писал Ромену Роллану: «Смерть сына для меня — удар действительно тяжелый... Он был крепкий, здоровый человек, Максим, и умирал тяжело. Он был даровит. Обладал своеобразным, типа Иеронима Босха, талантом художника, тяготел к технике, к его суждениям прислушивались специалисты, изобретатели. У него было развито чувство юмора и хорошее чутье критика. Но воля его была организована слабо, он разбрасывался и не успел развить ни одного из своих дарований».

Горький оказался в этих словах не совсем справедливым к сыну. Да, оказался, хотя, возможно, никого за всю свою жизнь не любил так, как его. Оказался потому, что не знал об одном обстоятельстве, которое помешало Максиму развить многие его дарования, но помогло расцвести одному из них, самому ценному, принесшему огромную пользу. Об этом надо знать, так как это часть биографии самого Горького.

Дарования, о которых писал Горький Ромену Роллану, были действительно присущи Максиму. После него осталось много талантливых, близких к шаржу и гротеску рисунков и акварелей, которые Горький собирался издать отдельной книгой, снабдив своим предисловием. Переводя для отца материалы зарубежной прессы (Максим владел четырьмя иностранными языками), он нередко поражал Горького меткостью своих наблюдений и оценок. Интерес Максима к авиации, к автомобилизму, вообще к технике и спорту был не просто увлечением: Максим высказывал смелые, новаторские для своего времени технические идеи. Например, он еще в юности доказывал необходимость создания аэроплана с убирающимися в полете шасси. Он мог стать и художником, и литератором, и инженером, но, к большому огорчению отца, не избрал ни одной из этих профессий. Не потому, что разбрасывался, а потому, что сосредоточил все внимание, все силы, все способности на решении одной задачи — той, которую поставил перед ним В. И. Ленин.

В 1918 — 1921 годах Максим часто встречался с Владимиром Ильичем. По-видимому, к первой половине 1918 года относится письмо Максима к В. И. Ленину с рассказом о тех переменах, которые стали намечаться в настроении отца: «Папа начинает исправляться — «левеет». Вчера даже вступил в сильный спор с нашими эс эрами, которые через 10 минут позорно бежали». Злодейское покушение на В. И. Ленина потрясло Горького и заставило на многое взглянуть по-новому. Он часто бывал у Владимира Ильича или направлял к нему с поручениями Максима, имевшего постоянный пропуск в Кремль. В письмах Горького к сыну, посланных из Петрограда, нередко просьбы такого рода: «Этих людей... необходимо провести к Ильичу. Звони ему и скажи, что я очень прошу его принять делегацию от Петроградского технологического института» (сентябрь 1919 г.); «Сынишко! Тебе передадут письмо, которое ты должен немедля доставить Ильичу...» (1920 г.); «Пожалуйста, Максим... немедля передай мое письмо Ленину и Дзержинскому...» (1920 г.).

В дневнике Максима есть записи о посещениях Владимира Ильича на даче, об игре с ним в городки. Если Максима долго не было, В. И. Ленин справлялся о нем. Горький писал в мае 1921 года сыну, исполнявшему обязанности диктатора в Италии: «Ильич спрашивал, где ты?» Об отношении В. И. Ленина к Максиму свидетельствует теплая дарственная надпись на книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

Максим, как и отец, сохранил в своем сердце чувство безграничного уважения и любви к великому вождю. В первый после шестилетнего отсутствия приезд в СССР Горький посетил вместе с сыном Мавзолей В. И. Ленина. Они долго пробыли в Мавзолее, пропуская мимо себя бесконечный поток людей. 31 мая 1928 года Максим записал в дневнике: «Мавзолей В. И. Огромная очередь. Дуку узнали, но ни один человек не выказал этого...» (Дукой он шутливо называл отца.)

Один совет Владимира Ильича имел для Максима особенно большое значение, повлияв на всю его дальнейшую жизнь. Об этом совете Максим рассказал матери и не раз потом рассказывал жене Надежде Алексеевне, но отцу ничего не сказал. Когда в январе 1919 года Максим вступил добровольцем в Красную Армию, В. И. Ленин решительно возразил против его отъезда на фронт. Он сказал тогда Максиму: ваш фронт — около вашего отца.

Максим понял все значение этих слов, в них была выражена та же мысль, что и в опубликованных в 1917 году ленинских «Письмах из далека»: «Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению». Помогать такому отцу, стараться облегчить его огромный повседневный труд — разве это было лишь сыновним долгом, а не делом, полезным для миллионов людей?

Нельзя не поражаться тому, как мог Горький, имея — и то не всегда — одного секретаря, справляться с бесчисленным количеством общественных, организационных, редакторских обязанностей, с поистине необъятной перепиской, с необходимостью следить не только за выходящими книгами, но и за периодической прессой, в том числе иностранной. Мы не перестанем поражаться, но лучше это поймем, если примем во внимание, что главным секретарем и помощником Горького был его сын.

Максим не только переводил для отца книги, статьи, письма, но и перепечатывал на машинке все его рукописи (отец шутя называл его своим «печатным станком»). Пригодилось Максиму и его увлечение автомобильным спортом: он часто брал в руки руль машины, в которой ехал отец, а еще чаще совершал поездки на автомашине или на мотоцикле, выполняя поручения отца. Пригодились ему и способности живописца: Максим сделал немало рисунков, в том числе шуточных, изображающих Горького в различные моменты его жизни, и множество снимков, запечатлевших отца в кругу близких и наедине с самим собою, в минуты веселья и в часы раздумий. Миллионы людей не знали бы каких-то черточек облика Горького-человека, если бы не эти снимки. Необходимы были и глаз художника и безграничная сыновняя любовь, ставшая подлинным дарованием, чтобы создать удивительную фотолетопись, которую давно пора напечатать отдельной книгой.

«Максим Пешков был простой, широкий, душевный человек и патриот», — вспоминал Лев Никулин. Рассказывая о том, как тяжела была для Горького смерть единственного сына, Никулин писал: «Ушел сын, отдавший всю свою жизнь отцу, самый близкий по крови человек». В те дни Горький получал письма с выражением самого глубокого соболезнования от сотен и тысяч людей — рабочих, колхозников, писателей, ученых. Руководители партии и правительства писали Горькому: «Верим, что Ваш несокрушимый горьковский дух и великая воля поборют это тяжелое испытание».

Горьковский дух оказался действительно несокрушимым — писатель вернулся к своим многообразным обязанностям и делам. Но силы его все же не были беспредельными — удар был слишком неожиданным и тяжким. Горький ненадолго пережил сына...

Я снова и снова перечитываю письма Алексея Максимовича к Максиму и думаю о том, как много они говорят сердцу каждого отца и каждой матери. Но еще больше они должны волновать молодых людей, которые прочитают эти письма как адресованные, обращенные прямо к ним. Разве молодые люди смогут иначе воспринять, например, такие слова из письма Горького к десятилетнему сыну:

«Ты уехал, а цветы, посаженные тобою, остались и растут. Я смотрю на них, и мне приятно думать, что мой сынишка оставил после себя на Капри нечто хорошее — цветы.

Вот если бы ты всегда и везде, всю свою жизнь оставлял для людей только хорошее — цветы, мысли, славные воспоминания о тебе, — легка и приятна была бы твоя жизнь.

Тогда ты чувствовал бы себя всем людям нужным и это чувство сделало бы тебя богатым душой, Знай, что всегда приятнее отдать, чем взять».

Герой первого рассказа Горького — произведения, с которого начался его творческий путь, — старый чабан Макар Чудра, выслушав рассуждения рассказчика о назначении человека, иронически отвечал ему: «Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми?» Макару Чудре казалось, что такая наука невозможна, — он ошибся. В сущности, все, чему учил Горький сына, более того, все, чему он учил своих читателей, было именно такой наукой.

Ведь это и есть счастье — находить радость в том, чтобы одарить других плодами своей мысли и своего труда и богатеть душой от каждого своего подарка.

А. М. Горький

## ПИСЬМА К СЫНУ

1

[С Капри в Париж, 2 сентября 1911 г.]

Посылаю тебе, сынишко, Твэна; прочитай — смешно! Особенно хорошо было бы внимательно прочитать «Претендента». Вот, не жалуйся на недостаток книг. И не сердись, что пишу на открытке, очень уж некогда. На днях напишу большое письмо. А пока — до свидания, будь здоров!

Алексей

Поклон маме, бабушке, Вере и мадемуазель и всему свету.

«...прочитать «Претендента»... — Речь идет о повести Марка Твена (1835 — 1910) «Американский претендент». М. Горький высоко отзывался о творчестве Марка Твена, неоднократно рекомендовал сыну читать его произведения. В особенности ценил «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». В беседах с Е. П. Пешковой говорил об этих повестях как о «...Чудесных книгах, гениально отразивших романтику детского сердца и проникнутых возвышенным и здоровым духом...». В письме к Е. П. Пешковой он писал: «Помоги ему прочитать «Американского претендента». Это здоровая и полезная вещь. Объясни хорошенько характер полковника, противопоставь ему нашего Хлестакова...»

Бабушка — Волжина Мария Александровна (1848 — 1939), мать Е. П. Пешковой.  
Вера — Кольберг Вера Николаевна (1872 — 1954), друг семьи Пешковых.  
Мадемуазель — домработница Пешковых Катерина Каподуро.

2

[Мустамьяки, май 1914 г.]

Спасибо, милый, за письмо и за обещание твое сообщать мне о ходе экзаменов, они меня тоже, брат, волнуют, словно я сам должен сдавать их.

Так как времени у тебя мало, писать длинные письма тебе некогда, ты пиши открытки, это легче.

Мама извещает, что ты похудел и устаешь, — это меня очень печалит!

Поздравь Алексина с новорожденным авиатором, — теперь уж ясно, что все новорожденные станут летать, когда дорастут лет до 15-ти.

Был я на полетах Пуарэ и Пэгу. Хорошо летает Пуарэ, хорошо — Раевский, но Пэгу, — это нечто совершенное и дальше этого, мне кажется, некуда идти! Летает он совсем как ласточка или стриж, а ведь полет этих птиц самый быстрый, сложный и легкий в смысле легкости и умения пользоваться воздушными течениями и преодолевать их. Его «мертвые петли» совсем не вызывают страха за него, — так они естественны и ловки! Он делает их по десятку сразу, он летает вниз головою, кверху колесами аппарата, — этого даже и птицы не могут сделать! Все, что делает он, возбуждает чувство безграничного уважения к смелости человека, чувство крепкой уверенности в силе разума и науки, — единственной силе, которая способна одолеть все препятствия на пути людей к счастью, к устройству на земле иной, новой, легкой жизни! Он летает в двух метрах над головами публики; направит аппарат прямо на трибуны и — вот-вот обрушится на людей, наскочит на крышу, — но в сажени расстояния вдруг ставит аппарат на хвост и. — взмывает вверх! Это изумительно и потрясает, радует до слез, серьезно!

Он страшно веселый, живой, сидит в машине и все время болтает, поет, размахивает руками, — удивительная птица! Вот когда я поверил, что человек действительно выучился летать, действительно победил стихию — воздух, как победил огонь!

Удивительно хорошо на душе, когда смотришь на таких смелых людей! Верить, что человек! — все может, что если он хорошо захочет — он своего достигнет!

Когда Пэгу будет летать в Москве — ты обязательно иди посмотреть и тащи мать с собою.

В Питере я был два дня, город этот все более не нравится мне. И город, и люди, населяющие его. Сейчас сижу в зеленой Финляндии, вчера целый день капал дождь, сегодня небо — в синих тучах, незнакомых Италии.

Как всегда, я много работаю. Бывают у меня разные странные господа. Третьего дня был человек, у которого отнялись руки и ноги. Его снял с извозчика и внес в комнату, как ребенка, слуга его, огромный донской казак. Это, брат, очень не весело! Человек — умный, ученый, молодой, а — умирает от прогрессивного паралича, сквернейшей болезни!

Вот как: с одной стороны — Пэгу, а с другой — эдакий русачок!

Ну, устал ты читать это длинное послание, — будь здоров, дорогой!

Очень желаю тебе хорошей прогулки по Кавказу, только, смотри, не попадай в руки разбойников, а то за тебя возьмут такой выкуп — .ахнешь!

Я бы советовал тебе ехать на Кавказ Волгой и Каспием, до Петровска, а оттуда по железной дороге, — на Владикавказ и Военно-Грузинской — в Тифлис.

Но — увы! — там, в Баку, чума!

До твоего отъезда я тебя обязательно увижу, м[ожет] б[ыть], на пароходе поедем вместе, а? Сообрази!

Будь здоров, дорогой!

Скажи мамашке, что я напишу ей скоро — завтра, послезавтра! Не скучала бы, принимала бы больше новорожденных и вообще — не падала бы духом. Жизнь — очень интересна! Кабы я не был прикован к столу, я бы все ходил, смотрел на всех и на все, — хороша, с каждым днем все лучше, интереснее жизнь наша!

Крепко обнимаю тебя, огромный мой сынище! Будь здоров и того же пожелай маме. Скажи ей, что у меня Зинаида со своим Лясиком. Очень постарела. До свидания! Одолевай скорее науки!

Отец Алексей, пустынный финский.

Александр Николаевич Алексин (1863 — 1923) — друг Горького, в 1914 г. главный врач санатория имени Четверикова в Сокольниках в Москве (см. очерки «А: "Н". Алексин» — М. Горький. Собр. соч., т. 14).

Зинаида Владимировна Васильева (р. 1874) — жена друга Горького Н. В. Васильева. В мае 1914 г. жила в Мустамяках вместе с сыном Алексеем Николаевичем Васильевым (1893 — ?). В письме Е. П. Пешковой от середины (конца) мая 1914 г. Горький сообщал: «Здесь — Зина. Видимо очень устала, очень постарела, но все такая же вдумчивая, живая, наблюдательная. Сын ее — нервен и, кажется; избалован ею. Она будет учительницей в Москве» («Архив А. М. Горького», т. 9, стр. 1551).

3

Из Петрограда в Москву, 16 апреля 1919 г. Почтенный сын мой)

Я тебя одобряю, ты устроился остроумно. Согласна-ли с этим мать, столь скептически относящаяся к твоему практицизму, а также и вообще к разумности твоей? На мой взгляд — ты опроверг ее скептицизм и сие прекрасно.

Сердечно желаю тебе успеха в работе, но — пожалуйста! — будь осторожен и береги сердце, — у спортсменов, как тебе известно, оно быстро изнашивается.

Твои рисунки Роза и Соловей находят талантливыми, а рисунки С[ерге]я Б[артольда] таковыми не находят, о чем ты автору не говори, не надо. М. б. Роза и Соловей ошибаются.

Сам я в этих делах не знаток, однако, мне кажется, что если б ты взял несколько уроков у хорошего художника, это было бы не лишним для тебя.

Поучись, а? Годится. Ибо всякое знание — чрезвычайно пригодная вещь.

Не теряю надежды, что ты все-таки однажды отправишься путешествовать по земле. Фотографический аппарат — скучная, мертвая вещь, рисунок от руки — даже плохой — живое дело.

Видишь, — я все еще продолжаю воспитывать тебя, от чего ты и становишься с каждым днем лучше.

Я уверен, что лет через 10 ты будешь совершенным человеком, благодаря моему педагогическому искусству. А пока — живи просто, искренно и честно, что, впрочем, ты уже умеешь.

Недавно мне стукнуло лет 200. Ничего особенного я не испытал при этом. Теперь разные люди собираются писать обо мне разные книги; — одобряю — каждый человек должен зарабатывать деньги. Книги требуют иллюстраций, — не желаешь-ли дать рисунок-другой на тему «Каким я его помню в детстве», т. е. каким ты видел меня в детстве, иными словами: каков я был ребенком и — род моих занятий в этом возрасте. Ты понял?

Если ребенок, т. е. — рисунок будет удачен, я попрошу напечатать его в книге и ты прославишься, что никогда не худо, ибо открывает кредит в мелочных лавочках. Лавочек нет? Будут. Колчак восстановит.

Как я живу — тебе известно, а мне не очень известно. Живу, однако. Соображать начинаю, когда ложусь спать, а день целиком действую наобум.

Вчера — вторник — 15 — получил телеграмму из Малоархангельска: «Вольнов распоряжением губчека отправлен вся распоряжение, часть материала, дальнейшее следствие ведется 59 президиум Ефремов».

Я не настолько грамотен, чтобы понять сей текст. Что значит «ВСЯ» В. Ч. К. или ВАШЕ, т. е. мое? Не знаю.

Я телеграфировал о Вольном Малоархангельск, Ленину, Луначарскому... Жду хороших известий. Не тревожусь.

Здесь — скверно: весна и — значит — тиф, тиф тиф!

Все знакомые пока еще живы, но — кушать нечего, а когда человек голоден — он хочет есть. Это — один из законов природы. Есть еще несколько таких законов, но в данном случае о них можно не говорить.

Ты — здоров? Судя по тому, как долго ты не писал, я думал: не отсохла-ли у тебя та часть тела, которая помогает тебе писать? Ныне, убедаясь, что она в порядке, — ликую.

Здесь ходят слухи страшнее сообщенных тобою, и, так как на улице до чорта грязно, они тоже грязные.

Как живет достопочтенная мать Екатерина Самарская? Была Екатерина Сиенская, женщина тоже святой жизни, но — в ее эпоху телефонов не было и, потому, ей жилось спокойнее.

Все-таки — здоров ты? Напиши. Это интересно знать твоему отцу, человеку почтенному.

И вообще напиши. Ты знаешь — я бытовик и очень интересуюсь бытом: что едите, пьете и т. д.

Я нахожу, что жить — трудно. Так думают и еще некоторые люди, довольно разумные.

До свидания, сын мой! Прежде всего — будь здоров, все-же остальное — второстепенно. Здоровый дух очень способствует здоровью телесному.

Обнимаю.

Приветствую мать.

А.

«...желаю тебе успеха в работе...» — Максим вступил в спортивно-гимнастическую секцию при секторе внутренней обороны Петрограда.

Роза и Соловей — шуточные прозвища художницы Валентины Михайловны Ходасевич и художника Ивана Николаевича Ракицкого.

С[ерге]й В[артольд] — друг Максима Пешкова.

Недавно мне стукнуло лет 200 — 50-летний юбилей Горького праздновался 27 марта 1919 г., в то время как Горькому исполнилось 50 лет 28 марта 1918 г.

Жду хороших известий — 14 апреля 1919 г. В. И. Ленин телеграфировал Горькому об освобождении писателя И. Е. Вольнова из заключения (см. сборник «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы». 1-е изд. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 21).

## ПИСЬМО СЫНА К М. ГОРЬКОМУ

Прошу поместить в Петрогр(адском) издании «Н(овой) Ж(изни)». Автор «Созидают». 19 июня 1918 г.

Многоуважаемый Алексей Максимович.

Ожидая ежедневно появления моего фельетона «Созидают» и тратя массу времени и здоровья на просмотр всех газет, я был чрезвычайно удивлен раздавшимися сегодня утром в Москве шумом и криками.



Узнав о причине тех и других, я был возмущен. Всех привела в восторг статья М. Горького «Ланпочка». Просмотрев таковую, я нашел, что вышеупомянутые «Ланпочки» являются плагиатом моего фельетона «Созидают», к этому времени возбуждение на улицах достигло такого волнения, что я должен был отказаться от мысли проследовать в Чрезвычайную Ком(иссию) по борьбе со спекуляцией и переменить маршрут, явиться в Московское отделение газ(еты) «Н(овая) Ж(изнь)», где я огласил факт похищения моей статьи.

Имею честь заявить.

1. Считаю подобные поступки с Вашей стороны недопустимыми и порочащими Ваше многоуважаемое имя.

Я предлагаю Вам следующее:

а) Опубликовать имя настоящего автора.

б) Выдать ему полностью полученный Вами гонорар (которым я буду располагать по своему усмотрению).

в) Уплатить 100 р. 80 к. за беспокойство и связанные с ним расходы.

В противном случае я буду принужден обратиться в судебно-уголовную комиссию при Чр(езвычайной) Сл(едственной) Ком(иссии).

С почтением Настоящий автор статьи

Ваш сын Мах. Р.

Шутливое письмо М. А. Пешкова было написано в связи с публикацией очерка «Лампочка», приписанного М. Горькому редакцией газеты «Известия» (1918, 20 июня. № 125). В Архиве А. М. Горького очерк М. А. Пешкова хранится с припиской Ы. Горького:

«Очерк «Лампочка» был подписан «М. Пешков» и передан И. И. Скворцову-Степанову в кремлевской столовой для «Известий». Так как очерк был передан мною. — редакция «Известий» приписала его мне, зачеркнув подпись: «М. Пешков».

В «Новой жизни» очерк этот, кажется, не печатался.

М. Горький».

Публикация Архива А. М. Горького.

Составители В. С. Бараков, Е. Г. Коляда, А. Е. Погосова, В. М. Чуваков.

Фото из архива Н. А. Пешковой.

Стихи

Татьяна Кузовлева

Темноголовая девочка Оля,  
сядь-ка со мной, посиди.  
Слышишь, за речкой, за скошенным полем  
в землю уходят дожди.

Шорох их так осторожен и светел, —  
вслушайся в пенье стекла.  
Разве могло так случиться на свете,  
чтоб я тебя не нашла!

Чтоб горевать мне о непоправимом,  
локти придвинув на стол,  
чтобы отец твой неузнанным мимо  
глаз моих тихих прошел,

чтобы в плену многочисленных буден,  
в жестком кольце суеты,  
нас с ним однажды какие-то люди  
разъединили в пути.

Но, если б даже случилось такое —  
вырвалась злая метель, —  
голос твой — как над уснувшей рекою  
серебряная свирель.

Он прозвучал бы призывно и чисто,  
выбрав из тысячи — двух,  
в ветре,  
когда этот ветер неистов  
и к откровениям глух,  
в звездах,  
летающих стремительно ночью  
сквозь мироздания вперед,  
в искре,  
которая дерево точит,  
в сердце,  
которое ждет.

Так вот однажды на самом рассвете,  
где-то у края земли,  
нас окликают нечаянно дети  
эхом, дрожащим вдали.  
Так не дано в вихре ветра и света,  
в мире, где жизнь — это бой,  
ныне  
и присно  
и долгие лета  
нам разминуться с тобой.  
Ася Векелер

\*

Падали, не дойдя до конца,  
лицами в снег и зелень...  
Родителей моего отца  
живыми зарыли в землю.

А то, что сын до Берлина дойдет,  
пройдя сквозь войну с пехотой,  
не могут знать они в давний год »  
на довоенном фото.

\*

Казалось, что в невыпавшей росе,  
меня бесконечно очертанья,  
деревья наплывали на шоссе,

как могут наплывать воспоминанья.  
Казалось, что окно мое — экран.  
Там крупным планом дерево мелькало,  
и снова принимал его туман,  
как память бы, наверно, принимала.  
Еще казалось: начался рассвет.  
И шел по затуманенному свету  
автобус — мой рабочий кабинет,  
колесами вращающий планету.

\*

Что сделалось! Спокойная до грусти,  
нащупав выключатель на стене,  
я каждый вечер зажигаю люстру  
и продлеваю комнату в окне.  
Что зеркало! Там нет воображенья.  
А тут, мешая небо с потолком,  
наложены прозрачно отраженья  
на все, что существует за окном.  
Две люстры темноту одолевают.  
Становится двойною тишина.  
И разом два стола я накрываю  
по ту и эту сторону окна.

\*

Со снегом белым были в связи  
фигурки черные вдали.  
И зиму всю на черной вазе  
деревья белые росли.  
Когда смыкались на ночь веки,  
почти беззвучно белый сад  
все сочетал друг с другом ветки, —  
и начинался снегопад.  
Тогда, дремотою объята,  
замедленным движеньем рук  
две черных стрелки циферблата  
все расчищали белый круг.

\*

Где скрипка — листвою,  
где ветром — смычок,  
где рыжей скрипачкою — осень,  
откроется нехотя ржавый крючок  
калитки — и милости просим.  
В негромком звучанье осеннего дня  
приму я вопросы любые.  
Но пусть о тебе не расспросят меня,  
а я не припомню, что было.  
Зато я узнаю деревья в лицо,

их листья в полете нелепом,  
и вновь после солнца, минуя крыльцо,  
вбегу — и мгновенно ослепну.  
Я вспомню, что в сумерках лампу зажечь —  
и вечер надежней, чем ставни,  
что будет привычно затоплена печь,  
и дверцу открытой оставят.  
Сухая осина подарит тепло,  
и будет легко и свободно.  
О если б хоть раз повториться могло  
все то, что зовется сегодня.

Инна Кашежева

Декабри

Всегда с приходом декабря  
Людей роднит, как будто заговор,  
Паломничество к снегу — за город,  
Где с ликованием дикаря  
Рад поклониться стар и млад  
Сто раз подряд  
Ему, всесильному божку.  
Ему, декабрьскому снежку.  
И белый пир идет в снегах.  
Здесь снег с земли не убирают,  
Здесь белизны не убивают.  
Здесь только лыжи на ногах.  
Кибернетического века  
Язычники, давясь от смеха,  
То лепят роботов из снега,  
То метят каверзным снежком.  
Орбиту вычислив, друг в друга,  
И кто-нибудь снежком сражен  
И в этом месте — микровьюга.  
О снежных игр торжество!  
Здесь только снег царит, а лету,  
Как брошенному амулету.  
Лежать до часа своего.  
Как часто забываем мы.  
Что так легко нас одурачит  
Рассыпавшийся одуванчик  
Короткой, как метель, зимы.  
Проклюнет снежные скорлупы  
Трава... Обуглится божок —  
Снежок, его лучом прожог  
Апрель сквозь небо, как сквозь пупу.  
Но это тоже до поры,  
Но это лишь закон природы.  
Свои стихийные походы  
Опять затеют декабри.

\*

Стареет эпоха металла.  
Тускнеют ее чудеса,  
Эйфелева башня устала  
Держать на себе небеса.  
Земле послужив в полной мере.  
Железо уже ни к чему.  
На смену пришли полимеры.  
О, если б на смену всему!  
Земля одевается в пластик,  
И в нем, как в янтарном куске:  
Топор, занесенный над плахой,  
И палец на стылом курке,  
И штык, и винтовка, и бомба,  
Граната, летящая вдаль...  
И больно, и больно, и больно  
Смотреть в этот страшный янтарь!  
На смену пришли полимеры.  
По-старому лишь на Земле  
Не знает война перемены  
В железном своем ремесле.  
Превыше тирана и бога  
Себя утвердил человек.  
Но штык, и винтовка, и бомба  
Ужель неизменны вовек!!  
Ни тленье, ни время не тронут  
Ужель и сейчас их опять!  
И может ли рядом с нейтроном  
Старинная смерть обитать!  
Великое время настало.  
Подвластны Земле волшебства.  
Стареет эпоха металла.  
Иные царят вещества.  
И грезятся людям  
столетья  
Все новых чудес впереди...  
И только никак не стареет  
Осколок в отцовской груди.

## ПРОЗА

Федор Кнорре

## РАССКАЗ

Ночной звонок

В шумном городе был еще вечер, хлопали, распахиваясь на остановках, дверцы полупустых автобусов, перескакивали, меняясь местами, цветные огни светофоров на перекрестках, из кино, где начались последние сеансы, сквозь стены неслись на улицу звуки

гулких голосов, точно там галдели и ссорились великаны, а на пригородной даче пенсионера Лариона Васильевича Квашнина уже была ночь.

Свет в окнах давно был погашен, лягушки квакали по канавам, и мутно просвечивала сквозь дымные облака луна над вытоптанном дачным лесочком, где шелестели вершины старых, обломанных понизу берез.

На втором этаже владелец дачи Квашнин, тяжело придавив свою сторону широкого горячего матраса, давно уже спал некрепким сном постоянно пересыпающего от дачной скуки человека.

Во всей даче они с женой Леокадией были одни, если не приезжал из города их единственный, совсем взрослый сын Дмитрий. Взрослый настолько, что успел уже жениться, развестись и чуть было не жениться вторично.

В первом этаже начал звонить телефон — нервными, короткими звонками междугородного вызова. Не прекращаясь, они звенели, будоражили, звали из темноты пустого первого этажа, и, нехотя проснувшись, Квашнин с досадой вспомнил о том, как хорошо он было заснул и как трудно теперь будет засыпать снова.

— Неужели ты не слышишь? — с другого конца матраса окликнула мужа Леокадия.

Квашнин хотел сказать: «А сама ты не слышишь?» — но от досады промолчал, сел на краю постели и без промаха попал босыми ногами в ночные туфли. Телефон трезвонил, точно пожарная тревога. Квашнин заторопился, быстро вышел на площадку лестницы, шагнул вниз с первой ступеньки, и тут одна туфля соскользнула у него с ноги, покатила вниз и оказалась на первом этаже раньше его самого.

Подбирать туфлю было некогда, он бросился прямо к телефону и с разгона наступил босой ногой на колючую сосновую шишку, откуда-то взявшуюся на гладком полу.

Чертыхаясь и хромя, он проковылял несколько шагов, протянул руку, и тут бесновавшийся в темноте телефон намертво замолк.

Отлично понимая, что криком ничего не возьмешь, он несколько раз ожесточенно покричал «Алло, слушаю!», прежде чем швырнуть трубку обратно на рычажок.

Туфля виднелась в полумраке у нижней ступеньки, он ее поднял, и в этот момент телефон опять взбесился, зазвонил отчаянными короткими звонками. Квашнин с туфлей в руке кинулся к трубке и опять наступил на сосновую шишку и опять босой ногой.

Вызов был действительно из другого города. Звонил из Семипалатинска старший брат Квашнина — Никифор.

— Ты что? Ничего не знаешь? — спросил Никифор. — Нет? Ну, так вот, брат, бабушка наша приказала долго жить.

Ларион Васильевич пододвинул стул и сел, морщась и потирая наколотую шишкой нежную подошву.

— Какая еще бабушка? — кряхтя от боли, раздраженно закричал он в трубку. Действительно, никакой бабушки у них не было. — Звонишь ночью! Бабушка! Ты что?

Никифор секунду помолчал и терпеливо спросил:

— У тебя мать была? Варвара Антоновна? Вот она и померла. Наша с тобой мать. Дошло до тебя?.. Ты что замолк? В обморок упал?

— Нет, я тут. Только я не понимаю. Ты же в Семипалатинске? А она где?

— Ну, я тоже не понимаю, почему телеграмма ко мне пришла, когда ты там, можно сказать, рядом. Не понимаю. А хоронить все-таки надо.

— Какой может быть разговор... Значит, телеграмма?

— Вот слушай, я прочту, час назад получил: «Прошу выслать возможности двадцать рублей похороны Варвары». Подпись: «Соседка Марта». Деньги я уже послал. А прилететь раньше послезавтра я физически не могу... Ты что опять замер?

— Нет, я слушаю... А адрес там указан?

— Адрес старый.

— Этот поселок, как его?.. У меня записано. Так, может, туда еще денег послать?

— Думай сам, — грубо сказал Никифор. — Поселок Вйсьма. А я прилечу послезавтра. У меня стройка. И самолета все равно раньше не будет. Прощай.

Телефон разъединили, и Квашнин в раздумье положил трубку. «Никифор злится, — подумал он, — это нормально. За то, что! он на шесть лет старше, а вкалывает на стройке, на небольшой должности, а я вот на даче... Чудак!»

Осторожно пробравшись к выключателю, он отшвырнул ногой еще одну шишку, зажег лампу под потолком и увидел, что на диване, моргая на свет, лежит и смотрит на него сын Дмитрий.

— Ты, значит, приехал из города? Что ж, ты к телефону подойти не можешь? Лежит рядом, слушает и ухом не ведет... Свинство... Откуда тут к черту шишки набросаны?

Митя посмотрел на шишки, зевнул и, почесывая у себя за ухом, сказал:

— Наверное, у меня из карманов высыпались.

— Ты их собирал, что ли?

Митя добросовестно припомнил и сказал:

— Наверно, собирал.

— Зачем тебе шишки?

— Черт его знает. Наверно, была какая-то идея. Ты бы лампу погасил. Спать хочется. — И повернулся на другой бок, отворачиваясь от света.

Квашнин повернул выключатель, вышел и постоял немножко на ступеньках террасы, глядя на луну, пропадающую в серых облаках, на черные массы деревьев, и сказал себе: «Мама умерла» — и не ощутил ничего, кроме неприятного чувства, что его побеспокоили, оторвали от нормальной, упорядоченной жизни, внесли в нее какой-то беспорядок, чего он больше всего на свете не любил.

Конечно, мать была очень старая женщина, и так уж положено, что старые люди помирают. Но его смутно беспокоила мысль о том, что ему самому положено было бы испытывать какое-нибудь печальное чувство, и неприятно, что он, по-видимому, ничего такого не испытывает.

— Эх, мама, мама... — сказал он вслух, покачал головой и постарался представить себе мать такой, какой он видел ее в последний раз в жизни года два назад, но ничего не почувствовал. Горела наколотая шишками подошва, громко квакали лягушки, и неприятная сырость заползала за ворот пижамы.

«Ну, что стоять без толку?» — подумал он, поднялся по лестнице и лег на прежнее теплое место в постель.

— Кто там? — невнятно, лицом в подушку, сонно спросила Леокадия.

— Никифор звонил... Бабушка наша, ну, то есть мама, померла.

Леокадия минуту лежала молча, соображая, потом тяжело перевалилась всем телом по матрасу, поворачиваясь к мужу, и с неожиданной досадой сказала:

— Так я и знала!

— Придется теперь ехать.

— Ты забыл, что ты записан к профессору-консультанту в поликлинике! Как ты можешь ехать!

Вяло потянулся обычный в их жизни спор. Сразу поняв, что мужу ехать не хочется, Леокадия на все лады стала доказывать, что ехать ему нельзя и не надо, а он с ней спорил и сердился, в то же время надеясь, что она сумеет одержать над ним в споре верх и он нехотя, против воли, сдастся и все обойдется безо всякого беспокойства.

С утра ярко светило солнце, и на веранде, где был накрыт завтрак, было жарко так, что неприятно было смотреть на ярко освещенные котлеты, купавшиеся в жирной горячей подливке.

— Хоть бы одно окошко отворили, — ноющим голосом безнадежно проговорил Митя, ковыряя котлету вилкой.

— Мухи! — оборвала Леокадия. — Родители с тобой не об окнах разговаривают.

— Ну, хорошо, ну, пожалуйста, я поеду, разве я отказываюсь? Просто я предупредил, что понятия не имею, как устраиваются эти самые похороны. Я лично никого не хоронил, меня никто не хоронил, и я даже не видел, как хоронят, но, пожалуйста, я готов! Давайте деньги, еду!

Квашнин примирительно сказал:

— Там соседка есть, которая телеграмму прислала. Зовут Марта. Приедешь — поможешь, что там надо, подкинешь десятку-другую, сколько понадобится.

— Ладно, соображу в конце концов. Значит, я забираю машину.

— Это еще зачем? — сказала Леокадия. — Обязательно ему машину! Из всего себе удовольствие устраивать! Прекрасно можно на поезде.

— Да, прекрасно. Пока я доберусь до города, потом до вокзала, расписания я не знаю, потом там надо на автобусе сколько ехать! А если я на работу в понедельник опоздаю?

— Бери машину, — сказал Квашнин.

Минуту все молча ели, потом Митя удивленно отложил вилку и в раздумье пробормотал:

— Гм... А бабушка-то, значит, того?.. Как же это вдруг случилось? — Ему никто не ответил, и он вдруг встал из-за стола, ушел в дом и притворил за собой дверь. Стоя у телефона, он долго задумчиво листал записную книжечку, исписанную вдоль и поперек, нашел номер и стал звонить по телефону.

Он коротко переговорил с кем-то, вернулся на прежнее место за столом и стал есть.

— Что это за секреты, двери от родителей затворять? — пытаюсь говорить уверенно, начала Леокадия. — Кому это ты звонил?

Митя спокойно прожевал то, что было во рту, запил двумя неторопливыми глотками чая, чтобы показать, что он и вообще мог бы не отвечать.

— Владе.

— Этого еще не хватало!.. — Владя была разведенная жена Мити, о которой в доме уже два года не говорилось ни разу. — Ей-то какое дело!

— Вообще, кому какое дело, когда кто-нибудь умирает? Просто некрасиво было бы ей не сообщить.

— Ну, и ты сообщил? — так иронически скривив набок рот, что вся левая сторона лица у нее слегка сдвинулась влево, спросила Леокадия. — И что же дальше?

— Дальше она, кажется, заревела. Впрочем, возможно, это мне показалось.

— Показалось! Счастье твое, что вы разошлись.

— Угу... И ее тоже.

— Очень может быть. Она, говорят, не растерялась после того, как ушла из нашей семьи!.. Про нее такое рассказывают! Тебе-то хоть это известно?

— Да! — с глухим рыданием в голосе отозвался Митя и чуть не подавился котлетой. — Слышал. У нее романы! С мужчинами! Я слышал, но я молчал, чтоб не разбить твое сердце.

— Был шут и шутом останешься! — с досадой сказала Леокадия.

— А ты, мамочка, лучше не вклинивайся в вопросы, которые, мягко говоря, не входят в сферу твоих непосредственных интересов... Какое тебе до нее дело, раз мне на все это наплевать?

Квашнин постучал ребром ладони по столу.

— Ты с матерью разговариваешь!

— А мать со мной разговаривает, — непринужденно пояснил Митя. — Так мы и беседуем!

— Помолчите вы оба, — приказал Квашнин и замолчал, прислушиваясь к тому, что творится у него в голове, или в душе, или черт его знает где, откуда возникает это чувство, что совершается что-то непопозволенное. Он непоколебимо уважал себя за то, что всю жизнь поступал «как положено», это было самым главным в его жизни, решающим во всех вопросах: что положено — хорошо, нормально, правильно или неизбежно, что не положено



— плохо. Теперь умерла мать — так положено, потому что она старая. А чтоб сын не появился на похоронах, это не положено. Он дошел до этого с полной ясностью и сразу перестал колебаться. И, встав из-за стола, кашлянул, как делал всегда прежде, чем объявить твердое решение.

— Значит, решаем так: Дмитрий, иди выводи машину. Я поеду сам. Если хотите со мной, поезжайте. Бензин есть? Лёка, приготовь мне черный костюм, а этот, полосатый, каторжный, убери.

— Здравствуйте! Теперь вдруг ехать! — сказала Леокадия, понимая, что спорить бесполезно, и бросилась убирать посуду. — Вот у нас всегда так!

В машине было жарко, несмотря на ветер, врывающийся через опущенные стекла. Митя, сидя за рулем, гнал машину на большой скорости по голой, гладкой автомагистрали.

Ларион Васильевич, сидя рядом с сыном, потел в своем черном костюме и молчал. Правильное решение было принято, и теперь он готов был терпеливо дожидаться, когда все кончится и, вернувшись домой, можно будет принять прохладный душ, переодеться, прилечь в прохладе, развернуть оставшиеся на столе непрочитанные сегодняшние газеты.

Леокадия задремывала на заднем сиденье, но по временам сердито говорила:

— Митя, ты потише, пожалуйста, я прошу!

Митя бросал взгляд на спидометр, где стрелка показывала девяносто пять, и спокойно отвечал:

— Мы едем ровно шестьдесят километров, куда еще тише?

— Шестьдесят — это хорошо, вот так и поезжай, — наставительно говорила Леокадия и опять начинала дремать.

Указатель, около которого им нужно было сворачивать, они проскочили на быстром ходу, едва успев разглядеть. Пришлось повернуть обратно, машина осторожно сползла с асфальта на грунтовую дорогу и пошла потише, оставляя за собой пыльный хвост.

На тихом ходу в машине стало душно, точно в избе на припеке. Дорога становилась все хуже, машину встряхивало, и она то и дело мягко ныряла в рытвины. Наконец по обе стороны дороги разом поднялся высокий лес, и они стали искать место, где бы остановиться подышать и размяться.

Митя выбрал место, которое ему понравилось, и съехал на обочину в тень, приминая густую траву.

Распахнув все дверцы, они вылезли, и Митя, не дожидаясь, пока Леокадия скажет, какой тут в лесу свежий и приятный воздух, гораздо лучше, чем у них на даче, но зато на даче воздух все-таки гораздо лучше, чем в Москве, перешагнул через канаву и вошел в лес.

С каждым шагом под ногами становилось все мягче, он ступал, как по толстым моховым подушкам, потом вошел в целое море папоротников. В лесу было сумрачно, и только с одной стороны кое-где в этот сумрак лились полосы солнечного света.

Ствол толстого, покрытого мохом дерева лежал поперек давно не хоженной тропинки. Митя наступил на него, и он с мягким шуршанием развалился у него под ногой. Большая птица взлетела и пронеслась, мелькая и пропадая между стволами деревьев.

На полянке стояло несколько сыроежек — розовых, желтых и зеленоватых. Таких крупных он и не видывал никогда — точно большие чайные блюдца — свежие, крепкие, как репа, и на краю одной розовой сыроежки, полной воды, сидела какая-то птичка. Митя остановился, не замечая, что улыбается, и долго смотрел, как она, взмахивая хвостиком, наклоняется и пьет воду, точно из большой розовой чаши. Вода была, наверное, очень вкусная, чистая и холодная, и ей очень удобно было сидеть на краю и окунать нос, и Митя, хотя и слышал, что его зовут с дороги, не двинулся до тех пор, пока пичуга не спорхнула на землю и не ушла куда-то в чащу папоротников.

— Неужели ты не мог откликнуться? Мы кричим, зовем... Поглядите, он еще улыбается! — удивилась Леокадия, когда он вернулся к машине.

— Разве я улыбаюсь? Да, забавно: понимаешь, пичужка такая, точно на краю бассейна сидит и пьет воду из розового гриба.

— И совершенно неостроумно.

Теперь за руль сел Ларион Васильевич. Они двинулись дальше и доехали до перекрестка, где увидели указатель со стрелкой: «Поселок Висьма. Дом отдыха «Приволье».

Леокадия долго соображала и вдруг спросила:

— Что это еще за птичка? Ты правду сказал или пошутил?

— Конечно, пошутил.

— Я так и знала.

Они въехали в последний поселок перед Висьмой, и Квашнин остановил машину около продмага, чтобы расспросить, как ехать дальше. Почти весь поселок был домом отдыха со всем, что для него полагается: лодочной станцией, танцплощадкой, расчищенными дорожками, круглой клумбой и плакатами на столбах, в кратких словах объяснявших отдыхающим, почему нехорошо поджигать окрестные леса, ломать скамейки и купаться в нетрезвом виде.

Квашнин позвал Митю в магазин, и они в два приема вынесли оттуда и уложили на заднем сиденье все, что купили: банки консервов, два круга полукопченой колбасы и несколько бутылок вина.

— Дальше приличных магазинов не будет, — объяснил Квашнин. — А там эта соседка... да еще, вероятно, не одна. Придется угостить. Что ж, мы с пустыми руками приедем?

Им сказали, что езды до Висьмы осталось полчаса, не больше, по плохой дороге, тянувшейся вокруг залива между лесом и берегом моря, захламленным обломками тростника и лохматыми водорослями.

Теперь они ехали совсем медленно, дорога была пустая, только две девушки быстрым шагом шли впереди них в ту же сторону, так что они их медленно нагоняли.

Митя внимательно к ним пригляделся, потом высунул голову из машины и, видимо, окончательно разглядев, откинулся обратно на спинку.

— Это Владька с какой-то девчонкой.

— Как это ты можешь в спину разглядеть? Откуда она тут?

— Владька. Совершенно точно. Что, я ее ноги не узнаю?

Заслышав шум машины, девушки обернулись, и Митя сказал еще раз: «Ну, что я говорил?» Это действительно была Владя. Девушки неторопливо свернули с дороги на тропинку, постепенно уходившую в высокие кусты.

— Не желает! — сказал Митя и презрительно хмыкнул.

Через несколько минут машина объехала громадный серый валун, нелепо рассеявшийся, точно дом, построенный посреди дороги.

Деревенская улица казалась начисто безлюдной. Только один человек виден был издалека. Он сидел на верхней ступеньке покосившегося серого крыльца заколоченного дома, и они, подъехав поближе, увидели, что человек этот стар, очень худ и давным-давно не стрижен. Он не обратил никакого внимания на подъехавшую машину и, чуть заметно улыбаясь, продолжал смотреть куда-то мимо домов и деревьев — в просветы пустынного моря, блестящего на солнце. Он очень медленно моргал, иногда подолгу оставаясь с закрытыми глазами, продолжая тихонько улыбаться.

Однако, когда Квашнин его громко и твердо окликнул, здороваясь, человек повернул голову и потянулся рукой к голове, надеясь найти там шапку, но шапка лежала рядом с ним на ступеньке, он ее нашел, помял в руке и, поздоровавшись, положил на прежнее место.

— Как нам найти дом, где... Квашнина, Варвара Антоновна, знаете? — спросил Ларион Васильевич.

— Как же не знать! — Человек снова заулыбался своей бледной улыбкой и так кивнул для подтверждения, что качнулся всем телом на ступеньке. — Вон наискосок, где заборчик повалился... Вот. Видите? Варвара Антоновна, ну как же! Ну там никого нет, все на похоронах...

— Значит, уже... хоронят? — высовываясь, спросила Леокадия.

— В данный момент! — вежливо повернувшись к ней, кивнул человек. — Все на кладбище!

— Ясно, — сказал Квашнин. — Ну что же делать? А как проехать туда? На кладбище?

— Нет, — мягко сказал человек. — Проехать туда не проедешь. Там машина не может. Через болото, там мосточки... Нет, никак.

— Значит, опоздали, — сказала Леокадия. — Что же теперь?

— Опоздали, — сочувственно подтвердил человек. — А вы идите вон... к Варваре Антоновне, там незаперто, вы посидите, подождите. Народ с кладбища, верно, уж по домам пошел... Вас кто-нибудь проводит... Я бы проводил, да я сегодня слабенький. Похороны, я и выпил. Вы посидите...

Он вдруг перестал обращать внимание на людей в машине, медленно зажмурился и, открыв глаза, опять уставился куда-то в даль моря.

Квашнин тронул машину и, проехав немного, остановился у низкой калитки. По полированному капоту машины пробежала и остановилась на нем зубчатая тень неровных колышков кривого заборчика. Как только выключили мотор, стало тихо, сделался слышен спокойный шум близкого моря и тоненький писк невидимого выводка цыплят, бродивших за насадкой в чаще лопухов, которыми зарос двор.

Все вылезли из машины и один за другим гуськом прошли к крыльцу по узкой тропочке между кустов крыжовника. Квашнин вытащил веточку-рогульку из железной скобки и отворил дверь в темные сени.

Внутри домик был разделен печью и низкой дощатой перегородкой на две комнаты. Квашнин наугад толкнул дверь и заглянул в первую. Там гудели мухи, кружась под потолком, на зеркало было накинуто полотенце и рядом висела расплывчатая увеличенная фотография старухи с нарисованными ретушью мертвенно злыми глазами и поджатыми губами. Квашнин не раз видел такие фотографии в разных городках и поселках. Обычно их заказывают местным фотографам мягкосердечные родственники на память о покойниках, которых не успели сводить к фотографу при жизни.

Отворили другую дверь, и там сразу же со стены строго глянул на них молоденький лейтенант Квашнин в необмятой, новенькой форме. Он был приколот в самом центре других фотографий, расположенных вокруг него большой подковой. Среди множества коротко стриженных ушастых мальчиков и одеревенелых девочек, обнявшихся с подругами, там попадался еще раз Квашнин, уже в форме майора, и трое танкистов около танка, вероятно, экипаж Никифора, а в самом нижнем углу подковы, где не хватало одной фотографии, для симметрии была приколата репродукция картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — очень маленькая, верно, вырезанная из газеты.

У окна был прибит гвоздиками старый первомайский плакат, где была Кремлевская стена, голубое небо и ветки цветущей яблони, и Квашнин сразу вспомнил, как несколько лет назад Варвара Антоновна просила у него разрешения взять этот плакат на память, а он, смеясь, просил ее не чудачить, потому что этот плакат общественный и предназначен для украшения улицы. У него лежал тогда целый рулон этих плакатов. Значит, мать все-таки потихоньку припрятала себе один, и только теперь, увидев на закопченной, щелястой стенке Кремлевскую башню, выгоревшее голубое небо и цветущую ветку, он кое-что понял из их тогдашнего разговора.

Они стояли все трое посреди комнаты, опустив руки, сами не зная зачем, осматривали все кругом. Лампочка в бумажном колпачке, свисавшая с середины потолка, была на шнуручке оттянута к изголовью постели, где лежали подушки в розовых ситцевых наволочках. Под блинчатым тюфячком, около железной ножки кровати, высовывая носы, будто стесняясь совсем вылезти на свет, рядышком стояли две стоптанные набок домашние туфли без задников, и сейчас, в этой комнате, у них был осиротелый вид, точно и они знали, что уже оттопали свой век, как их хозяйка.

На комодке лежала толстая книжка без обложки и первых страниц, заложенная очками с треснувшим стеклышком.

Митя взял книжку. Она начиналась с двадцать второй страницы, и листки ее пожелтели, и края загнулись, точно она обгорела и обуглилась от тепла бесчисленного множества рук, которые держали ее, читая.

Митя осторожно положил книгу на место и сказал: — Да. Свои последние годы бабуся не купалась в роскоши.

— Хоть в такие минуты удержался бы от своих пошлостей, — сказала Леокадия и приподняла край занавески, прибитой на шнурке к стене. Там, виновато опустив плечи, с повисшими, обтертыми по краям рукавами висело коричневое бобриковое пальто. Леокадия споткнулась о валенки и сказала: — Конечно, все это надо будет отдать какой-нибудь старой женщине...

— Что тут стоять! — нетерпеливо сказал Квашнин. — Пойдемте отсюда на улицу. Мало ли что этот пьянчужка говорит. Найдем кого-нибудь. Неужто мы кладбища не найдем... — И замолчал, услышав громкий скрип двери.

В комнату вошла Владя с какой-то девушкой и, ни на кого не глядя, поздоровалась. Подруга тоже поздоровалась неуклюжим голосом посторонней, опасавшейся показаться оживленной и равнодушной при встрече с чужим горем.

— Все уже давно на кладбище, — сказал Митя. — А мы туда и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу, — сказала Владя.

— Неужели правда, туда на машине нельзя проехать? Нас какой-то пьяненький уверял, — глядя в сторону, спросил Квашнин.

— Кажется, можно, только это куда-то обратно и в объезд, и я той дороги не знаю. Во всяком случае, я пойду через лес, там по мосткам можно хорошо пройти.

— А откуда ты все это знаешь? — заинтересовался Митя. — Ты что? Тут бывала уже... после?..

— Значит, бывала...

— Так ты, может, нас проводишь? — спросил Квашнин. — Гм... Бывала? Она тебя любила, кажется.

Владя быстро повернулась, взглянула на него и сказала:

— Я ее любила. Я ее любила... — Быстро заговорила, волнуясь, точно с кем-то споря, и уже почти с ненавистью к тому, с кем спорила, выкрикнула: — Любила!

Все с удивлением обернулись и уставились на нее, а она, быстро подбежав к постели, села на нее, упала лицом в затертую ситцевую подушку, вцепилась, и обняла ее, и поцеловала, прерывающимся голосом, в слезах, повторяя:

— Одна, совсем одна, бабушка, миленькая!..

Подруга сконфуженно покраснела, присела рядом с Владей, обняла ее за плечи, загородив от остальных, и стала шептать ей что-то успокаивающее на ухо.

Вязаная кофточка на поясе Влади чуть задралась на спине, открыв полоску дешевого голубого белья. Митя подумал: «Владька тоже не купается в роскоши», — почему-то это кольнуло его в сердце.

— Нет, это просто невыносимо, — негромко проговорила куда-то в сторону Леокадия. — Приехать сюда и истерики устраивать. Она одна тут самая чуткая и самая нежная. Я прошу вас, прекратите, Владя! Это неудобно! Понятно?

В этот самый момент Квашнин начал потихоньку откашливаться, готовясь что-то скомандовать, и Леокадия замолчала разом, будто ее выключили.

— Не мешай ей реветь, — совершенно неожиданно сказал он. — Если б я не позабыл, как это делается, я, может, и сам бы заревел. Запустили мы старуху.

Леокадия, тотчас поняв, что всякое возражение мужу будет сейчас приятно, смело зашпорила:

— Нечего из нас извергов делать. Я прямо скажу: покойная наша бабушка была чудачка и чудачка! Я ее любила и относилась... Может, побольше тех, кто только

распускает нервы. Я ее вовсе не обвиняю, потому что она уж очень пожилая. Я, может быть, чудачливее, ее буду в ее возрасте. Но нам-то уж не в чем себя обвинять! Нет! Разве мы ее не привезли к себе, не поселили на квартире со всеми удобствами? Но ведь она сама сбежала, значит, ей тут было лучше!..

Владя села с опущенной низко головой, ожесточенно вытирая мокрые щеки платком, который ей подала подруга. Вытерла глаза и высморкалась и тогда обернула к Леокадии малиновое после реза в подушку лицо:

— Да уж если вы желаете знать, она просто вас боялась!

— Опомнитесь! — низким голосом, грубо прикрикнула Леокадия. — Кого она могла бояться?

— Вас обоих. Жить с вами боялась!

— Нет, скажите ей, пусть она замолчит! — возмущенно гудела Леокадия. — Я не для того приехала, чтобы выслушивать...

— Пускай говорит... Пускай объяснит, если может! — перебил Квашнин. — Это что-то новое.

— Что объяснять? Быть вам в тягость боялась. Боялась вам помешать... Боялась, что вам хочется, чтоб она поскорей уехала, а вы ее только терпите... Да так оно и было, наверное!

— Ложь! — с торжеством объявила Леокадия. — Вот уж это чистая ложь. Мы никогда ни единым словом ей ничего не показывали!

— Да, — сказал Квашнин. — Мы ничего не показывали... А почему она все-таки сбежала? Не простившись?

— Заинтересовались? — Владя слабо усмехнулась распухшими от слез губами. — А чего теперь говорить?

— Значит, ты знаешь?

— Нет, я тоже не знала... Потом она мне немножко рассказывала, да и то она не любила про это говорить... К чему это все теперь?.. Да там всякое было... И сервиз был! Есть у вас такой парадный сервиз по двадцать четыре тарелки больших, глубоких, маленьких и средних, и все на изнанке с синими палочками крестиком и точка посередине? Ну, над которым вы дрожали и всем объясняли, что это за ценная вещь? Ну так вот, бабушка после именин мыла эти тарелки, да и упустила одну из рук. Да на кафельный пол! У ней со страху руки затряслись, и она еще две уронила. Как жива осталась, не знаю. Она все потихоньку в буфет спрятала, осколочки подобрала до крошки, по полу ползала на четвереньках, а утром с этими осколками пустилась по московским магазинам, хотела прикупить такие же да незаметно и подсунуть! Вы заметили, что у вас тарелок недостача? Она преступница!

— Глупость какая! Неужели я пересчитываю! — возмутилась Леокадия, слушая с изумлением.

— А в магазинах ей объяснили, что эти, с палочками и точкой, не купишь и они заграничные, старые и действительно очень ценные. Так она со своими черепками и осталась в ужасе: ей и признаться стыдно, но больше она сокрушалась, что наделала вам такого убытку!

— И из-за этого она сбежала? — недоверчиво спросил Квашнин.

— Из-за всего... Еще какую-то машинку она пережгла, или ей показалось... Она говорила: такая машинка, что сама все мелет, выжимает, по банкам разливает и песенки поет, и ей велели выжимать, а она пустила молот, или наоборот, — и пошел дым, и она решила сама, что такую старуху в доме держать никто не выдержит и никак нельзя ей оставаться от одного стыда. Она собралась и поскорей на вокзал... И черепки эти где-нибудь тут у нее припрятанные лежат.

— Нелепость... Чепуха топорная! — хмурясь, заговорил Квашнин, хотел было начать ходить по комнате из угла в угол, но ходить было негде, он потоптался на месте, поворачиваясь то к жене, то к Владе. — Ну, испугалась, сконфузилась... Это все может

быть... Да!.. Но уж уехать из-за такой чепухи... Это ты пугаешь. Фантазируешь, а? Ты нас решила немножко уколоть, а, Владя? И придумала! Сознайся! Я не сержусь, я даже тебя понимаю, а?

— Угадали, — сказала Владя. — Уколоть. Приехала сюда вас колотить и уколола.

Под окнами послышались голоса проходивших прямо через двор женщин в черных платочках. Все примолкли и поняли по отрывочным словам, что это люди возвращаются с похорон.

— Роди-ители!.. — тоскливо протянул Митя. — Ведь по-оздно! Поздно обо всем этом разговаривать. Все поздно. Хватит.

Квашнин нахмурился, помолчал, взвешивая сказанное, и твердо сказал:

— Это точно.

— Сейчас уже эта Марта вернется, надо ее дожидаться, — деловито заметила Леокадия, радуясь, что разговор оборвался.

Минуту все молчали, потом Митя задумчиво заговорил:

— Если бы мы знали тогда, что видим бабушку в последний раз, чего бы мы не сделали!.. В тот день, когда мы торопились разойтись по своим неотложным делам и сидели в последний раз вместе за столом, а она, шлепая туфлями, что-то приносила и уносила со стола, — ах, если б мы только знали, что все это в последний раз, как легко было бы нам отложить все дела и поглядеть на нее внимательно и успокоить. Обо всем расспросить и рассмешить... Ведь вы помните, как она любила смеяться? Она всегда радовалась, когда в доме гости и кто-нибудь веселится. Она мыла посуду на кухне и, открыв оттуда дверь, сама смеялась, даже когда не могла расслышать, отчего там смеются... Или она присаживалась у стола вместе с нами, но только всегда как-то немножко сбоку и смеялась, всегда кончиками пальцев прикрывая рот. Она стеснялась, что у нее зубов-то нет!..

— Я сама водила ее в поликлинику, и ей сделали там прекрасные зубы. Но она не пожелала носить. Чудачка.

— Да, — грустно сказал Митя, — ей вставили роскошные белые зубищи, и она заплакала и сказала: «Ну что это я, как волк, буду!»

— Да вы ее разве знали?! — неожиданно сказал Квашнин. — Смеяться! Она плясать любила, вот что!

— Ты, Митя, странно говоришь! — обиженно и неспокойно заговорила Леокадия. — Если бы мы знали!.. Но ведь мы же не знали! Конечно, мы могли бы причинить ей больше разных удобств... Но что делать? После все умные бывают, когда...

— Прощайте, — сказала Владя. — Мне тут ждать нечего, я пойду. — Она разгладила подушку медленно и тщательно, на прощание, и вдруг быстро отвернулась, отошла к окну и прижалась лбом к стеклу.

Митя подошел к ней и неуверенно дотронулся одним пальцем до плеча.

— Ну, не расстраивайся. Все прошло. Все уже кончено.

— Не могу! — почти шепотом, с тоской, прижимаясь лбом к узенькой раме низкого окошка, тяжело дыша, проговорила Владя. — Ведь сколько ночей, длинных зимних ночей она лежала тут одна и думала, сколько мутных рассветов встречала... и все думала, думала!..

На пороге кто-то сильно споткнулся, и, оглядываясь на порог, который его едва не опрокинул, ввалился, рассеянно улыбаясь, все тот же пьяненький.

— Вот уже все вернулись, идут... Все по-хорошему, она, бедняжка, ведь и вставать-то уж не могла, просто дожидаться не могла, когда ее очередь придет... Шутила так... И вот избавилась от всех неприятностей и соседку избавила... Замучились с ней... Ну ведь вы рассудите, она сама не молоденькая ухаживать за такой старушкой... Это я про Марту вам объясняю с Варварой Антоновной, как они тут существовали...

Владя сквозь радугу слез смутно видела, как высокая старуха плавной походкой, медленно, мелкими шажками вошла во двор не с улицы, а откуда-то из-за дома. Она прошла в сарайчик и минуты три спустя так же медленно и плавно, как все люди, привыкшие

экономить каждое лишнее движение, вышла оттуда, прижимая к груди маленькую охапку коротко нарезанных дров.

Вдруг Владя оттолкнулась от окна с криком: «Да что вы все, сумасшедшие, что ли? — рванулась к двери и, растолкав всех, выбежала из комнаты.

Старуха плавно подошла, точно подплыла к крыльцу, приостановилась, поднялась на ступеньку и опять с той же ноги шагнула на следующую, и в эту минуту Владя выскочила к ней навстречу. Старуха удивленно раскрыла глаза, тихо опустила руки, и дровишки со стуком посыпались на ступеньки. Старуха слабо всплеснула худыми черствыми ладонями и сделала движение, точно с восторженным испугом хотела отмахнуться от бросившейся к ней Влады.

Обняв и поддерживая старуху, Ёладя поцеловала ее, и они шагнули еще на одну ступеньку, и старуха потянулась и поцеловала Владю, и так, спотыкаясь, вдвоем они добрались до площадки крыльца, и тут Владя ударила ногой, распахивая дверь, и закричала:

— Эй, вы, сумасшедшие!.. Бабушка пришла! Слышите вы!

— Да ведь правда! — восторженно мальчишеским голосом заорал Митя, выбегая навстречу.

— Так я и знала... — бессмысленно лепетала Леокадия, пугаясь, пятась, улыбаясь и опять пугаясь. — Ну, я так и знала!..

Квашнин сказал только:

— Мама... — И беспомощно развел руками, глядя, как она входит.

Владя ввела бабушку в комнату, и та, увидев сразу всех, вдруг ослабела и обезводела, и пока ее все целовали наперерыв, она все только растерянно повторяла: «Нет, этого не может быть!» Леокадия, громче всех целуя бабушку в щеку, восклицала: «Бабушка, ну, до чего я рада, вы даже себе не представляете!..» — И видно было, что она правда рада.

Варвару Антоновну усадили поскорей на постель, и она, не зная, на кого больше радоваться, все повторяла своим тихим, глуховатым голосом все с новым приливом изумления и восторга:

— Да как же это вы все сговорились меня так обрадовать!.. Хоть бы открыточку, а?.. А они, голубчики мои, вон они! И приехали!..

Когда схлынула первая волна шума и неловкой радости, девушки принялись накрывать на стол, а Варвара Антоновна осталась сидеть рядом с сыном, держа его за руку и поглаживая ее неровным, подрагивающим движением шершавой ладони, любуясь его веселыми глазами, мягкими, полными щеками и оживленным разговором, наслаждаясь многолюдством и суетой в своей одинокой комнате.

Входили соседки, провожавшие на кладбище Марту, здоровались со всеми за руку, и Варвара Антоновна, приглашая всех садиться, говорила:

— Вот как бывает. У нас день печальный, Марту похоронили, а тут и праздник, гости приехали!

Оказалось, что и деньги-то, двадцать рублей, больше всего понадобились, чтоб угостить после похорон соседок, не обидеть безродную Марту.

И теперь соседки, все больше пожилые вдовы-рыбачки или матери рыбаков, ушедших на дальний лов, одна за другой усаживались на длинную скамейку, точно зрители в первый ряд, приготовясь с откровенным любопытством добросовестно рассмотреть все, что им будут тут показывать.

Бабушка, как-то умевшая за всем уследить, успевала улыбнуться, обернувшись к Леокадии, чтоб ее не обидеть, и сразу же заметила слабенького пьянчужку, который из деликатности ушмыгнул из дома в первый момент встречи, а теперь несмело снова заглядывал, высовывая свою лохматую, нестриженую голову из двери.

— Входи, Яша, входи... — как могла громко проговорила она, но голоса ее в шуме не было слышно, и она поманила его рукой.

— Мы уже знакомы, — сказал Яша и присел с краешку к соседкам, улыбаясь и не глядя на бутылки.

Все выпили по рюмке и по другой, разговор пошел вразброд, а Квашнин, наклоняясь к самому уху Варвары Антоновны, говорил:

— Мама, ты только скажи, чего тебе не хватает. Или чего тебе хочется, и все будет сделано. Ты ничего не бойся, говори, мама!

С другого бока Леокадия, раскрасневшись, умоляла:

— Поедемте с нами, мама! Будем жить вместе! Вы даже представить себе не можете, какой у меня от души камень отвалился, что я вас вижу! Я просто пьяная от радости!

Бабушка тихонько смеялась и кивала Леокадии:

— Я знаю, ты добрая... Ну я тут на своем месте. А в виде чего я там стану у вас торчать! Под ногами мешаться!

— Все сделаем, мама! — требовал ответа Квашнин. — Ты только скажи! Все!

Пожилая соседка смело вмешалась:

— Ну, что ж молчать-то! Ты говори, Варвара Антоновна!

Бабушка смущенно отмахивалась, невнятно отнекивалась.

Вторая, спокойная соседка серьезно сказала:

— Обязательно нужно заборчик подправить! Что уж стесняться сыну родному сказать!

— Будет новый забор! — твердо сказал Квашнин. Бабушка даже отшатнулась:

— Как это новый?.. Ведь это — посмешище! Вдруг мой дворец новым забором огораживать. Люди скажут: сбесилась, некуда хороший материал девать, — и верно скажут.

— Конечно, зачем новый? — сказала спокойная соседка. — Подправить надо, уж это обязательно. Ну, председатель, гад, ни за что материалу не даст.

— Какой-то старушке забор? Да ему до этого забора, как мне до Ньюфаундленда! — с полной убежденностью поддержала самая молодая.

— Не даст? Ну, это мы еще увидим. Я сам с ним поговорю! — сказал Квашнин.

— Ой, не трогай его, только не трогай, не хочу я этого! — всполошилась бабушка.

— Да я по-хорошему! Вот сейчас мы его сюда пригласим, за стол посадим, выпьем с ним и познакомимся. И он пойдет навстречу.

— Это верно, — как-то странно усмехнулась спокойная соседка и поджала губы.

Все посмотрели на бабушку.

— Ты этого даже не думай, Лариоша, никогда я его к себе в дом не позову. — Было удивительно в таком слабом, ласковом голоске расслышать такую полную непреклонность.

Квашнин встревоженно наклонился к матери:

— Мама, может, он тебя обидел? Ты только скажи, мама!

Бабушка, прежде чем засмеяться, подняла руку, чтоб прикрыть свой улыбающийся беззубый рот, засмеялась и беззаботно отмахнулась:

— Ничем не обидел. Ну просто такой он человек, что я не от обиды... а вполне бескорыстно его презираю. Угощать? Ну, не дождется, нет...

— Хорошо, хорошо... А как же нам с забором поступить? Выход-то какой-нибудь есть?

— Ах, зачем вы про этот забор завели? — Бабушка страдальчески поморщилась. — Кушайте, пейте. Митя... Митенька! Что же ты соседям не наливаешь? Кушайте, пейте все на здоровычко! Владечке своей налей!

Заметив, что все притихли и слушают, она продолжала своим слабым и радостным голосом:

— Ах, как я это люблю, чтобы мужчины в праздник выпили! Ну, что это за мужик, если повеселиться не умеет... Мы с мужем молодые были... Да, господи, я сама два раза пьяная была! — Бабушка затряслась от тихого смеха, отворачиваясь и прикрывая кончиками пальцев губы. — Право, была!.. На сеновал залезла, носом в сено! И заснула... Кушайте, кушайте, Яша, ты выпей, это ничего, только закусывай!



Все близкие, конечно, знали историю о том, как однажды бабушка заснула на сеновале, а другой раз — у крестной поперек кровати, ее до сих пор можно было развеселить, напомнив об этих историях.

Ларион Васильевич вдруг встал с рюмкой в поднятой руке и растроганно провозгласил:

— Мама!.. Дорогие гости!.. Мама у меня — простая крестьянка! Мама, я горжусь! — Он хватил рюмку, сел и чмокнул Варвару Антоновну в щеку.

На другом конце стола Митя, сидя рядом с Владей и ее подругой, которую звали Надя, в тон отцу бубнил, уткнувшись носом в тарелку:

— Правильно, гордись! Знаете, Надя? Ему предлагали в мамы графиню, так ведь не взял! Купчиху предлагали — отказался! Нет, говорит, не желаю, подавайте мне маму — простую крестьянку. Так и выбрал!

— А вы сами себе папу как выбирали? — тихо спросила Надя.

— А она ядовитая у тебя, — сказал Митя, усмехнувшись.

Бабушка тотчас же заметила, что он говорит что-то Владе, и подняла вверх слегка подрагивающую в ее руке рюмочку, к которой она только притрагивалась губами, когда все пили, и, еле сдерживая слезы умиления и радости, с запинками, произнесла тост:

— И чтоб наша Владечка с Митей... наши дорогие... и дальше так же дружно... и счастливо...

Владя улыбнулась бабушке, кивнула и, едва ткнувшись губами в свою рюмку, поставила обратно на стол.

Митя замялся, пропустил момент и, чтоб наверстать упущенное, сделал неопределенно-веселое лицо и бодро закричал:

— Будем стараться, бабуся!..

Он протянул руку, делая вид, что небрежно-покровительственным жестом обнимает Владю за плечи. Она, не разжимая губ, одним уголком рта, угрожающе тихо проговорила: «Руки!» — И Митя, непринужденно помахав растопыренными пальцами над ее плечом, схватился за рюмку.

Под общий шум разговоров Квашнин, наклоняясь к матери, говорил:

— Мама, ты не обижайся, жизнь, она такая сложная... Но этого больше не будет, мама! — Ему доставляло удовольствие повторять это слово «мама», и он его все повторял, стараясь ей все разом объяснить, даже то, чего он сам хорошо не понимал, про жизнь и про все на свете. А она, как сквозь туман, видела милые лица, слышала голоса и старалась как можно больше запомнить, удержать про запас, до той поры, когда снова наступят долгие одинокие ночи с их тишиной, с таким всегда неуверенным ожиданием тусклых и медленных рассветов — со всем тем, что так точно угадала Владя.

Желая сказать что-нибудь приятное, Леокадия выбрала момент и, покрасневшись от удовольствия, похвалилась:

— А мы, мама, знаете, в прошлом году в Италию ездили... Путешествие такое.

Бабушка недослышала, и ей это было неинтересно, но вежливо похвалила:

— Вот как славно, а?

— Глядели и ничего не разглядели, — бесстрастно вставил Митя вполголоса, но так, что все услышали.

— Что другие люди видят, то и мы все видели, ничего не пропустили, это он так болтает, мама! — с достоинством ответила Леокадия.

— Видели Эйфелеву башню, — сказал Митя глупым голосом.

— Эйфелева башня — это в Париже, ты из матери дурочку-то не строй! Это мы тоже видели, не пропустили!

Бабушка отлично понимала, что Митя говорит что-то смешное, и ей самой хотелось посмеяться, но, чтоб не обидеть Леокадию, она нахмурилась на Митю, отвернулась от него и вежливо спросила:

— Вы как же это? Так ездили?... Или за чем-нибудь?

— Как это можно без дела? — строго сказал Митя. — По делу, бабуся. Там, понимаешь, одна башня поставлена. И вот людям приходится ездить туда, проверять. Поглядят: стоит! Значит, все в порядке. Вот и наши ездили, в свою очередь. Вернулись, поделились впечатлениями: оказывается, действительно башня на своем месте. Так многие ездят. Потом делятся впечатлениями, другие даже в письменной форме!

Отмахнувшись от общего разговора, Квашнин продолжал потихоньку говорить, наклонясь к матери:

— Очень-очень сложная жизнь, мама!

— Да, да... Я ворочусь сейчас, ты посиди минуточку, — сказала бабушка. Она заметила в дверях молодую женщину с ребенком на руках, нерешительно заглянувшую в комнату и тотчас скрывающуюся.

Бабушка, прижимаясь спиной к стенке, бочком обошла вокруг стола и вышла.

Тотчас же Яша с сосредоточенным видом протиснулся и подсел на ее место рядом с Ларионом Васильевичем.

— Насчет забора! — сказал он и таинственно понизил голос, сам улыбаясь этой таинственности. — Десять штук колышков всего-навсего, и я, пожалуйста, из одного уважения к Варваре Антоновне! Неужели не поставлю?.. Да из одного уважения!

— Так можно эти колья достать? Я же знал, что не может этого быть, чтоб за деньги нельзя было колеев для забора... Да и забор-то какой...

— Куриный забор! — мотнул головой, улыбаясь и подтверждая, Яша.

— Так можно достать? Я в долгу не останусь!

— Можно, но исключительно только таким способом, чтоб взять и унести.

— Как это унести? Украсть, что ли?

— Можно так, как угодно, назвать. Однако мне, как местному жителю, красть неудобно, потому что меня могут люди осудить, что это я украл, чтоб пропить!.. А мне это неудобно, чтоб обо мне так думали. Понимаете?

— Кому же это удобно, по-вашему, — воровать?

— Да вот хоть вам, пожалуйста, никто слова не скажет!.. Нет, вы нос не морщите, это же одно название: украсть! Это же бросовый товар, он у болотца валяется, ни к чему не приспособленный... и к будущей весне останется от этих стволиков что? Трюха!..

— Нет, на такие дела я не пойду. Раз не положено нормальным путем, то и говорить нечего. Я слушать не желаю.

— А как же старушка? — вопросительно заморгал Яша. — Она псёнка желает завести... В каком положении псёнок окажется, если забор лежит? Он растеряется, ему свой двор надо. Без заборчика и псёнка заводить она не решается...

— Это все так, а воровать нельзя, — сказал Квашнин и отвернулся всем телом.

— Пожалуйста, — деликатно сказал Яша ему в спину, потихоньку встал, отошел и сел на старое место, стараясь не смотреть на бутылки.

Соседка-рыбачка поглядела на него и вздохнула.

— И всю жизнь ты такой стеснительный, — сказала она, налила и подвинула ему рюмку.

Он выпил, сосредоточенно о чем-то думая, потом, надумав, вдруг потянул за рукав Митю, подмигнул и поманил его за собой. Митя в недоумении глядел, как Яша вышел за дверь, опять высунулся и поманил его пальцем.

— Человек тебя зовет, — сказала Владя. — Ты что, не понимаешь?

— Зачем я ему?.. Он, по-моему, пьяный.

— Ну и сиди, я пойду у него спрошу.

— Нет, почему же? — встряхнулся и быстро встал Митя. — Я сам пойду!

Они все трое вместе вышли, и Яша стал манить их дальше, во двор, там подвел к забору, объяснил про колья все, что только что объяснял Лариону Васильевичу, и, убедительно прикладывая к груди руку, продолжал:

— Да разве тут требуется достойный такого титула «кол»? Тьфу!.. Тут вот такой толщины... стволик! Их там навалом — лесники лес чистят, вырубают. На дрова, и то никто не возьмет. А так отдать лесник не имеет прав... Восемь колышков, ну, десять... вот сами считайте... и подыдем забор, хоть завтра себе псёнка заводи! Вы в курсе дела насчет этого вопроса?

— В курсе, — сказала Владя. — Ну так договаривайте, как дальше быть? Ну! Где они сложены, эти стволики ваши?

— Да я бы вот им показал, — вдруг совсем уныло пробормотал Яша. — А они мне объясняют, что воровать не положено!.. Пожалуйста! Я же только от уважения!..

— Вы с ними не разговаривайте, мне положено. Можно прямо сейчас туда пойти?

— Нет, сейчас это неудобно, это леснику может получиться неловкое положение. Как-нибудь нехотя увидит, а должен акт составить! Вот стемнеет, тогда — пожалуйста!.. А дорогу я могу показать! Пойдемте, если верно надумали.

— А вам самому неловкое положение не получится?

— Тьфу ты... Я же ночной сторож, у всего света сижу под лампочкой всю ночь... А сейчас мы на виду, это будто я с барышней прогуливаюсь! А?

— Пошли!

Яша виновато помялся.

— Со стола-то, пожалуй, уберут?.. Так я сбегаю еще одну маленькую... Мне ведь теперь до завтра! Я мигом! — И он пошел к дому, столкнувшись на крыльце с выходящим во двор покурить Ларионом Васильевичем.

Бабушка сидела на низкой скамеечке с молодой матерью. У них на коленях в складках развернутых пеленок корезился и скрипуче похныкивал очень маленький, голенький мальчик в чепчике. Вдвоем они перевертывали его со спины на животик, и бабушка что-то объясняла, водя пальцем по его узенькому задку, усыпанному красными точками.

Мать внимательно слушала, кивая чуть не на каждое бабушкино слово, потом, мельком обернувшись на подходившего Лариона Васильевича, быстро стала заворачивать свое скрипучее сокровище с пятнышками и встала.

— Ты кого вырастить-то мечтаешь? Рыбачка? — на прощание наставительно говорила бабушка. — Вот ты его держи на прохладе, а не в пуховом одеяле. И пятнышков не будет.

— Рыбачка! — повторила мать, с новым любопытством заглядывая сыну под чепчик. — Пойдем, рыбачок! — И быстро двинулась к калитке легкой походкой.

На крыльце появился подбодрившийся Яша и опасливо, далеко обойдя Квашнина, сделал знак Владе.

— А ты куда? — спросила она Митю, который нехотя поплелся за ней следом, когда они вышли за калитку на дорогу.

Митя только промолчал обидчиво и пошел с ней рядом.

Когда стемнело, бабушка, беспрекословно заставляя слушаться, расположила всех на ночлег по своему усмотрению: отяжелевший Квашнин с Леокадией были уложены на бабушкину постель, к которой подставили скамейку, а сама бабушка прилегла в дровяном сарайчике, где у нее стояла запасная коечка на случай душной, жаркой погоды.

Молодежь должна была спать в машине, но легла одна только Надя. Яша давно ушел на свою работу: сидеть около склада под лампочкой, сторожить, — а Митя с Владей на ступеньках крыльца, по указанию Яши, ожидали, пока не взойдет луна.

— Как эта вся путаница у вас получилась? — спросила Владя. — Черт те что! Звонишь по телефону, я мчусь, рыдаю, как идиотка, перед твоей мамашей!..

— Откуда я знаю? Что-нибудь с телеграммой, наверное... Родители вообще хотели меня одного отправить.

— У вас, как я погляжу, все такие же близкие и приятные отношения с отцом.

— Ас чего им меняться? Я его по-своему даже люблю. И он меня тоже. По-своему.

— Все любят по-своему, — сказала Владя и хмуро усмехнулась. — Да что твой отец? Обыкновенный человек. Равнодушный.

— Благополучный. Не просто благополучный, а в высочайшей степени благополучный, всегда и всюду, при любых обстоятельствах. Человек, одаренный высокоразвитым чутьем на любое неблагополучие в окружающей его среде...

— Туманно, но что-то похоже на правду. Сердитый ты на своего папу сегодня. С чего это? — насмешливо спросила Владя.

— Не знаю... С тобой давно не разговаривал, может быть, от этого... Когда он узнал, что нужно ехать на похороны, ты знаешь, что с ним было? Он расстроился. Он даже рассердился, что произошел такой беспорядок и его тревожат. Честное слово.

— А все-таки обрадовался, когда бабушку увидел.

— Мама еще больше обрадовалась. Она правда обрадовалась... Да я разве говорил, что он крокодил? Он же человек. Его сейчас встряхнуло немножко. Но он скоро отойдет.

— Луна взошла, а мы сидим! — Владя вскочила. — А ты, если трусишь, лучше не ходи. Я не боюсь одна.

— Я не трушу, просто я еще никогда не воровал...

— Ну и сиди!

— Я иду с тобой, но не потому, что ты меня подзуживаешь, а потому, что я сам, самостоятельно принял решение пойти и добыть для бабки колья. Ты дорогу-то хоть знаешь?

Они вышли на пустынную дорогу, по одной стороне освещенную луной, и прошли два или три дома, где уже были погашены все огни.

На лугу одинокая стреноженная лошадь, увидев их, подняла голову и тихонько заржала.

Просека в лесу, куда они свернули, тоже была освещена по одной стороне: там видны были отдельные деревья, белели стволы берез, но по другую сторону лес стоял сплошной черной массой, оттуда пахло ночной сыростью, и в самых черных провалах что-то шуршало, жило и шевелилось.

Владя знала эту просеку днем, но теперь это была совсем другая просека, неожиданная, неузнаваемая и бесконечно удлинившаяся. Они шли-шли, и Владя не узнавала ни одной приметы: ни горки справа, ни развилки двух просек.

Им казалось, что они давным-давно идут, взявшись за руки и спотыкаясь, сами не зная куда, когда Владя заметила наконец, что деревья справа начинают подниматься стеной все выше. Это началась горка — длинный, высокий вал, означавший, что они едва только еще начали свой путь, едва вошли в лес.

Потеряв счет времени — сначала им обоим казалось, что они прошли уже десяток километров, потом стало казаться, что они уже не первую ночь идут, — спотыкаясь о корни громадных сосен, крепко держась за руки, поддерживая друг друга, они пробирались через лес, пока наконец оба вместе не упали, и только тогда Владя, поднимаясь с земли и потирая колено, узнала, что это и есть развилка, где им нужно сворачивать влево на малую просеку.

Эта просека прямо упиралась в мокрый, заболоченный луг, и им, немножко не доходя до болота, нужно было где-то сворачивать и искать по полянкам, где сложены вырубленные деревья.

— Ну, вот, — тихо сказала Владя. — Надо перебираться через эту канаву и тут искать. Дальше не пройдешь: болото уже под ногами чавкает. Ты канаву видишь?

— Я не слепой, — сказал Митя. — Пусти, я первый! — Он без разбега прыгнул, поскользнулся на другом краю канавы, и Владя ахнула, услышав шумный всплеск воды.

— Ты свалился в канаву?

— Нет, канавка свалилась на меня! — злобно огрызнулся Митя, на четвереньках выползая по глинистому краю.

— Там разве глубоко?

— Для стоящего человека не глубоко, а для того, кто сумел на дно сесть, хватает! Теперь прыгай ты. Вот я тебе протянул руку, ты ее видишь?

— Вижу, — сказала Владя, разбежалась и перепрыгнула так, что столкнулась с Митей грудь с грудью. — Ну, пошли!

Продираясь сквозь чащу низкорослых елок, цеплявшихся сухими веточками и царапавшими им руки, они вышли на открытое место — маленькую полянку, где было посветлее, и тут сразу увидели целый ворох не очень длинных березовых стволов с обрубленными ветками и вершинками.

— Ну вот это наверное, и есть! — с облегчением прошептала Владя. — Ты что?

Митя ощупал толстые концы березок и с раздражением пнул их ногой.

— Он нас какие учил воровать? По десять сантиметров. А это что?.. Для этого я в канаву лез?

— Что же делать? Пойдем искать дальше?

— Раз ты меня толкнула на этот путь, теперь слушайся! Ты стань и стой около этой кучи зубочисток. Отсюда мы по крайней мере найдем дорогу к просеке. А я пойду искать кругом. Если я заблужусь, ты мне посвисти. Ты свистеть умеешь?

— Память у тебя!

— Верно, я знаю, прости... — Слышно было, как он хмыкнул в темноте и, ухмыляясь, сказал: — Это у меня вырвалось. А я, конечно, помню. Так что ты мне так ответь, как когда я тебя вызывал. Ты помнишь, как? Ну, иду, иду, не к чему вкладывать столько презрения в свое молчание!

Владя осталась одна, прислушиваясь к удаляющемуся похрустыванию веток. Луна уже поднялась выше, и верхушки деревьев были облиты ее спокойным светом. Лес тихонько шуршал, жил своей жизнью, в траве шмыгали какие-то зверьки, тоже погруженные в заботы своей жизни, и, думая обо всем этом, Владя почувствовала, что она сама сейчас, когда ей не надо острить, скрывать, где болит, болтать с Митей о пустяках и молчать, о чем думаешь, — сейчас среди этого леса, под тихим небом, пожалуй, она, Владя, и есть настоящая. И как трудно быть настоящей с другим человеком! И как с Митей им это почему-то так и не удалось. Так легко быть злым, колким, остроумным, в кавычках или даже без них, насмешливым надо всем на свете!.. Ведь, высмеивая кого-нибудь, ты себя ставишь выше его. Если говоришь «дурак», подразумевается, что ты-то умный. Иначе это было бы не ругательство, а братское приветствие двух дураков... И, что для того, чтобы высмеять человека, не нужно быть ни умнее, ни лучше его... Если тебя назовут «добреньким», то это обидно. А «недобрым» — не обидно. И как это невольное скрывание всего нежного, хорошего, так легко высмеиваемого, уязвимого и доброго, непримиримая твердость в осуждении слабых и смешных черт другого — все это мало-помалу разрушило их жизнь с Митей. И хотя, может быть, все это забудется и пройдет, — потеряны не только годы, но что-то еще, чего очень жаль.

Откуда-то издалека донесся коротенький сигнал свистом, вроде «куть-куть!», и она ответила: «Куть-куть-куть!»

Митя, видно, и вправду запутался, потому что еще несколько раз посвистывал, и она отвечала, пока наконец не услышала, как он ломится через чащу.

Тяжело дыша, пыхтя, спотыкаясь и изнемогая, он выбрался на полянку и прохрипел:

— Берись за тонкие концы!

Они взвалили на плечи тонкие березовые стволы, пружинившие на концах, и, отворачивая лица, стали продираться обратно к канаве, кое-как перевалились через нее и присели, чтоб отдышаться.

— Тяжелы, черти! — сказал Митя. — Если б меня канава так не разозлила, я бы не поднял!

— Мы и так не донесем!

Митя снял ремешок от брюк, и они вдвоем, уминая и надавливая на связку стволов, кое-как застегнули ремень на последнюю дырочку. Ввалили связку на плечи и зашагали в ногу, снова спотыкаясь и ругаясь шепотом.

К тому времени, когда они выбрались из леса, вода перестала чмокать в туфлях у Мити и просохшие брюки уже не прилипали к ногам.

Дорога и дома поселка довольно хорошо были видны в безжизненной серости едва начинающегося рассвета. Чувствуя себя застигнутыми врасплох разбойниками, не поспевшими укрыться в тайное убежище после темного ночного дела, они, дыша громко, как им казалось, на всю округу, ввалились во двор и сбросили на землю добычу.

Бабушка сразу же окликнула их из сарайчика, зашевелилась, принялась подниматься, но на это у нее уходило довольно много времени, и пока она, сидя, шарила на полу туфли, Владя успела войти к ней, успокоить и уложить обратно.

Отдышавшись, она рассказала, как они гуляли с Митей и случайно нашли несколько тонких стволиков, может быть, подходящих для заборчика, и прихватили на обратном пути с собой.

Бабушка заужасалась, и ее невозможно было удержать, она опять медленно приподнялась, села, нащупала туфли и вышла во двор. На ощупь, с громадным интересом она определяла, годятся ли березки. Оказывается, очень даже годились, и она ужасалась и ругала их, что они взяли где-то без спросу, и смеялась от радости — видно, неумолимо разваливающийся заборчик давно тяжелым бременем давил ей на сердце.

— Твой первый подвиг в жизни, — сказала Владя. — Запомни эту ночь!

— Хочешь, я еще пойду притащу?

— Штаны лучше высуши. Ноги мокрые?

— В нашем деле без этого не обходится. Нашему брату, ночному разбойнику, это впривычку!

Бабушка, опираясь кончиками пальцев на свои будущие колышки, медленно выпрямилась и тихонько радостно сказала:

— Ай, как я люблю, когда так дружно... Я ведь было боялась, не ссоритесь ли вы с Митей... Все одна ко мне приезжала... Про Митю все хорошее говорит, а все одна, одна...

— Теперь мы вместе будем к тебе приезжать, бабуня! — сказал Митя.

— А по морде? — тихо, сквозь зубы, сказала Владя.

— Можно. Люблю пошутить, — сказал ей Митя и повернулся к бабушке. — А тебе, бабуся, пойти бы прилечь. Мы тебя разбудили?

— Какой теперь сон, светло становится!.. Я тут посижу. На домик свой посмотрю. Все он пустой. А сейчас там... дыхание... Мне до того это приятно.

— Приятно?.. А нам опять уезжать!

— Это ничего. Я вспоминать буду... Как вы приехали. А то вспоминаю все только старое... Я людей всех помню... своих, всех...

— Неужели всех помните? — участливо спросил Митя, взял бабушку под руку и повел к скамеечке.

— Каких нужно — всех... Я их сперва молоденькими помню и, кто дожил, пожилыми помню... И... всех...

Бабушка осторожно опустилась на скамейку и еле слышно рассмеялась:

— Людей, — ты удивляешься?.. Да всех лошадок... Корову свою помню. Всех моих собачонок, которые при мне жили, состарились и поумирали... Всех...

Владя бодро проговорила:

— Теперь у вас заборчик будет. Я вам псёнка привезу хорошенького.

— Ой, не беспокойся, миленькая!.. Я уж облюбовала тут одного, мне отдают. Живой такой пёсик, общительный... А ты помнишь? Какое мне слово дала!

— Мое слово я всегда помню.

— Что за слово? Тайны? — спросил Митя.

— Тайны, — махнула рукой Владя, чтоб замолчал. Видно было, что бабушке очень хочется поговорить. — Вы что-то рассказать хотели, а, бабушка?

— Конечно, я много чего позабывала, — тихо шелестела бабушка. — Для чего это — все помнить? Не надо. Что не нужно — позабудешь, его как и не было!.. Да... — Она с некоторой горделивостью усмехнулась. — Мы-то с мужем ведь не все в деревне жили! Мы четыре года в самой Москве прожили!.. Он на заводе возчиком работал. До той войны еще... И вот очутилась я в Москве. Самого дома этого я не помню, ничего не помню... А одно помню: муж на работу уйдет, а я сейчас форточку открою, мы высоко жили, и вот слушаю не наслушаюсь: лошади по мостовой копытами звенят на всякие лады, которые мчатся, которые потихоньку трусят, а парные так и стрекочут, часто-часто... Разносчики на все голоса поют-заливаются, извозчики покрикивают, трамвай в звонок бьет!.. В переулке колокол ударит, жиденький такой, а издали густой бухнет, и пойдут трезвонить!.. А по утрам гудки со всех заводов гудят — это на работу, значит... А то шарманка заиграет, ой, батушки, я никак от форточки не оторвусь. На улицу-то выйти боюсь — людно, а только сердце даже щемит — до того, кажется мне, жизнь там идет заманчивая...

Бабушка замолчала и несколько раз вздохнула, потихоньку переводя дух, отдыхая.

— Ты, бабуся, тогда еще, наверное, совсем молоденькая была? — неожиданно грустно спросил Митя.

— Совсем, — сказала бабушка. — Прямо из деревни.

— А теперь как вам ваша жизнь представляется? Бабушка устала от разговора, задумалась и рассеянно кивнула:

— Что жизнь?.. Ничего-о... Заманчивая.

Она как будто и не заметила, когда они отошли от нее и, не сговариваясь, пошли к морю, которое ровно и негромко шумело совсем близко за домом.

На берегу уже все было видно, как днем, — солнце готовилось всплыть над далеким краем моря.

Они разулись и вошли в холодную утреннюю воду, мелкую у берега. Митя прополоскал носки, выжал и, как тряпкой, вытер грязь с брюк. Потом опять выполоскал и разложил сушить на камне, хотя мало было надежды, что они там могут высохнуть.

Потом Митя сел на сухой песок, обхватив руками колени, а Владя все еще продолжала медленно бродить по воде. Маленькие серые волны длинными рядами непрерывно бежали к берегу, как вдруг их гребешки начали розоветь — низкое солнце быстро поднималось над краем моря, и подул, точно проснулся, свежий ветерок.

После некоторого раздумья Митя сосредоточенно начал натягивать на ноги мокрые носки.

— У меня такое ощущение, — сказал он, морщась от усилия расправить складки, — что на меня обрушилась целая гора информации. За эти сутки.

У Влади застыли ноги, она вышла на берег и молча присела рядом с Митей, подобрала ноги под юбку.

— Я узнал, например, что можно любить человека и не знать этого. Или знать, но позабыть об этом.

— Я надеюсь, что это про бабушку, а то я, пожалуй, пойду?

— Нет, не надейся, — так печально сказал Митя, что она удивленно к нему повернулась и посмотрела очень внимательно. — Это про всех нас. Мне, по-видимому, казалось, как другим идиотам, что мир устроен так, что люди делятся на такие категории: молодежь — один сорт, папы-мамы — другой, старики — третий... А в жизни все вокруг нас и сами мы непрерывно и очень быстро движемся. Я вдруг понял, что мы с тобой — это то же самое, что наша бабушка, что нет никаких людей-старух и людей-молодежи, а есть только люди-люди. У одних на календаре вторник. У других суббота. И календарь все время меняется, листок за листком, как ему и полагается. И пока есть еще время, надо стараться хоть не обижать друг друга, потому что это только кажется, что до субботы еще далеко и можно пока повалить дурака и посвинячить... Я не подозревал, например, что люблю бабку,

я даже не знал этого. Я догадывался, но так и не додумался, что я и тебя люблю! Тихо!.. Ты дослушай. Тебе еще может не очень понравиться, как я тебя люблю. Не знаю, как это объяснить... Мы проходим каждый день через десятки дверей, и все двери как двери: в метро, в институт, в кафетерий, в кино, в магазин, к знакомым, к себе домой, к другим знакомым...

— Девчонкам.

— Девчонкам. В парикмахерскую, где оставляешь у дверей пальто и шляпу... И вдруг натыкаешься на другие двери, где при входе ты оставляешь все: возраст, почетное звание, образование и положение в своем главке, остроумие и модную прическу — все это перестает иметь какое-нибудь значение за этой дверью. И именно за этой дверью мы встречаем человека, которого любим и ничем не можем ему помочь, кроме того, что... ну просто его любить... Я, кажется, повторяюсь? Ну, как в больнице — милый тебе человек лежит при смерти, тыходишь, и смотришь, как он лежит, и ничем не можешь помочь, ничего дать... разве яблоко... или несколько колышков. Улыбнешься и погладишь ему руку на прощание, и все золото мира, все чины и звания за этой дверью не имеют цены. Но то, что там имеет цену, — это уже настоящее.

— Негодяй ты! — неуверенно сказала Владя. — Ты, кажется, меня растрогать решился? — И отвернулась.

Несколько жестких узеньких травинок с острыми, сухими кончиками трепетали на ветру в желтом песке у самых ее ног. Она вырвала одну, поднесла ко рту, стала жевать сухой стебелек.

— Ты вот к бабушке ездила, оказывается. Я хочу, чтоб ты знала, что я тебя считаю, помимо всего, удивительно славным парнем.

— Иди ты... Говорят, ты женился?

— Не-ет... Не вышло. Я было собрался, но, к счастью, злость у меня уже поостыла, и я решил не дурить.

— Злость?

— Что же, ты не понимаешь? Ну, злость на тебя, на себя, ну на нас обоих, что мы так дурачки разошлись. Не одна злость, а целый мешок разных таких поганых чувств, которые зудят и сверлят тебя делать все назло, наоборот, раз не вышло по-твоему... Нет, я-то не женился. А вот мама в ужасе от твоего поведения. Говорят, ты пользуешься успехом.

— Я им не пользуюсь, успокой маму.

— Но ты его имеешь! Не слепые же они там все у тебя в институте. К тебе пристают?

— Мне объясняются в любви. Ты про это хотел узнать? Да, да, безусловно, да.

— Так я и знал!

Владя выплюнула травинку изо рта.

— Если что способно меня вывести из равновесия, — это объяснения в любви, — Мужским голосом она тупо забубнила: — «Вы мне нравитесь. Мне нравится, какое у вас лицо. Запах ваших волос. У вас красивые колени. Я люблю ваши глаза».

— У-у, сволочь! — с ненавистью процедил сквозь стиснутые зубы Митя.

— Скажет и ждет, что будет. Судя по романам, я должна вся раскиснуть, до того это трогательно, а по-моему, это больше всего похоже на гастроном, где выбирают, какая рыбка, какая ветчина и вино по вкусу, и ждут, пока завернут... Тебе нравится? Да мне-то, черт бы тебя взял, что за дело, что мои колени и глаза тебе понравились! Я не набор из гастронома!

— И еще надо в ухо ему было, — кровожадно буркнул Митя.

— Им, а не ему. И ухо тут ни при чем.

Солнце уже далеко оторвалось от края моря, наступал ветреный, солнечный день. Несколько чаек неподвижно застыли невдалеке на берегу. Их носатые головки казались упрятыми по уши в коричневые пуховые воротнички.

Одна разбежалась на своих хрупких ножках, похожих на тонкие красные пруттики, взлетела и вдруг кинулась грудью на ветер, ее разом подхватило и понесло.



У самых их ног волны закипали, весело играя на солнце, переливаясь пенными фонтанчиками, разливались вширь\* и, добежав до сухого песка, с коротким всплеском отливали плоской лужицей обратно в море.

Стадо появилось между деревьев и бодрым шагом направилось к морю. Овцы со стариком пастухом двинулись кругом залива к дальнему лугу, а коровы спокойно вошли в воду и по морю, напрямик, двинулись к другому берегу залива. Странные приморские коровы, невозмутимо шествующие среди маленьких волн, потихоньку плескавшихся об их брюхо...

— Я хотел сказать тебе что-то очень важное, а получились какие-то двери, — с раскаянием сказал Митя. — Как ты думаешь, не может так случиться, что мы попробуем еще поговорить, встретиться?

— И ничего у нас опять не получится.

— Ты в меня совсем не веришь?

— Сейчас верю, но ведь мы уйдем отсюда и закроем за собой дверь, и опять будут только двери кино, парикмахерской и метро. И все пойдет по-старому.

— Нет, все-таки человек чему-то способен научиться... Вот мне прежде вовсе не было страшно, что, например, тебе со мной будет нехорошо. Я об этом и не думал. А сейчас мне просто хочется, чтоб тебе было хорошо. Со мной или без меня. Лучше бы, чтоб со мной... Я вдруг представил себе всю нашу возможную жизнь, целиком, а не до летнего отпуска или даже до диссертации — всю человеческую жизнь! И я бы тебя любил, когда ты постареешь, у тебя перестанут так блестеть глаза и будут разные морщинки, я бы тебя все равно любил.

— Одно, что в тебе есть хорошего, что ты немножко сумасшедший.

— Я даже себе на какой-то миг представил, что ты можешь стать такой, как бабушка, что мы уже прожили вместе всю нашу жизнь от вторника до субботы, и меня уже вообще нет, ты осталась одна, и придешь сюда, и вспомнишь, как шли по морю коровы, и взлетали чайки, и бежали такие розовые гребешки волн после восхода солнца... Да ведь так оно все и может быть... А что за слово бабушка у тебя требовала?

— Насчет псёнка этого?.. Она все за Мартой ухаживала, так некогда было! А теперь она может собачку взять. «Для общества», она говорит! Но все опасается: если она умрет, собака пропадет без хозяина. Тогда я должна ее к себе взять. Я дала слово. Вот и все... А какое утро, посмотри!

Они посидели еще немного молча, пока не услышали, как невдалеке за домом гудит машина — их звали к отъезду. Они вскочили, на одну минуту схватились за руки и пошли рядом. Обернулись и посмотрели еще раз на светлое, игравшее солнечными звездочками море.

— Какое утро! Какая ночь! Самые лучшие в нашей жизни!

— А разве она есть: наша? Только не говори больше ничего. И у меня ничего не спрашивай. Как будто я могу все знать! Мы только за других все так здорово видим. «Я бы на его месте!» Ах, чего бы мы не наделали на месте других! А на своем как мы путаемся!.. Ну, пошли скорее. Ты все-таки тоже славный малый, если хочешь знать.

Машина стояла с поднятым капотом, и Квашнин, недоверчиво хмурясь, смотрел на работающий мотор. Он плоховато разбирался в технике и относился к ней с опаской.

Посреди дворика в траве стояла керосинка, и Яша, сидя около нее на корточках, помешивал щепкой в котелке смолу. Груда тонких березовых колец, уже обрубленных и заостренных, лежала у него под рукой.

— Я и не слыхала, как вы встали! — сказала Надя. — Где вы там шляетесь, Владька? Вот увидишь, мы опоздаем.

Бабушка, совсем ослабевшая от волнения проводов, манила их с крыльца, чтоб скорей шли в дом. Квашнин захлопнул капот и закричал:

— Давайте же скорей, сколько вас дожидаться! Стоя друг против друга у стола, Митя с Владей разломали пополам сдобную плюшку, положили сверху по куску еще вчера

нарезанной колбасы и, торопливо откусывая, запивая большими глотками остывшего чая, с жадностью поели и, дожевывая на ходу, выбежали во двор.

Там уже закончилось прощание. Леокадия сидела в машине, Квашнин, целуясь на прощание с матерью, укоризненно качал головой, недовольно говорил:

— Напрасно ты глупишь, мама... Напрасно! — И, согнувшись, полез в машину на переднее место. Надя подождала, пока ее пригласят, и скромно прижалась в уголок.

Последними попрощались с бабушкой Владя и Митя. После того как они поцеловали ее сразу с двух сторон, ее старчески светлые глаза заслезились, она погладила Владю по волосам слегка дрожащей, робкой в движениях и жесткой рукой и отвернулась, виновато прикрывая кончиками пальцев задрожавшие губы.

Но в следующую минуту она уже волновалась только из-за того, что всех задержала и из-за нее могут опоздать на работу, и торопила скорей уезжать.

Владя, пододвинув Надю к Леокадии, втиснулась на заднее сиденье последней и захлопнула дверцу. Митя сел за руль и, мягко тронув с места, высунул руку и помахал на прощание.

Бабушка, придерживаясь за колышек калитки, кивала головой, тихонько всхлипывая и улыбаясь, а около нее стоял Яша, держа в руке до половины засмоленную щепку, терпеливо дожидаясь, даже после того, как машина уже скрылась за поворотом, пока все кончится и бабушка нальет ему очень потребную после ночного дежурства рюмочку..

Утро было еще совсем раннее, и мимо дома отдыха машина промчалась, не встретив ни души.

— Ну, что ж, так она и не взяла денег? — спросила Леокадия.

— Нет, — хмуро отозвался Квашнин. — Тридцать рублей взяла еле-еле. Того гляди, еще Никифору долг отдаст, когда он приедет.

— Она знает, что он едет?

— Я ей сказал.

— А как ты... объяснил?

— А как я мог объяснить? Сказать, что он на похороны едет? Приедет, сам увидит, что и как. Пусть сам объясняет.

— Ну, правильно, — сказала Леокадия. — Я ей еще раз предлагала к нам переехать... Конечно, я очень рада, что все так удачно кончилось, но все-таки она странная.

Солнце жарко пригревало сквозь автомобильные стекла, Квашнин знал, что скоро опять начнет потеть; неудобно выпавшись, чувствовал себя помятым, несвежим и нечистым, думалось сейчас ему больше всего о том, что еще долго придется ехать и потеть, прежде чем удастся дома принять душ, надеть свежую пижаму и прилечь на удобном диване с пачкой газет, которую он привык прочитывать по утрам.

Неожиданно Митя громко сказал:

— Вот здесь мы вчера останавливались! — притормозил и, съехав на обочину, остановил машину.

Квашнин неодобрительно, но молча наблюдал за тем, что происходило дальше. Митя что-то сказал девушкам, они вылезли из машины и пошли в лес. Митя первым перешагнул через канаву и пошел впереди, показывая дорогу. Скоро все они скрылись за деревьями.

— Ну, что ж, — сказал Квашнин жене. — Можно поразмяться.

Они походили взад-вперед около машины, стараясь дышать поглубже, набраться свежего лесного воздуха на дорогу.

Немного погодя, Квашнин нахмурился, просунул руку в окошко и дал два коротких сигнала гудком. Из леса никто не отозвался.

— Я пойду позову, — услужливо сказала Леокадия. Она прошла немного по тропинке среди целого моря высоких папоротниковых зарослей, потом высокие каблуки стали тонуть, как в перине, проваливаясь в мягкий мох. Она шла, осматриваясь, то и дело нагибаясь и придерживая на голове обеими руками прическу, чтоб не зацепиться за ветки.

В чаще леса, там, где не сияли, точно прожектора, в утреннем тумане сильные, косые низкие лучи солнца, пробившиеся сквозь гущу стволов и листьев, было сумрачно и тихо. Где-то в стороне Леокадия услышала легкий смешок и увидела поляну, устланную мохом, среди которого, точно нарочно, повсюду были разбросаны круглые пятна — розовые, зеленые, желтые — крупных, как блюдца, сыроежек.

Митя и Надя стояли около громадной сыроежки, похожей на розовую чашу, полную влаги, и смотрели, как Владя, став на колени, осторожно нагибалась, пока не коснулась подбородком розового края, дрогнувшего от этого прикосновения. Она потянулась губами, отхлебнула, облизывая губы.

Сама не понимая почему, Леокадия неловко повернулась и, проваливаясь острыми каблуками в моховые подушки, пошла обратно к машине.

— Ну, где они там? — нетерпеливо спросил Квашнин, когда она, отряхивая с кофточки древесную труху, выбралась обратно на дорогу. — Что они там делают?

Леокадия мученически вздохнула.

— Я ничего не понимаю... — Она прижала пальцы к вискам, точно у нее внезапно разболелась голова, и повторила уже скорее грустно: — Я решительно ничего не понимаю, я отказываюсь понимать... Только не надо на них сердиться, ладно?

Квашнин посмотрел на нее с изумлением, но от долгой привычки не вмешиваться ни в какие невыясненные вопросы промолчал и стал думать о той минуте, когда он, освеженный, напившись кофе, ляжет на веранде и возьмется за пачку газет — он выписывал те, которые любил, и те, которых не любил, и читал все — то с удовольствием, то с возмущением.

...А в это время бабушка уже снова стояла, придерживаясь за колышек, и смотрела в ту сторону, куда давно уехала машина.

Она уже успела сводить Яшу в дом и дать ему выпить совсем маленькую рюмочку, так необходимую ему по слабости после вчерашнего.

Из деликатности Яша поплелся, не отставая, за ней следом к калитке и немножко постоял рядом, хотя его уже тянуло пойти посидеть где-нибудь на ступеньках, вглядываясь в морскую и солнечную даль, щуря глаза и улыбаясь про себя до тех пор, пока не такой уж плохой и безнадежной начнет представляться ему собственная жизнь одиноко состарившегося, безобидного неудачника.

— Ах, Яша, постричься бы тебе, — сказала бабушка, как твердила ему уже месяца три.

— Я постригусь, — покорно согласился Яша. — А вы на меня, мамаша, не обижайтесь, я телеграмму подал все правильно, может, девчонки, когда по телефону в район передавали? А? Заболтались?

— Им вот только вышло беспокойство, а мне-то... хорошо. Ты сегодня мне пёсика принесешь, Яша?

— В обязательном порядке!.. А ведь хорошо как было, правда? Народу! Угощение! Ну, это прелесть!.. — горячо воскликнул Яша, помолчал и задумчиво добавил: — Хорошо!.. А, мамаша? Ведь они не иначе, как к вам на похороны съехались? А?

Бабушка мирно улыбнулась.

— Это я поняла, конечно... Ну, что ж! Разве это плохо?

Яша с воодушевлением поддержал:

— Да, это каждому пожелать можно!.. Чтоб по такому случаю!.. Такие люди солидные. И все съехались!.. Каждому пожелать!

Василий Росляков

ДВА РАССКАЗА

1. ...И СЛЕЗЫ ПЕРВЫЕ ЛЮБИМ

Режиссеры были совсем еще молодые, и каждый втайне друг от друга видел в себе великого человека. Тот, что поскромней — длинноногий и немного сутулый, — видел в себе Станиславского, а тот, что побойчей и пошумней, видел в себе Сергея Герасимова.

Одинаково любили они свое дело, свое искусство. И одеты были пока одинаково, по-студенчески. То, глядишь, затейливый свитерок с чужого плеча, то выдавшая виды и потому вытертая вдрызг замысловатая куртка на «молниях».

Они только что выступили в поход и, как солдаты, ничего не имели за спиной, кроме походных ранцев. Но в этих ранцах, в этих солдатских ранцах, черт возьми, уже позвякивали маршальские жезлы, прихваченные в дорогу на всякий случай.

Они ставили первую свою картину, на производство которой государство выдало три миллиона рублей. И вчерашним студентам трудно было привыкнуть к этим трем миллионам (три миллиона!), и к этим тонвагенам и лихтвагенам, к грузовикам и подъемным кранам, к тому, что в их руках, под их властью находились директор картины и его помощники, осветители и костюмеры, художники и операторы, подсобные рабочие и, наконец, актеры, фотографии которых продавались в книжных киосках по всей нашей державе. А когда группа выехала на деревенскую натуру снимать давно отгремевшие бои, в режиссерские руки попали и танки с заклинившимися башнями, и пушки, и тягачи, и воинская часть. В их руки попал даже генерал, консультировавший съемки военных эпизодов.

Огромное это хозяйство с тремя миллионами отозвалось на всем обличье юных режиссеров — на их жестах, осанке и на их походке.

Саня — Станиславский, длинноногий и немного сутулый, близко, нос к носу подходил к актеру, что-то говорил ему вполголоса и без жестов. Потом отступал назад, как отступает художник перед незаконченным шедевром, долго смотрел на этот шедевр, раздумывал, где и какую краску положить на еще не завершенное полотно. Потом находил нужную краску, последним ударом кисти завершал работу и ровно, без крика отдавал команду:

— Внимание! Мотор!

Освещенный прожекторами актер начинал двигаться и жить. Глухо гудели моторы, жил актер, и оператор, изогнувшись в три погибели, вместе со своей камерой медленно наезжал на этого актера.

Саня — Станиславский продолжал стоять сосредоточенно, опираясь ладонями на обломанную рейку или кусок расщепленной доски. Осколок доски или рейки в его руках мог показаться в такую минуту щеголеватой палкой с дорогим набалдашником, на которую некогда опирался великий Станиславский.

Совсем по-иному держал себя юный Герасимов, Майкл, или просто Миша. Вокруг него, шумливого и подвижного, всегда как бы завивались вихри. Во имя большего сходства с учителем режиссер Майкл на своем значительном личике вырастил короткие усы, которые соответственно подстригались. Хотя сходства большого не получалось, все же в усах этих что-то такое было. Суховатый и легкий, Майкл старался ходить крупно, полновесным шагом, с акцентом на каждую ногу.

— Но, но, потише! — поигрывал он голосом. — Вот так, черт возьми! И оставьте, черт возьми, ваши театральные штучки! Не говорите мне «булошник», «стрелошник»! Вы в кино, дорогой, а не на московской сцене.

Майкл, или просто Миша, любил с ходу сыграть за актера, чтобы тот смотрел и учился. А то еще наморщит лоб и уйдет в свои глубины: «Надо подумать, надо подумать».

С грузовиков выгружали киноимущество, а тонваген уже оглашал окрестности горластой музыкой, и режиссеры уже осмысливали натуру, обживали ее своими художническими глазами.

Саня — Станиславский стоял у разбитой молнией ракиты и смотрел на будущее поле боя. Справа от него, в одиноком сарайчике, устанавливали пушку, рядом рыли окопы

полного профиля и траншеею. Слева, за овражком, грустно поднималась к небу облупленная церковь без креста, а возле церкви — небольшое деревенское кладбище.

Сарай и церковь с кладбищем, и сам режиссер Саня, и за его спиной крайние деревенские избы, и скотный двор — все это находилось на верхотуре, на высоте, а вдоль высоты тянулся обрыв, крутой травянистый спуск. За спуском, упавшая вниз, лежала зеленая луговая пойма. Она уходила далеко-далеко, туда, где угадывалась опушенная тальником и ветластыми ивами река. А за рекой, слегка подернутая дымкой, снова приподымалась зеленая земля и на далеком горизонте щетинилась черными кремлями лесов.

Над церковным куполом без креста и кладбищенскими ракетами играли стаи грачей.

Саня смотрел с верхотуры на эту падающую даль и что-то соображал.

Майкл же, спустившись с травяного ската, метался по полю боя, ощупывал луговые кочки, залегал за этими кочками, поднимался и шел как бы в цепи вражеской пехоты. Отсюда, с луговины, должна была подниматься вражеская пехота, которую с верхотуры, где стоял режиссер Саня, будет расстреливать горстка наших бойцов.

Наконец Майкл взобрался наверх, обошел церковь, кладбище, пересек овражек и вернулся к сараю. Здесь он опустился в траншею, проверил, попадает ли враг в сектор обстрела, и подошел к Сане.

— Ну что ж, Александр, — сказал он, — натура мне нравится.

Разгрузив машины, рабочие начали ставить привезенные из Москвы кресты и вокруг крестов — оградки из крашеного штакетника. Если посмотреть с места съемок на эти кресты и оградки, то в панораме они должны составить одно целое с деревенским кладбищем, отделенным от крестов и оградок невидимым отсюда глубоким овражком. Зачем это? А затем, чтобы вражеские танки могли пройти как бы по настоящему кладбищу, давя могилы, руша и подминая под себя оградки и деревянные кресты. И еще в кадре будет эта грустная, облупленная церковь. Таков замысел режиссеров.

Да, эти варвары, эти железные чудовища, эти чудовищные гусеницы во весь экран попрут напролом, попрут по святым могилам наших отцов.

Каждый кадр должен бить по отзывчивому сердцу зрителя...

А пока что из тонвагена рвалась горластая музыка, и волны ее бились о церковные стены, рикошетили по крышам скотного двора и крайних деревенских изб. Слабея и успокаиваясь, она пропадала в воздушном океане, заполнявшем луговую низину.

По съемочной площадке перепархивала с места на место деревенская детвора, набежавшая на музыку. Приплелась сюда и глухая старуха. Музыка она не слышит, стоит в отдалении и печально смотрит на свежие могилки с крестами и оградками.

— Наших хоронят? — спрашивает старуха.

— Никого, бабка, не хоронят. Кино будут снимать.

— А говорят, кончилась она... Царствие им небесное... — Бабка крестится и долго еще стоит перед свежими могилами кинокладбища.

Среди ночи режиссера Майкла, или просто Мишу, осенила идея. Именно среди ночи, как это бывает иногда с гениями, Майкл вдруг понял, что в военной части сценария не хватает двух эпизодов.

Он поднялся с кровати, щелкнул выключателем и закурил.

Саня — Станиславский, не открыв глаза и не шевельнувшись, спросил:

— Идея?

— Да, — ответил юный Сергей Герасимов.

Тогда Саня сел, подобрал под себя голые ноги и приготовился слушать. Майкл босиком ходил по комнате и говорил:

— В нашем фильме, Александр, нет лошадей. Лошади — это поэзия и современность. Современный кинематограф без лошадей — это мура... чтобы не сказать больше. Итак, после третьей атаки — эпизод с лошадьми. Герой уже заглянул в глаза смерти — это

гениально! — и вдруг степь, солнце, мирное небо, тирли-тирли... кузнечики. И там, в степи, спешиваются три конника, они ведут коней, ближе, ближе, к крайнему домику, к родному порогу героя. Вот он бросает повод и бежит, спотыкается, а навстречу — мать. Обнимаются. Камера оглядывается назад — на пороге стоит Галя. Она смотрит на героя и плачет от радости. Затемнение. И снова атака...

Саня не ответил.

— Второй эпизод. Явление Гали смертельно усталому герою. Он может говорить с ней во сне, во тьме блиндажа... Как?

Саня не ответил.

— Главное, конечно, лошади, — поставил акцент Майкл.

— С условием, что главное здесь — люди, — уточнил Саня.

— Это само собой, — согласился Майкл.

— Годится, — сказал Саня. — Но ведь Галка в Одессе?

— Вызовем, — решительно сказал Майкл и начал одеваться.

Прошло немного времени, и в комнате уже стоял дым коромыслом. Здесь были уже и второй режиссер и директор картины.

— Это невозможно, — сказал второй режиссер.

— Чем вы раньше думали, гении? — спросил директор картины.

— Искусство требует жертв, — ответил и тому и другому Майкл. Он прочитал небольшую лекцию об искусстве и сослался при этом два или три раза на Антониони, Феллини и других великих мастеров современного кино.

— Ваше искусство и ваш Антониони, — сказал на это директор, — у меня вот где, — и ребром ладони постучал себе по загривку.

Деликатный Саня промолчал. Майкл спросил директора в упор:

— Тебе что дороже? Шея твоя или искусство?

— Ладно, — сдался директор, — как-нибудь и сам читал «Мойдодыра», понимаю. Завтра будет автор. Послезавтра — Галка.

— Галка не приедет, — упрямо не сдавался второй режиссер.

— Будет, как миленькая, — сказал директор. — Наш договор действует по октябрь включительно, Сегодня, как я понимаю, август.

На следующий день доставленный из Москвы автор уже писал на месте действия новые эпизоды. А еще через день из Одессы явилась Галка, Она была уже перекрашена -в брнетку по условиям новой картины, снимавшейся в Одессе. Но это не остановило режиссеров. Перекрашивать Галку не стали, вместо этого на ее хорошенькую головку надели парик.

Сцена в блиндаже была отснята быстро и, как считали режиссеры, удачно. Впоследствии, правда, при монтаже, сцена эта была вырезана за ненадобностью.

Весь вечер готовились к съемкам эпизода с лошадьми. Больше всех суетился второй режиссер, ответственный за массовки и за лошадей. С Галкой репетировал Майкл. Саня стоял в стороне, наблюдая. Героиня часто отвлекалась, выпадала из роли, посматривала своими большими глазами в сторону молчаливого Сани. Она старалась делать все так, как говорил ей Майкл, а думала о том, что Саня, оказывается, нравится ей по-настоящему. Она поняла это в Одессе, на большом расстоянии от Москвы и от Сани. Интересно, думал он о ней, вспоминал или не вспоминал...

После репетиции Саня ушел с Галкой в лес. Майкл отказался. Возвратились они быстро. Саня улыбался, видно было, что он доволен собой, что складывалась у него жизнь точно так же, как у всех удачливых режиссеров. Галка же была печальна, она почти точно знала теперь, что Саня ее не любит, но, может быть, она и ошибалась. Все равно грустно.

Утром сияло солнце и все были на местах. Перед окраинной избушкой стояли лихтваген и тонваген. На рельсы была поставлена камера с умным объективом, нацеленным на ликующий мир. Рядом с камерой в старом кресле сидел генерал в генеральской форме. У плетня, стараясь быть незамеченной, жалась деревенская мелкота. Среди этого босоногого

народа выделялась девочка-подросток. В стираном-перестираном платьице до колен, она была выше своих несмышленных подружек на целую голову. Она не пряталась, не суежилась, как другие, тихими глазами смотрела на диковинные действия возле старой избушки.

— Внимание! Мотор!

Застрекотала кинокамера, загудел мотор лихтвагена, вспыхнули юпитеры. Издалека, от придорожных раки, двинулась тройка ведомых под уздцы оседланных лошадей. Впереди лошадиных морд шли главный герой фильма и еще два бойца. Одного исполнял сам режиссер Майкл, другого — шофер лихтвагена.

Лошади шли неохотно, то и дело мордами тянулись к траве. Вот они подошли совсем близко, и, чтобы ускорить движение, навстречу покатила по рельсам камера с прилепившимся к ней оператором. Через одно мгновение герой должен оторваться от лошадей и броситься к родному порогу. Но в эту минуту раздался истошный крик генерала. Он вскочил, поднял руки и истошно закричал:

— Отставить! Не приближаться!

И все стихло. Лошади остановились. Испуганный, подбежал Майкл.

Операторы, осветители, подсобники, режиссер Саня и все, кто был поблизости, с недоумением смотрели на генерала.

— Прекратить! — кричал он. — Не допущу! Вы хотите опозорить нашу конницу! Советскую конницу! Откуда эти клячи?! Это падаль, это не конница! Не позволю!

Серая лошадка, оставшаяся без хозяина, повернулась и ушла, помахивая хвостом. Шофер лихтвагена кинулся вдогонку, но поймать лошадь ему не удалось. Рысцой она ударила к далеким своим родным конюшням. Две другие с опущенными поводьями как ни в чем не бывало мирно пощипывали траву, а также фыркали, продувая ноздри. Генерала они почему-то не испугались.

V Майкла встопорщились усики, между бровями легла глубокая складка. Он заслонился ладошкой от генеральского крика.

— Товарищ генерал! Иван Александрович! — повторил он несколько раз, затем строго посмотрел на растерянного второго режиссера. Тот пожал плечами и стал оправдываться: в области карантин, и доставить сюда скаковых лошадей с конезавода нет никакой возможности. Тогда Майкл снова обратился к генералу, прося пощады.

— Хорошо, — сказал тот, — но ближе ста метров к объективу не подпущу.

Майкл отмерил сто шагов от кинокамеры, сделал там заметку и послал за лошадью.

Генерал, разгоряченный тем, что отстоял честь советской конницы, опустил в кресло. Как только съемки возобновились, он снова поднялся и все время был начеку. Когда конники приблизились к той черте, генерал поднял руку. Лошади остановились. Герой бросил повод и, наклонившись вперед, ринулся к родному дому. Навстречу вышла старушка. Вот они обнялись, вот уже драматическая актриса запричитала, и натуральные слезы покатались по ее лицу.

— Я жив, мама, жив, — успокаивал старушку герой. И в эту минуту в проеме дверей показалась Галка, и камера, повернувшись на сто восемьдесят градусов, уже смотрела своим умным объективом на милое Галкино лицо, на ее легкую фигурку. Героиня поставила ногу на ступеньку крыльца, и в ее глаза должны были появиться слезы радости. Галка страдальчески сморщилась, но слезы не появились.

— Отставить! — упавшим голосом приказа Майкл. — Слезы, где слезы? — сказал он и хлопнул в ладоши. — Начали еще раз! Приготовились... — И перед тем как скомандовать «Внимание! Мотор!», решил подбодрить, настроить героиню:

— Галочка! И слезы первые любви... Ну! Завертелась механика, и Галка поставила легкую ножку на ступеньку крыльца, глаза ее вспыхнул радостью, но слез по-прежнему не было. Тогда в дело взялся Саня. Он подошел, остановился нос к носу перед героиней и стал неслышно что-то внушать ей. Галка слушала и изредка поднимала и юного Станиславского влюбленные глаза.

Еще один дубль... Шесть дублей...

Что-то получилось. Что-то должно получиться.

Галка торопилась в Одессу. В маленьком автобусе «рафике», на боку которого было написано «Кино съемочная», сидели ненужный теперь автор, толстуха постановщица, увозившая в Москву отснятую пленку, режиссер Саня и Галка. Саня держал в своей руке маленькую Галкину ладошку и говорил что то низким, глухим басом. Слов за работающим мотором разобрать было нельзя, но по всему было видно, что Саня успокаивал расстроенную и недовольную собой героиню. Сидели они рядом, и Галке было неудобно сбоку смотреть Сане в глаза. И все же она пыталась повернуться к нему лицом, чтобы удостовериться: правду он говорит или неправду?

Водитель «рафика» на бегу вскочил в кабину, с треском захлопнул за собой дверцу, и автобус тронулся. Он шел медленно, пробиваясь по травянистым колдобинам к дороге. Сбоку, не отставая от «рафика», сопровождала его деревенская детвора во главе с девочкой-подростком. Когда автобус выбрался на дорогу, толстуха постановщица повернулась к Галке.

— По-моему, они к тебе, Галя, — сказала она с той усмешечкой, которая бывает только у лиц, стоящих близко к знаменитостям. А Галка как раз выходила в кинозвезды. После первого дебюта в одном известном фильме ее не однажды уже представляли зрителю, вывозили даже в Европу, где среди цветов и репортеров ее ручку целовали многие европейские кинозвезды.

В усмешке толстухи постановщицы чувствовались и собственная близость к юной кинозвезде, и как бы даже усталость от славы, хотя сами кинозвезды от славы, как известно, никогда не устают, и великодушная снисходительность к этим деревенским поклонникам, которые — ох, умора! — туда же, куда и все люди.

— По-моему, они к тебе, Галя, — сказала постановщица и попросила водителя остановиться.

Галка выглянула через окно на сбившуюся у обочины детвору, встретила глазами с девочкой и нерешительно вышла из автобуса. Она шла навстречу тихим глазам, смотревшим на артистку с недетской серьезностью. Девочка босиком стояла впереди своих таких же босоногих подружек, а руки держала за спиной. В этой позе и в этих немигающих глазах было что-то восторженное и вызывающее одновременно. Галка улыбнулась, но девочка не ответила на улыбку, а, высвободив из-за спины руки, протянула пестрый букетик полевых цветов. Лесная геранька, грубоватый солнечник, мягкие фиолетовые головки короставника, ромашка и еще что-то незатейливое, от простого поля, от простого августовского леса. Девочка держала цветы и серьезно смотрела на Галку. Но видела она в эту минуту не ее, не молодую «звезду», а смутно, сквозь некую туманную даль, видела как бы себя, мелькнувшую где-то там, в тумане, свою судьбу. И вдруг защемило сердце у Галки, что-то непонятное и сладкое обволокло ей душу. И вместо того, чтобы сказать что-нибудь привычное, поблагодарить за трогательный подарок, ей захотелось почему-то разреваться, как дурочке. Она взяла цветы и спрятала в них свое лицо. Потом порывисто чмокнула девочку в переносицу и убежала.

Села Галка напротив Сани. Глаза у нее были полны слез. Автобус тронулся, а она плакала и тихонько, несмело улыбалась Сане, а может быть, своему первому, еще неясному счастью.

— Назад, назад давай! — крикнул режиссер Саня водителю.

Там, у избушки, где уже размонтировали съемочную площадку, он подошел к Майклу и с мрачной решимостью сказал своему великому другу, или просто Мише:

— Миша, еще один дубль. Только один дубль.

ДВОЕ В АВГУСТЕ

Юрию Казакову.



На всем белом свете нас было двое — Инга и я. И старлица Волги с упавшим в воду противоположным берегом, с глиной обрыва, тальником поверху и сизыми шапками ив. И холодный на восходе солнца песок и наш крохотный шалаш из ивовых веток.

По вечерам мы сидели у костра. Инга варила уху, а я вспоминал разные истории, прочитанные книги или забытые песни. После ухи долго еще разговаривали или молчали, подбрасывая в костер сухой валежник и забавляясь огнем. Потом уходили в шалаш и там воевали с певучими и назойливыми комарами, пока не одолевал нас сон. Просыпались мы от знобкого рассветного холода.

Сегодня, как и вчера, мы стояли на остуженном за ночь песке и смотрели на восход солнца. Оно вставало медленно, плавясь в золотом тумане, вздрагивая и незаметно меняя краски на ранней, еще не проснувшейся воде.

От Инги в пестреньком купальнике и от меня тянулись по берегу длинные тени. Тени лежали под каждым холмиком, в каждой лунке. Длинную тень бросал и наш шалаш, и каждая былинка, и камешек, и колючка на песке. Все виделось отчетливо, и ничего лишнего, ни одной лишней песчинки не было вокруг нас.

Я взглянул на Ингу, она чутко повернулась ко мне. Глаза и губы ее улыбались.

— Холодно? — спросила она.

— Холодно, — ответил я.

— Скоро согреется все, — сказала она.

— Да, — согласился я, — скоро все согреется. — И сквозь обволакивающий нас холодок почувствовал первое прикосновение тепла. Плечо и щеку, обращенную к солнцу, тоненько припекало. Только подошвам и пальцам ног было холодно от влажного песка.

Пока мы умывались, по пояс войдя в воду, солнце уже поднялось над зеленой кипенью горизонта. Сошел пар с реки, вода покрылась слепящими бликами, а местами тронулась мелкой рябью.

Инга затевала утренний чай, а я пошел по берегу проверить поставленные с ве юра донки.

Вторую неделю жили мы вдаль от людей. Даже Волга с ее пустынными пароходными гудками, с разбросанными по берегам редкими пристанями и дебаркадерами была отгорожена от нас глухими и жаркими плавнями. Дни были длинные и непривычно просторные, в них вмещалось бесконечно много солнца и глубокого летнего неба. И нам казалось, что мы прожили здесь целую вечность, а дорога сюда вспоминалась как что-то давнее-давнее. Когда-то давно, а на самом деле всего лишь неделю назад мы сидели в салоне воздушного лайнера, и бортпроводница в синей пилоточке очень нетвердо еще и очень мило рассказывала нам:

— Ну, что я забыла? Кажется, ничего. Лететь будем на малой высоте... Ну, что еще? Курить можно, когда самолет наберет высоту. Вот и все. Петь можно, негромко.

Потом под городом Волгоградом, на аэродроме, внезапно дохнуло на нас горячей степью. Боковые стекла машины были утоплены, но дышать было нечем, и на раскаленную дверцу нельзя было положить руку: обжигало.

Потом мы смотрели город, его дома, его цветы и могилы. А вечером на маленьком теплоходике уже шли вниз по великой реке.

В темноте теплоходик приткнулся к безлюдному дебаркадеру, и мы сошли на пустынный берег, на незнакомую пристань, в разгар звездной августовской ночи.

Теплоходик отчалил, дал прощальный гудок, а мы остались в домике над темной водой.

Тускло горела непогашенная лампа, по черному окну бесцельно ползала муха. На зашмурганной скамье спала Инга. Когда чуть забрезжило, засерело, я вышел на палубу

дебаркадера. Стоял мягкий рассвет. Чуть мерцая огромным телом, спала Волга. Между дебаркадером и берегом неслышно текла вода. Сюда выходили рыбы, лениво шевеля плавниками, дразня своей близостью и бесстрашием.

Чтобы не разбудить Ингу, я на цыпочках вернулся в комнату, достал из чехла удочку, снял со стекла муху, и вот уже поплавок поплыл по протоке. Плыл он медленно, сладко замирало сердце, и вдруг оно гулко ударило: поплавок круто ушел в сумеречную глубину под дебаркадер. Я рванул на себя удилице, но оно, изогнувшись, не подавалось. Тогда я быстро сбежал по сходням на берег и в молчаливой борьбе выволок сопротивлявшуюся всеми плавниками крупную рыбину.

С палубы, полусонная и счастливая, улыбалась Инга.

— Инга, Инга! — закричал я бешеным шепотом. Я любил свою Ингу, любил эту рыбину, бившуюся на песке, эту обнаженную на рассвете Волгу, весь этот мягкий и бесподобный мир.

Мы поднялись на крутой берег и, сидя на рюкзаках и запрокидывая головы, по очереди пили из бутылки холодное молоко. Пили и глазели на разлившийся без края золотой плес. Потом найденная кем-то песчаная тропа повела нас в плавни. На обочинах росли редкие кусты верблюжьей колючки, затем шли заросли краснотала, а за ними клубились гигантскими кронами кряжистые ивы.

Эти плавни по весне заливало, морщинистые стволы уходили под воду и с солнечной стороны начинали выпускать новые, водяные корни. Затем паводок снижался, новые корни тянулись вслед за убывающей водой и к лету, когда все просыхало, уже доставали до самой земли. Теперь, в августе, воды не было и в помине, но у кряжистых стволов все еще топорщились эти странные, покрытые засохшим илом, дремучие бороды.

Мы шли мимо бородатых ив, и нам казалось, что они молча наблюдали за нами и прислушивались к нашим шагам. < - — Э-гей! \* Э-э й!

Никто и ничто не отвечало на голос, и только миллионы невидимых глаз наблюдали за нами. Потом бородатые старцы, начали расступаться, отваливать влево и вправо, и перед нашими глазами открылась золотистая голубизна. Там, под глубоким небом, лежало старое русло Волги с песчаными дюнами, кустами, заплешинами ползучей зелени — на одном берегу и сизыми ветлами по глинистому обрыву — на другом... ..

Мы свернули с тропинки, чтобы спуститься к дюнам по пригретому склону, покрытому травой и прошлогодними листьями, упавшими с высоченных дубов. В молодой роще, что зеленела слева от нас, возились, ширкали крыльями, фюикали, тенькали, посвистывали и захлебывались и опять начинали все сначала разнопородные птахи. И сквозь эту возню и гомон пробивалось из глубины плавней, ни с чем не смешиваясь, глухое, но отчетливое кукование кукушки: «Ку-у...» Птичий свист, шорох, гомон и снова: «Ку-у, у-у».

Что-то вечное было в этом застойном солнце, в этой возне и разноголосом пении птах. Мы невольно остановились и сбросили рюкзаки.

От шуршавших под ногами листьев, просыхавших после утренней росы, тянуло крепким винным запахом. Дурманило голову...

Как пахнут нагретые солнцем листья, как пахнут винным запахом волосы Инги!

— Ты с ума сошел, нас могут увидеть! — чуть слышно говорила Инга и закрывала глаза, чтобы никто не мог нас увидеть.

Спала опьяневшая под солнцем земля, спало белое облачко в далеком небе...

Инга собирала сушняк, затевала утренний чай, а я ходил по берегу, проверял донки. Там, где было пусто, леска выбиралась легко, выскользнула из рук и вялыми кольцами укладывалась на песке. Но там, где попадалось что-то, я угадывал еще издали по натянутой жилке, скошенной на сторону. Осторожно подобралшись к ней, почти не дыша, я прилаживался руками и резко подсекал. Жилка мгновенно оживала и натягивалась до звона. Что-то подвижное и сильное сопротивлялось в глубине, металось там из стороны в сторону, но я ровно, сантиметр за сантиметром выбирал ходившую из стороны в сторону снасть.

Расстояние между нами сокращалось, и рыба, вырвавшись на поверхность, делала последнюю попытку сорваться с крючка, потом, смирившись, послушно шла к берегу. И гут, на мелкой воде, еще раз выгибалась в дугу, била хвостом от отчаяния, уже не надеясь на свое спасение.

Я брал судаков за жабры и весело шагал к своему шалашу. Над горнушкой уже вился дымок, под черным котелком приплясывал бесцветный огонь.

— Инга! — кричал я, поднимая рыб над головой, — Инга, ты слышишь, как чайка плачет над морем?!

Не было ни моря, ни чаек, но я орал, перевирая что-то из Бунина, орал потому, что мне, было хорошо и хотелось кричать о чем-то полузабытом и прекрасном.

— Слышишь, Инга, как жалобно стонет чайка над морем?!

— Слышу, Мункен Венд, слышу, — отвечала Инга, понимая меня, потому что ей так же было хорошо, как и мне, и так же, как и мне, хотелось говорить слова полузабытые и прекрасные, похожие на лесные озера у Гамсуна, на зеленые скалы и фиорды, которых мы же видели никогда.

— Здравствуй, Мункен Венд! Я знала, что ты вернешься, — тихо и торжественно говорила Инга, и целовала меня теплыми губами, и принимала от меня живых судаков, и начинала их потрошить. Одного, спеленав мокрым газетным листом, зарыла в горячие угли, другого приготовила для ухи.

Плясало бесцветное пламя, булькало в котелке, из-под алюминиевой крышки сочился парок, распространяя по берегу запах судачьей ухи, заправленной черным перцем, луком и лавровым листом.

У Инги по-звериному дышали ноздри, пот струился по ее прекрасному лицу. Я взял ее за руку, и мы с разбегу бросились в воду. Пока варилась уха, мы плавали по нашей старице, оглашая ее восторженными криками:

— Ингеборг!..

— Мункен Венд!..

Мы опускались под воду и с открытыми глазами плыли друг другу навстречу. В зеленоватой глубине я любовался гибкой голенастой Ингой. Руки и ноги ее двигались, как плавники. Когда она проплывала совсем близко, я протягивал руку, и Инга, распутив на спине волосы, проходила под моей ладонью, слегка касаясь ее своим мягко светящимся телом...

— Ингеборг!.. Ингеборг!..

На берегу, еще не обсохшие, еще в капельках воды, мы принялись священнодействовать над ухой и запеченным судаком. Пригоревший с боков, он легко очищался от кожуры, его розоватое мясо слегка дымилось, источая неслыханный аромат. Не было на свете ничего более прекрасного, чем эта еда.

Я был счастлив оттого, что разглядел и разгадал Ингу еще тогда, пять лет назад. Она стояла в стороне от всех у придвинутого к стене журнального столика. Тоненькая и большеглазая, с пугливым любопытством смотрела она на танцующих под радиолу в переполненном студенческом клубе. Я подошел к ней, она вытянулась вся и еще старательней стала наблюдать за танцующими, но я почувствовал, как что-то забилося в ней, заматалось, затрепетало, как она готова была кинуться куда глаза глядят, а кинуться было некуда. Было поздно, я уже стоял перед ней, заслонив от нее всех, и говорил уже тихо и обреченно:

— Я... прошу вас...

— Нет, нет, — ответила она торопливо. — Я не за этим пришла сюда...

Она резко повернулась к столику и начала перелистывать пестрый журнальчик. Беспорядочно и бессмысленно перелистывала страницы и заливалась краской от нелепых своих слов, от еще более нелепого и глупого своего поведения. Не читать же в самом деле пришла она в студенческий клуб, где танцевали, так упоительно танцевали под радиолу!

Тогда, глядя в пушистый затылок, я нашел ее руку и несмело, но отчаянно заставил повернуться ко мне лицом.

Мы танцевали весь вечер. Она держала свою ладошку на моем плече и потихонечку привыкала ко мне, как бы издали, как бы еще со стороны останавливала на мне уже спокойный свой взгляд, полный мягкого и чистого света. Я спросил, как ее зовут, она ответила, и я навсегда потерял последнее, что было во мне и чем я так долго и так глупо гордился, — свою свободу.

На третий день Инга стала моей женой. И когда я вспоминаю об этом отчаянном ее поступке, мне всегда становится страшно: а вдруг я прошел бы мимо нее, а вдруг мы никогда бы не встретились?!

Обжигая пальцы, я разламывал запеченную рыбину и лучшие куски подавал Инге. Я был счастлив.

Я счастлив, когда ходит она по дюнам, собирая сушняк для нашего костра, когда говорит мне «Мункен Венд», когда сонная дышит рядом со мной, когда плавает в нашей старице рядом со мной, когда в подводной зеленоватой глубине проплывает под моей ладонью, слегка касаясь ее своим нежно светящимся телом...

Шла вторая неделя. Два раза, переплыв старицу, мы ходили в деревню за пастишь хлебом, солью, яблоками и картошкой. А то все загорали целыми днями на солнце, купались, ловили на песчаных отмелях мальков, читали Вознесенского и вялили судаков. Этими судаками уже был обвешан весь шалаш, и тут мы заметили вдруг, что чаще и чаще стали говорить о Москве. Заскучали, по людям, по нашему дому, по горячему асфальту, по городскому шуму. Мир, с которым мы так охотно расстались в начале августа, снова потянул нас к себе.

Наступила пора возвращаться.

Каким одиноким стоял шалаш, как грустно светилась под вечерним солнцем наша старица! Мы все оглядывались, все оглядывались и не верили, что уходим отсюда навсегда, что никогда уже сюда не вернемся. А ведь там что-то осталось от нас, от Инги и от меня, остались следы наших ног на песке, пепел нашего костра, частица моей и ее души. Там жили мы, как боги.

## 2

С билетами третьего класса поднялись мы по трапу Ж на палубу и опять стали пассажирами. V Теплоход шел на Астрахань. Люди толклись на маленьком пятачке перед буфетным окошечком, кто-то спал на короткой скамейке, поджав ноги и накрывшись с головой стареньким плащом, кто-то сидел в углу на своем чемоданишке и, глядя перед собой, задумчиво курил.

Мы соскучились по людям, и нам хорошо было среди них.

Каюты третьего класса, куда спустились мы по крутой лесенке, представляли собой полутемный трюм, разделенный на отсеки гнутыми лавками и невысокими перегородками. В потолке желтели засиженные мухами лампочки. На лавках вперемежку лежали и сидели пассажиры. Было душно, пахло табачным дымом, потом и еще чем-то кислым, вьевшимся в пол, потолок, в перегородки и лавки. Однако было тут шумно и даже весело. В одном отсеке очень ладно пели под гитарный перебор молодые парни и девчонки. Две гитары с тесемочками через плечо, два менестреля в ковбойках и джинсах то подпевали хору, то прислушивались, склонив головы, к своим тонкострунным подругам.

Переговаривались, как голуби, две гитары, и застенчивый бас выводил в одиночку:

Над Канадой, над Канадой...

Солнце низкое садится,

Мне заснуть давно бы надо.

Только что-то мне не спится.

И, заглушая гитары, подхватывали хором парни и девчонки:

Над Канадой небо сине,  
Меж берез дожди косые,  
Так похоже на Россию,  
Только вовсе не Россия,  
Эх, только вовсе не Россия...

Не только в отсеке, где пели и куда потянулись мы с Ингой, но и по соседству нельзя было найти свободного места. Пришлось пройти в конец трюма и там примоститься на последней лавке. Перед нами у стены стоял ящик для мусора. На полу, привалившись к ящику, сидели двое: в очень длинной полурасстегнутой кофте и в широченной юбке распаренная, краснолицая тетушка и рядом — мужик с небритым и злым лицом, в сапогах и в помятом черном картузе. Они сидели лицом к проходу и вполголоса переругивались.

Соседями по лавке были тихая женщина в легкой косынке и такой же тихий паренек в кокетливом берете — сын этой женщины.

Инга по-свойски, по-бабьи разговаривала с соседкой, а я от нечего делать приглядывался и прислушивался к паре, сидевшей у мусорного ящика. Слушал песню и прислушивался к этим. Когда песня становилась тише, можно было разобрать слова.

— Спомнишь ты бу-бу-бу, — бубнил мужик, — спомнишь, ды позна будет.

— Сиди уж, налил глаза, дык сиди уж! — отбивалась баба.

Мужик помолчал, покривился, изобразив муку на своем лице. Потом начал лукаво, притворно:

— Ну, добром, ну, как честную прошу, ну, пойми ты, глупая, аппетиту ни грамма нету, жалко тебе али что?

— Тебя, дурака, жалко, а не ее, проклятую. — Баба говорила теперь ласково, повернувшись лицом к мужику. А тот сопел, обдумывая новый маневр.

Инга попыталась втянуть меня в разговор с соседкой. У этой соседки — несчастье. Такой хороший парень — в кокетливом берете — в женихи выходит, а вот гундосит, говорит — не каждый поймет. Инга назвала болезнь — волчья пасть. Я посмотрел на парня, на его уродливую губу, и мне стало неприятно и жалко одновременно. Инга пообещала женщине найти в Москве специалистов по этой болезни, обменялась адресами, потом заговорила с парнем, стала его расспрашивать о чем-то. Мне хотелось дослушать, чем кончится у мужика с бабой, кто у них возьмет верх, и я снова откинулся к перегородке и стал слушать.

Но тут началась новая песня — очень дружная и с очень веселым припевом, заглушавшим все Другие звуки в трюме:

Закон Кулона играет джаз.

Закон Кулона зовет всех нас.

Этот Кулон понравился всему трюму, и трюм дружно, всеми отсеками зааплодировал. В певчем отсеке установился радостный гомон, выкрикивали имена, видимо, менестрелей, хохотали и снова выкрикивали.

Мужик свирепо смотрел исподлобья, с трудом сдерживая голос, бросался грубыми словами. Картина здесь круто изменилась.

— Дашь, сука, аль не дашь? — злобно добивался мужик. — Последний раз тебе говорю. Бу-бу-бу-бу... Приедем — засяку...

— Молчи уж, шалава драная... Я те так засяку!

— Бу-бу-бу...

— Ш ш-ш-ш-ш...

— А я простой советский заключенный, — запел было кто-то в певчем отсеке, но его оборвал девичий голос:

— Севка! Гитарой по башке!

— Вот моя гитара, вот башка.

— Ну, дай, змея, дай, а то сам возьму. Что я, не хозяин своей водки? Кто ей хозяин? Ты, что ль?

Мужик потянулся к мешку, но баба положила на мешок тяжелую руку, а локтем другой руки оттолкнула мужа-вымогателя. Тогда вымогатель подвинул к себе корзину и начал потрошить всякие свертки, доставая оттуда сало, хлеб и другую еду.

— Все сожру, до грамма все... — Он жадно набивал рот, рвал зубами сало, свирепо работая челюстями. Потом икнул, как бы подавился и, не дыша, жалобно стал смотреть на жену. Не вынесла та, достала из мешка поллитровку и стакан, налила неполно. Мужик тоненько выщедил из стакана и подобрел лицом.

— Глупая, — сказал он с нежностью, — зря только мучила.

— Молчи уж, — ответила баба и не сдержала улыбки.

Слева мычал и гундосил парень с волчьей пастью. Инга разговаривала с ним, а мать безоглядно и влюбленно смотрела на Ингу, провожала глазами каждое ее движение, мучась и не зная, чем бы ей угодить.

— Ун-нму-му гу-гу-гу, — гундосил парень, уже не стесняясь Инги.

Мужик деловито стряхнул с себя крошки, поднялся серьезно и озабоченно, снял с головы помятый картуз и хорошо поставленным голосом возопил:

— Дорогие граждане и товарищи, братья и сестры!..

Весь этот полутемный трюм, гудевший по-шмелиному, мгновенно смолк. Потом в певчем отсеке так дружно засмеялись, высунувшись наружу, что мужик на минуту опешил. Я улыбнулся, но тут же мне стало противно и тошно, особенно когда мужик подавил в себе минутную растерянность, не хуже Ливанова стал говорить свой монолог и совать свой черный картуз, пахнувший потом, мне и другим пассажирам под самый нос. Он говорил монолог, шел по проходу и совал свой картуз во все отсеки.

— Севка, давай аккомпанемент! — крикнул кто-то из певших.

Мужик на полпути остановился и завернул обратно к своему ящику. Сел с пустым картузом и злобно замолчал.

Потом все было забыто, и ребята снова запели тихонько и задумчиво:

Мело, Мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

.....

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал...

И было совсем неожиданно, когда после этой грустной песни ребята, вмиг перестроившись, с энергией и маршевой страстью запели:

Смело, товарищи, в ногу!

Духом укрепнем в борьбе...

И хорошо было и трогательно до слез слушать эту песню незнакомых и суровых рабочих, может быть, давно уже умерших, но оставивших после себя эти тревожные и великие слова: «Смело, товарищи, в ногу!»

Между песнями доходил до нас сдавленный гул из машинного отделения. Мелко подрагивала подо мной лавка и невысокая перегородка. Под потолком слоился синий табачный дым. Дышать становилось все трудней. Мы с Ингой поднялись наверх, на свежий воздух.

Здесь, на небольшом пятачке между трюмом и верхней палубой, было свежо, даже прохладно и после шумных песен удивительно тихо. За бортом стояла ночь. В темноте изредка появлялись близкие огоньки бакенов и далекие огоньки прибрежных селений. Буфет был закрыт, и на этом пятачке никто теперь не мешал нам оглядеться. Сразу же мы заметили крутую лесенку наверх и над лесенкой в золоченой раме застекленное табло: «Коллектив теплохода «Память тов. Маркина» борется за звание экипажа коммунистического труда». Рядом с этим красиво выписано: «МЯГКИЕ МЕСТА». Под «мягкими местами» шрифтом помельче и попроще предупреждалось: «Вход с билетами жестких мест НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ».

Подумалось о том, что у теплохода такое странное название — «Память тов. Маркина», и неизвестно почему постыдно захотелось в мягкие места.

Я поднялся по лесенке. В коридорчике пожилая женщина мела коврик. Она разогнулась, держа перед собой совок, рассмотрена на меня подозрительно и сказала:

— Тебе чего, давай отсюда!

Я не стал упираться, мне было неловко, стыдно как-то, и я спустился обратно.

На противоположной стене, слева от спуска в трюм, из деревянной рамы пристально и сурово смотрел сам Маркин — молодой матрос в бескозырке и в полосатой тельняшке.

**МАРКИН Николай Григорьевич (1892 — 1918)**

Рабочий-моряк Балтийского флота, организатор и комиссар Волжской военной флотилии. 1 ок. у села Пьяный Бор, на реке Каме — погиб.

Мягкая бородка и такие же мягкие усы. Лицо юное, глубоко озабоченное, суровое и словно подернутое легким туманом. Видно, портрет переснимался со старой фотографии и при большом увеличении. Размытость линий и этот легкий туман как бы отдаляли от нас матроса и делали его загадочным и легендарным. А он был живой, он был Маркин. Он глядел на нас суровыми и пристальными глазами.

Я стоял перед матросом-комиссаром, читал, что было написано под ним, а рядом, прислонясь к моему плечу, тихонько стояла все понимавшая Инга.

Есть, черт возьми, что-то в этих бескозырках и в этих пристальных глазах, не знавших сомнений, в этих ликах гражданской войны. Смотришь на них, и отчего-то в иную минуту сдавит вдруг сердце, наполнит его чем-то высоким и святым, да так, что сглотнешь слезу и долго потом не сможешь успокоиться, не сможешь забыть об этом...

Чуть покачивало. Все еще спал кто-то на короткой скамье, поджав под себя ноги и накрывшись плащом. Было слышно, как работал винт под водой и как за бортом влажно шелестела ночная Волга.

Когда мы спустились в трюм, все уже спали. Счастливые ребята и девчонки, положив на плечи друг другу головы, тоже спали. В одном отсеке кто-то курил еще, оттуда напоздал дым. Кто-то, невидимый за перегородкой, храпел. Мужик и баба спали, привалившись к ящику. Уснули и мы с Ингой.

Мне снилась наша старица, снился белый песок на берегу и шалаш, обвешанный судаками. Все судаки смотрели на меня остановившимися глазами, и один из них вдруг сказал: «Дорогие граждане и товарищи, братья и сестры!» Я никак не мог опознать говорившего судака и обернулся. По грудь в воде стоял Маркин в своей бескозырке и в полосатой тельняшке. Капли стекали с бороды и усов комиссара. Он прищурился и сказал:

— Не разрешается!

— Что не разрешается? — спросил я, не понимая.

— Не разрешается! — повторил Маркин и запел: — Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе! — Он пел, а губы его почему-то не шевелились. Потом лицо комиссара расплылось, покрылось туманом и в тумане исчезло. Я снова повернулся к шалашу. Судаки молчали. Мне стало жутко, и я проснулся. Уснуть уже не мог до утра. Сидел и думал.

Утром мы с Ингой перешли в освободившуюся каюту первого класса. Жалко было покидать веселый трюм, где так хорошо пели студенты, а может быть, и не студенты, а молодые рабочие-отпускники: трудно теперь отличить одних от других. Жалко, но мы все же покинули наш трюм, попрощались с женщиной и ее больным сыном и ушли. Поднялись по той лесенке и оказались в пустом коридорчике с красной ковровой дорожкой. По обе стороны сияли начищенными ручками отполированные двери кают. Среди них была и наша, двухместная. Мягкие диванчики, столик с лампой, зашторенное белым шелком окно, под ногами коврик.

После душа и завтрака мы вышли на палубу. Во всю длину теплохода она блестела свежей голубоватой окраской. С одной стороны, по голубой стене, шли окна кают. С другой стороны, за бортовой сеткой и перильцами, за металлическими стояками, державшими навес, открывалась Волга с далеким берегом, с ослепительными отмелями, зелеными островами и чистым, сияющим небом.

Инга в своем расклешенном сарафане сидела в плетеном кресле и смотрела из-под навеса на речной простор. Мимо беззаботно проходили чисто одетые, умытые пассажиры. В дальнем конце палубы играла девочка. В радиорубке радист поставил пластинку. Запел женский голос.

Стояло безветренное, тихое утро. Плавно шел теплоход.

Бэлпа, бэлла донна,  
Вэлла, бэлла миа...

Пела женщина. И было так хорошо, так невыразимо и непередаваемо, что хотелось зареветь от счастья.

стихи

Николай Поташенков

Стихи о тепле

Спасибо ротным полушубкам,  
В которые я прятал нос,  
Когда не мог дойти рассудком,  
Откуда прет такой мороз.  
Весь день на улице торчали.  
Сначала зябли и ворчали.  
Потом — холодными ночами —  
О теплом грезили топчане.  
А в караулке у стола —  
Сержант, не ценящий тепла.  
О ты, солдатское тепло!  
Опять мы дышим на стекло  
И пятаки к стеклу прикладываем.  
Тепло печурок копим впрок,  
А на ветру стучим прикладами



По онемевшим пальцам ног.  
Зима, зачем же ты такая!!  
Я никому не потокаю,  
Но коль погода не мягка,  
Я всем бродящим в этих зимах  
Раздал бы жаркие меха  
Универсальных магазинов.  
Мы взводом сгрудились у печки.  
Теплом друг друга греем плечи.  
— Ты знаешь, этот вот женился.  
Ну да! Который бегал в джинсах.  
Живет, собака, и не тужит.  
— Ну, что ж, бывает. Повезло.  
И мы опять уходим в стужу.  
Тепло.  
Да здоровствует тепло!

Лазареты 41-го

Лазареты.  
Лазареты.  
Слезы мам.  
Расстелился желтый сумрак по углам.  
Здесь рассветы, как полоски кумача,  
Два просвета на погонах у врача.  
Два просвета.  
Острый скальпель.  
Культи рук.  
И седеет молодой еще хирург  
И мрачнеет.  
— Что тут сделаешь! Война!  
Он не бог, не чародей, не сатана.  
И не всех больных в палатах по утрам  
Удавалось добудиться докторам.  
Вот какой-то бредит дотом.  
Просит пить.  
Ах, скажите,  
доктор!  
Доктор!  
Будет жить!  
Ах, не верьте,  
ах, не верьте,  
Если вдруг  
Просит смерти  
Одноногий политрук!  
И уже не подымалась кутерьма,  
Если кто-то приглушенно:  
— Мама! Ма...  
Только очи докторши  
Застилал туман.  
...Было лет им столько же,  
Сколько нам.

Эдуард Балашов

\*

Я у Нарвских ворот  
Воскрешаю события Нарвы.  
Мне на плечи кладет  
Воин в шлеме тяжелые лавры.  
И веленьем Петра  
Я смыкаюсь в строю пестроцветном.  
В стоголосом «ура»  
Я приветствую знамя под ветром.  
Я иду на штыки.  
Твердым шагом. И дрогнули шведы.  
Побежали полки,  
И запахло кострами победы...  
Ах, всегда бы, всегда  
К месту прежних боев возвращаться,  
Где встают города,  
Где сады обещают начаться,  
Где пылает звезда.  
Словно вечный огонь над могилой,  
Чтобы помнить всегда  
О судьбе нашей Родины милой!

Василий Аксенов

проза

Затоварилась бочкотара, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась.

Из газет.

В палисаднике под вечер скопление пчел, жужжание, деловые перелеты с георгина на подсолнух, с табака на резеду, инспекция комнатных левкоев и желтофиолей в открытых окнах; труды, труды в горячем воздухе районного центра.

Вторжение наглых инородцев, жирных навозных мух, пресыщенных мусорной кучей.

Ломкий, как танго, полет на исходе жизни — тем нокрылая бабочка — адмирал, почти барон Врангель.

На улице, за палисадником, все еще оседает пыль от прошедшего полчаса назад грузовика.

Хозяин — потомственный рабочий пенсионного возраста, тихо и уютно сидящий на скамейке с сигаркою в желтых, трудно зажатых пальцах, рассказывает приятелю, почти двойнику, о художествах сына:

— Я совсем атрофировал к нему отцовское отношение. Мы, Телескоповы, сам знаешь, Петр Ильич, по механической части, в лабораторных цехах, слуги индустрии. В четырех коленах, Петр Ильич, как знаешь. Сюда, к идиотизму сельской жизни, возвращаемся на заслуженный отдых, лишь только когда соль в коленах снижает квалификацию, как и вы, Петр Ильич. А он, Владимир, мой старшой, после армии цыганил неизвестно где почти полную семилетку, вернулся в Питер в совершенно отрицательном виде, голая пьянь, возмущенные глаза. Устроил я его в цех. Талант телескоповский, руки

телескоповские, наша, телескоповская голова, льняная и легкая. Глаз стал совершенно художественный. У меня, Петр Ильич, сердце пело, когда мы с Владимиром вместе возвращались с завода, да эх... все опять процыганил... И в кого, сам не пойму. К отцу на пенсионные хлеба прикатил, стыд и позор... зов земли, говорит, родина предков...

— Работает где, ай так шабашит? — спрашивает Петр Ильич.

— Третьего дня в сельпо оформился шофером, стыд и позор. Так с того дня у Симки и сидит в закутке, нарядов нет, не просыхает...

— А в Китае-то, слышал, что делается? — переключает разговор Петр Ильич. — Хунвэйбины фулиганят.

## ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА

### ПОВЕСТЬ С ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ И СНОВИДЕНИЯМИ

В это время Владимир Телескопов действительно сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Он сидит на опасно скрипучем ящике из-под мыла, хотя мог бы себе выбрать сиденье понадежней. Вместе с новым дружкой, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой. На розовой пластмассовой занавеске отчетливо видны их тени и тени стаканчиков с мандариновым огоньком внутри. Профиль Шустикова Глеба чеканен, портретно-плакатен, видно сразу, что будет человек командиром, тогда как профиль Владимира вихраст, курнос, ненадежен. Он покачивается, склоняется к стаканчику, отстраняется от него.

Сима считает у стойки выручку, слышит за спиной косоротые откровения своего избранника.

— ...и он зовет меня, директор-падло, к себе на завод, а я ему говорю, я пьяный, а он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы, а какая у меня квалификация, этого я тебе, Глеб, не скажу...

— Володька, кончай zenки наливать, — говорит Сима. — Завтра повезешь тару на станцию.

Она отдергивает занавеску и смотрит, улыбаясь, на парней, потягивается своим большим, сладким своим телом.

— Скопилась у меня бочкотара, мальчики, — говорит она томно, многосмысленно, туманно, — скопилась, затоварилась, зацвела желтым цветком... как в газетах пишут...

— Что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы, — говорит Шустиков Глеб, пружинисто вставая, поправляя обмундирование. — Завтра отбываю по месту службы. Да вот Володя меня до станции и подбросит.

— Значит, уезжаете, Глеб Иванович, — говорит Сима, делая по закутку ненужные движения, посылая военному моряку улыбочивые взгляды из-за пышных плеч. — Ай-ай, вот девкам горе с вашим отъездом.

— Сильное преувеличение, Серафима Игнатьевна, — улыбается Шустиков Глеб.

Между ними существует тонкое взаимопонимание, а могло бы быть и нечто большее, но ведь Сима не виновата, что еще до приезда на побывку блестящего моряка она полюбила баламута Телескопова. Такова игра природы, судьбы, тайны жизни.

Телескопов Владимир, виновник этой неувязки, не замечает никаких подтекстов, меланхолично углубленный в свои мысли, в банку ряпушки.

Он провожает моряка, долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий в зеленом небе, как одинокий морской конек.

— Эх, Сережка Есенин, Сережка Есенин, — говорит он месяцу, — видишь меня, Володю Телескопова?

А старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет, отчетливый, счастливый, навстречу опасностям.

Темнеет, темнеет, пыль оседает, инсекты угомонились, животные топчутся в дремоте, в мечтах о завтрашней свежей траве, а люди топчутся в танцах, у печей, под окнами своих и чужих домов, что-то шепчут друг другу, какие-то слова: прохвост, любимый, пьяница, проклятый, миленький ты мой...

Стемнело и тут же стало рассветать.

Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого состоял.

Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде лесничества и поджидал машину, которая должна была отвезти его на станцию Коряжск. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Никто так и не решился пригубить чайку, варенца, отведать драники, лишь папа лесничий Дрожжинин шумно ел суточные щи да мама для этикета аккомпанировала ему, едва разжимая строгие губы.

«Все-таки странная у них привычка есть из одной тарелки», — подумал Вадим Афанасьевич, хотя с привычкой этой был знаком уже давно, можно сказать, с рождения.

Он обвел глазами идилически дрожащий в утреннем свете лес, кусты смородины, близко подступившие к веранде, листья, все в каплях росы, робких и тихих родственников: папина борода-палка попалась конечно, в поле зрения и мамин гребень в жиденьких волосах, — и тепло улыбнулся. Ему было жаль покидать эту идилию, тишину, но, конечно же, жалость эта была мала по сравнению с прелестью размеренно-насыщенной жизни рафинированного холостого интеллигента в Москве.

В конце концов всего, чего он добился, — и этого костюма «Фицджеральд и сын, готовая одежда», и ботинок «Хант» и щеточки усов под носом, и полной, абсолютно безукоризненной прямоты, безукоризненных манер, всего этого замечательного англичанства, — он добился сам.

Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву!

Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился — и заслуженно — своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области.

Раскроем карты: он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии.

Никто в мире так живо не интересовался Халига лией, как Вадим Афанасьевич, да еще один француз — викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Однако викария больше, конечно, интересовали вопросы религиозно-философского порядка, тогда как круг интересов Вадима Афанасьевича охватывал все стороны жизни Халигалии. Он знал все диалекты этой страны, а их было двадцать восемь, весь фольклор, всю историю, всю экономику, все улицы и закоулки столицы этой страны города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на 3тих улицах, имена их хозяев и членов их семей, клички и нрав домашних животных, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая в Халигалии, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере с половиной из них он был в переписке, давал советы по части семейной жизни, урегулировал всякого рода противоречия.

А началось все с обычного усердия. Просто Вадим Афанасьевич хотел стать хорошим специалистом по Халигалии, и он им стал, стал лучшим специалистом, единственным в мире.

С годами усердие перешло в страсть. Мало кто догадывался, а практически никто не догадывался, что сухопарый человек в строгой серой (коричневой) тройке, ежедневно

кушающий кофе и яблочный пирог в кафе «Националь», обуреваем страстной любовью к душевной, знойной, почти никому не известной стране.

По сути дела, Вадим Афанасьевич жил двойной жизнью, и вторая, халигалийская, жизнь была для него главной. Каждую минуту рабочего и личного времен он думал о чаяниях халигалийского народа, о том, как поженить рабочего велосипедной мастерской Луиса с дочерью ресторатора Кублицки Роси той, страдал от малейшего повышения цен в этой стране, от коррупции и безработицы, думал о закулисной игре хунт, об извечной борьбе народа с аргентинским скотопромышленником Сиракузерсом, наводнившим- маленькую незащищенную Халигалию своими мясными консервами, паштетами, бифштексами, вырезками, жюльенами из дичи.

От первой же, основной (казалось бы), жизни Вадима Афанасьевича остался лишь внешний каркас — ну, вот это безукоризненное англичанство, трубка в чехле, лаун-теннис, кофе и чай в «Национале», безошибочные пересечения улицы Арбат и проспекта Калинина. Он был холост и бесстрастен. Лишь Хали галия, о, да — Халигалия...

Вот и сейчас после двухнедельных папиных поучений и маминых варенцов с драниками, после всей этой идиллии и тешащих душу подспудных надежд на дворянское происхождение он чувствовал уже тоску по Халигалии, по двум филиалам Халигалии — по своей однокомнатной квартире с халигалийской литературой и этнографическими ценностями и по кабинету с табличкой «сектор Халигалии, консультант В. А. Дрожжинин» в своем учреждении.

Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, с клубничным, вишневым, смородиновым, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его.

«Что мне делать с этим огромным количеством конфитюра?»

Старик Моченкин дед Иван битый час собачился с сыном и невесткой — опять обидела его несознательная молодежь: не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Моченкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипед с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Моченкин не видел колорадского жука, окромя как на портретах, однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам, по колхозным и приусадебным огородам, активно выявлял.

Тогда и банька была с кваском и главная в доме кружка, с петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакана два казенной и генеральское "место под почетной грамотой.

К тому же добавляем, что старик Моченкин дед Иван дал сыну в руки верную профессию: научил кастрировать ягнят и поросят, дал ему, малоактивному, верную шабашку, можно сказать, обеспечил по гроб жизни. По сути дела, и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без хода, — все дело рук старика Моченкина.

Ц А получается все наоборот, без широкого взгляда на перспективы. Наромили сын с невесткой хулиганов-школьников, и у тех ноль внимания к деду, бесконечное отсутствие уважения — ни тебе «здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович», ни тебе «разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович», и этого больше терпеть нет сил.

В свое время он писал жалобы: на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное (по коровникам) управление, на невестку а журнал «Крестьянка», — но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи.

Теперь же у старика Моченкина возникла новая идея, и имя этой восхитительной идеи было Али мент.

До пенсии старик Моченкин стажу не добрал, потому, что, если честно говорить, ухитрился в наше время прожить почти не трудовую жизнь, все охлащивал мелкий парнокопытный скот, все по чайным основные годы просидел, наблюдая разных лиц, одних

буфетчиц перед ним промелькнул цельный калейдоскоп, и потому на последующую жизнь витала сейчас перед ним идея Алимента.

Этот неблагодарный сын, с которым сейчас старик Моченкин, резко конфликтуя, жил, был говорящим. Другие три его сына, были хоть и не говорящими, но высокоактивными, работающими умельцами. Они давно уже покинули отчие края и теперь в разных концах страны клепали по хозрасчету личную материальную заинтересованность. Их, неговорящих и невидимых, старик Моченкин сильно уважал, хотя и над ними занес карающую идею Алимента.

И вот в это тихое летнее утро, не найдя в баньке ни пару, ни квасу и вообще не найдя баньки, старик Моченкин чрезвычайно осерчал, полаялся с сыном (благо, говорящий), с невесткой-вздорницей, расшугал костылем хулиганов-школьников и снарядил свой портфель, который плавал когда-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хлопоты по областным инстанциям.

В последний раз горячим взором окинул он избу, личную трудовую, построенную покойной бабкой, а сейчас захваченную наглым потомством (ни тебе «разрешите взять еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович», ни тебе посоветоваться по школьной теме «луч света в темном царстве»), криво усмехнулся — запалю я их Алиментом с четырех концов — и направился в сельпо, откуда, он знал, должна была нынче утром идти машина до станции Коряжск.

Учительница неполной средней школы, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева собиралась в отпуск, в зону черноморских субтропиков. Первоначальное решение отправиться на берега короткой, но полноводной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского моря, в город-музей Ленинград, было изменено при мыслях о южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигуру, при кардинальной мысли — «не зарывай, Ирина, своих сокровищ».

Вот уже год, как после института копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра, и Дом культуры посещала только с целью географической, по линии распространения знаний, на танцы же ни-ни, как представитель интеллигенции.

Ах, Ирина Валентиновна глянула в окно: у телеграфного столба на утреннем солнышке стоял удивительный семиклассник Боря Курочкин в новом синем костюме, обтягивающем его маленькую атлетическую фигуру, при зеленом галстуке и красном платке в нагрудном кармане; длинные волосы набриолилены на пробор. Он стоял под столбом среди коровьих лепешек, как выходец из иного мира, и возмущал все существо Ирины Валентиновны своим шикарным видом и стеклянным взглядом сосредоточенных на одной идее глаз.

Почти что год назад Ирина Валентиновна, просматривая классный журнал, задала удивительному семикласснику Боре Курочкину, сыну главного агронома, довольно равнодушный вопрос по программе:

— Ответьте мне, Курочкин, как влияет ил реки Мозамбик на экономическое развитие народов Индонезии? — или еще какой-то вздор.

Ответа не последовало.

— Начертите мне пожалуйста, профиль Западного Гиндукуша или, ну, скажем, Восточного Карабаха.

Молчание.

Ирина Валентиновна, пораженная, смотрела на его широченные плечи и эту типичную мужскую улыбочку, всегда возмущавшую все ее существо.

— А глаза-то голубые, — пробасил удивительный семиклассник.

— Единица! Садитесь! — Ирина Валентиновна вспыхнула, вскочила, пронесла свои сокровища вон из класса.

— Ребята! — завопил за дверью удивительный семиклассник. — Училка в меня втрескалась!

С тех пор началось: закачались Западные и Восточные Гиндукуши, Восточный Карабах совместно с озером Эри влился в экономическое засилье неоколониалистских элементов всех Гвиан и зоны лесостепей.

Ирина Валентиновна и в институте-то была очень плохо успевающей студенткой, а тут в ее головушке все перепуталось: на все даже самые сложные вопросы удивительный семиклассник Боря Курочкин отвечал «комплиментом».

Ирина Валентиновна, закусив губки, осыпала его единицами и двойками. Положение было почти катастрофическим — во всех четвертях колы и лебеди, с большим трудом удалось Ирине Валентиновне вывести Курочкину годовую пятерку.

В течение всего учебного года удивительный семиклассник возмущал все существо педагога, надумавшего к весне поездку в субтропические зоны.

Пенясь, взбухая пузырями, полетело в чемодан голубое, розовое, черное в сеточку-экзотик, перлон чик, найлончик, жатый конфексион, эластик, галантерея, бижутери, и сверху рельефной картой плоскогорья Гоби легло умопомрачительное декольт-волан для ночных фокстротов; щелкнули замки.

— Очей немые разговоры забыть так скоро, забыть так скоро, — на прощание спела радиоточка.

Ирина Валентиновна выбежала на улицу и зашагала к сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными гузками любое душевное движение, идиотски кудахтая, разлетались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног.

— Одну минуточку, Ирина Валентиновна! — крикнул педагогу удивительный семиклассник Боря Курочкин.

Он преследовал ее по мосткам до самого сельпо на виду у всего райцентра, глядя сбоку кровавым глазом лукавого маленького льва.

У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная бочкотарой. Бочкотара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд — совсем она затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветком, хоть в отставку подавай.

Возле машины, картинно опершись на капот, стоял монументальный Шустиков Глеб, военный моряк. Никаких следов вчерашней беседы с механизаторами на чистом его лице не было, ибо был Глеб по специальности штурмовым десантником и очень хорошо умел защищать свое красивое лицо.

Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Валентиновну, смотрел с преогромным удивлением и совершенно не замечал удивительного школьника Борю Курочкина.

— Как будто мы с вами попутчики до Коряж ска? — любезно спросил моряк педагога и подхватил чемоданчик.

— Это определено, — весело, с задорцем отве4 тила Ирина Валентиновна, радуясь, такому началу, и уничижительно взглянула через плечо на удивительного семиклассника.

— А дальше куда следуете, милая девушка?

— Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы?

— Примерно в эту же зону, — сказал моряк, удивляясь такой удаче.

— Какая, вы думаете, сейчас погода в субтропм ках? — продолжала разговор педагог главным образом для того, чтобы унижить удивительного школь-| ника.

— Думаю, что погода там располагает... к отдыху, — ответил с улыбкой моряк.

Увидев эту улыбку и поняв ее, бубукнул Боря К/1 рочкин детскими губами, фуфукнул детским носом.)

— Ну, я пошел, — сказал ой.

Он ушел, заметая пыль новомодными клешами,' ссутулившись, плюясь во все стороны. Жизнь впервые таким образом хлопнула удивительного семиклассника пыльным мешком по голове.

Моряк посадил педагога (при посадке еще раз удивился своему везению), махнул и сам через борт. Уютно устроившись на бочкотаре, они продол-] жали разговор и даже не заметили, как на бочкотару голодной рысью вскарабкался третий пассажир — старик Моченкин дед Иван.

Старик Моченкин по привычке быстро осмотрел бочкотару на предмет колорадского жука, не нашел такового и, пристроившись у кабины, написал в рай; он жалобу на учительницу Селезневу, голыми кс&р ленками завлекающую военнослужащих. А чему онаГ научит подрастающее поколение?

На крыльце появилась сладко зевающая Сима.

— Эге, Глеб Иванович, как вы удачно приспособились, — протянула она. — Ой, да это вы, Ирина Валентиновна? Извиняйте за неуместный намек, — про-1 пела она с томным коварством и обменялась с моряком понимающими улыбками. — Э, а ты куда собрался, дед Иван?

— Я с твоей бабкой на печи не лежал, — сердито пшикнул старик Моченкин. — Ты лучше письмо это в ящик брось. — И передал буфетчице донос на педагога.

На крыльцо выскочил чумовой Володя Телескопов, рожа вся в яичнице.

— Все в порядке, пьяных нет! — заорал он. — Эй, Серафима, где мой кепи, где лайковые перчатки, где моя книженция, сборник сказок? Дай-ка мне десятку, Серафима, подарок тебе куплю в Коряжске, промтовар тебе куплю, будешь рада.

— Значит, заедешь за сыном лесничего, — сказала Сима, — и сразу в Коряжск. Бочкотару береги, она у нас нервная. Десятки тебе не дам, а на пол-литра сам наберешь. Смотри, на пятнадцать суток не загреми, разлюблю.

И тут она по-женски, никого не стыдясь, поцеловала Телескопова в некрасивые губы.

Володька сел за руль, дуднул, рванул с места. Бочкотара крикнула, осела, пассажиры ровалились на бок.

Через десять минут безумный грузовик на лихом вираже, на одних только правых колесах влетел во двор лесничества.

Вадим Афанасьевич снялся было со своим элегантным чемоданом, скорее даже портпледом, но родственники, дружно рыдая, ловко навьючили на него огромный, тяжеленный рюкзак с вареньем. Халига лия тут чуть не лишилась своего лучшего друга, ибо мешок едва не переломил консультанта пополам.

Вадим Афанасьевич расположился было уже в кабине, как вдруг заметил в кузове на бочкотаре особу противоположного пола. Он предложил ей занять место в кабине, но Ирина Валентиновна наотрез отказалась: ветер дальних дорог совсем ее не страшил, скорее вдохновлял.

Старик Моченкин тоже отверг интеллигентные приставания, он не хотел покидать наблюдательный пост. Вадим Афанасьевич совсем уже растерялся от своего джентльменства и предложил место в кабине Шустикову Глебу как военнослужащему.

— Кончай, кореш. Садись и не вертхайся, — довольно сердито оборвал его Глеб, и Вадим Афанасьевич, покоробленный «корешем», сел в кабину.

И наконец тронулись. Жутко прогрохотали через весь райцентр: мимо агрономского дома, возле которого лицом к стене стояла маленькая фигурка с широкими, трясущимися от рыданий плечами; мимо Дома культуры, с крыльца которого салютовал отъезжающим мужской актив; мимо моченкинского дома, не подозревающего о карающем Алименте; мимо вальяжно-лукавой Симы на пылающем фоне мандариновой настойки; мимо палисадника с георгинами, за которыми любовно хмурил брови на родственник грузовик старший Телескопов, — и вот выехали в поля. До Коряжска было шестьдесят пять километров, то есть часа два езды с учетом местных дорог и без учета странностей Володиного характера.

Странности эти начали проявляться сразу. Сначала Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вернее, говорил только сам, поражая интеллигентного собеседника рассказом о своей невероятной жизни...



— ...короче забежали с Эдиком в отдел труда и найма а там одна рожа шесть на шесть пуляет нас в обком профсоюза дорожников а вместе с нами был этот сейчас не помню Ованесян-Петросян-Ога несян блондин с которым в нападении «Водника» играли в Красноводске ну кто-то плечом надавил на буфет сопли-вопли я говорит вас в колонию направлю а кому охота хорошо мужик знакомый с земснаряда ты говорит Володя слушай меня и заявление движимый чувством применить свои силы ну конечно газ газ газ а Эдик мы с ним плоты гоняли на Амуре пошли говорит на Комсомольское озеро сами рыли сами и кататься будем с двумя чудоухами ялик перевернули а старик говорит я на вас акт составлю или угости Витька Иващенко приشلепал массовик здоровый был мужик на геликоне лабал а я в барабан бил похоронная команда в Потти а сейчас второй уж год под планом ходит смурной как кот Егорка и Буркин на огонек младший лейтенант всех переписал чудоухам говорит вышло а нам на кой фиг такая самодеятельность улетели в Кемерово в багажном отделении, а там газ газ газ вы рыбу любите?

...потом вдруг замолчал, помрачнел, угрожающе засопел носом. Вадим Афанасьевич сначала испугался, прижался к стенке, потом понял — человек почему-то страдает.

И в кузове на бочкотаре жизнь складывалась сложно. Бочкотара от невероятной Володиной езды и от ухабов проселочных дорог очень страдала, скрипела, трещала, разъезжалась, раскатывалась на части, теряла свое лицо.

Пассажиры то и дело шлепались с нее на доски, набивали шишки, все шло к членовредительству, но тут моряк Шустиков Глеб нашел выход из положения: перевернув всю бочкотару на попа, он предложил пассажирам занять каждому свою ячейку.

Бочкотара почувствовала себя устойчивей, сгруппировалась, и пассажиры уютно расположились в ее ячейках и продолжали свою жизнь.

Старик Моченкин писал заявление на Симу за затоваривание бочкотары, на Володю Телескопова за связь с Симой, на Вадима Афанасьевича за оптовые перевозки приусадебного варенья, а также продо жал накапливать материал на Глеба и Ирину Валентиновну.

Раскрасневшаяся, счастливая Ирина Валентиновна что-то все лепетала о субтропиках, придерживала летящие свои умопомрачительные волосы, взгляд вала мельком на лаконичное мужественное лицо моряка и внутренне озарялась, а моряк кивал, улыбаясь, «в ее глаза вникая долгим взором».

Внезапно грузовик резко остановился. Бочкотар вскрикнула, в ужасе перемешала свои ячейки, та что Ирина Валентиновна вдруг оказалась рядом со I стариком Моченкиным и была им строго ухвачена.

Из кабины вылез мрачней тучи Володя Телескопов.

— Ну-ка, Глеб, слезь на минутку, — сказал он, глядя не на Глеба, а в бескрайние поля.

Моряк, недоумевающе пожав плечами, махнул чрез борт.

— Пройдем-ка немного, — сказал Телескопов. Они удалились немного по грунтовой дороге.

— Скажи мне, Глеб, только честно, — Володя весь замялся, затерся, то насупливался, то выпячивал жалкую челюсть, взвизгивал угрожающе. — Только! честно, понял? У тебя с Симкой что-нибудь было?

Шустиков Глеб улыбнулся и обнял его дружеской рукой.

— Честно, Володя, ничего не было.

— А глаз на нее положил, ну, ну? — горячился Володя. — Дошло до меня, понял, допер я сейчас за рулем!

— Знаешь песню? — сказал Глеб и тут же спел хорошим, чистым голосом: — «Если узнаю, что друг влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, такой закон — третий должен уйти...»

— Это честно? — спросил Володя тихо.

— Могу руку сжечь, как Сцевола, — ответил моряк.

— Да я тебе верю! Поехали! — заорал вдруг Володя и захохотал.

Дальше они ехали спокойно, без всяких тревожных волнений, мимо бледно-зеленых полей, по которым двигались сенокосилки, мимо голубых рощ, мимо деревень с ветряками, с журавлями, с обглоданными церквями, мимо линий высокого напряжения. Пейзаж был усыпляюще ровен, мил, благолепен, словно тихая музыка струилась в воздухе, и идиллически расписывали небо реактивные самолеты.

Вот так они ехали, ехали, а потом заснули.

### Первый сон Вадима Афанасьевича

По авеню Флорида-ди-Маэстра разгуливал весьма пристойно большой щенок, ростом с корову. Собаки к добру!

— А, Карабанчель! — на правах старого знакомого приветствовал его Вадим Афанасьевич. — Как поживает ваша матушка?

Матушка Карабанчеля, бессменный фаворит национальных скачек, усатая и цветущая, как медная труба, тетя Густа высунулась с румяными лепешками со второго этажа трактории «Моя Халигалия».

— Синьор Дрожжинин!

Улица покрылась простыми халигалийцами. Многотысячная толпа присела на корточки в тени агавы и кактуса. Вадим Афанасьевич, или почти он, нет-нет, водителя отмечаем и старичка отмечаем, папа и мама не в счет, лично он влез «а пальму и обсудил с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами.

Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появилась Хунта. На ногах у нее были туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка. Остальное все свисало, наливалось синим. Дрожали под огромным телом колосса слабые глиняные ножки.

— А я уж думала, наш друг приехал, синьор Сира кузерс, а это всего лишь вы, месье Дрожжинин. Какое приятное разочарование!

Ночь Вадим Афанасьевич провел в болотистой низменности Куккофуэго. Вокруг сновали кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси, но солнце все-таки встало над многострадальной страной.

Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел Хороший Человек, простой пахарь с циркулем и рейсшиной.

### Первый сон моряка Шустикова Глеба

Боцман Допекайло дунул в серебряную дудку.

— Подъем, манная каша!

Манная каша, гремя сапогами, разобрала оружие.

— Старшина II статьи Шустиков Глеб, с кем вчера познакомились?

— С инженером-химиком, товарищ гвардии боцман.

— Молодец! Награждаетесь сигаретами «Серенада». Кок, пончики для Шустикова!

Прямо с пончиком в зубах в подводное царство. Пльвем с аквалангами, вкусные пончики, а рядом Гулямов пускает пузыри — отработка операции «Ландыш». Светлого мая привет! Следующий номер нашей программы — прыжок с парашютом.

Кто это рядом висит на стропах, лыбится, как мамкин блин? А, это Шустиков Глеб, растущий моряк. Как же, как же, видел его в зеркале в кафе «Ландыш». Вот проблема, кем стать: аспирантом или адъюнктором?

А внизу под сапогами оранжерея ботанического сада. Или же разноцветные зонтики? Зонтики раздвигаются, а под ними знакомые девушки: инженер-химик, инструктор роно, почвовед, лингвист, подруги дней его суровых. Мимо, камнем, боцман Допекайло.

— Промахнешься, Шустиков, гальюны тебе чистить!

Ветер 10 баллов, попробуй не промахнуться. Относит, относит!

Бухнулся в стог, поспал минут шестьсот, проснулся, определился по звездам, добрал еще пару часиков, от сна пока никто не умер. А утром вижу — идет по росе Хороший Человек, несет свои сокровища, весь просвечивает сквозь платье.

### Первый сон старика Моченкина

И вот увидел он богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндом. Батюшки светы родные, Пресвятая Дева Богородица, как говаривала отсталая матушка под влиянием крепостного ига.

Образована авторитетная комиссия по разбору заявлений нижеизложенного вышеизложенного.

Его проводят в предбанник с кислым квасом... Уже в предбаннике!

...вручают единовременный подарок сухим пайком. Натe вем сала шашнадцать кило, натe урюку шаш надцать кило, сахару для самогонки шашнадцать кило.

Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, власы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор.

В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель из себя солидный, очень знакомый, членистоногий — батюшки светы, Колорадский Жук. По левую, по правую руку жучата малые, высокоактивные.

— Заявления ваши рассмотрены в положительном смысле, — внушительным голосом говорит председатель.

— Разрешите слово в порядке ведения, — пискнул малый жучок.

Душа старика Моченкина похолодела — разоблачат, разоблачат!

— Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия, ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не можем, а тут перед нами высококачественный клубень.

Принято решение, сами знаете какое.

Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную. В окно видал своими глазами — жуки терзали огромный клубень.

Ночь провел на Квасной Путяти в темени и тоске. Подбирался ложный крокодил, цапал замками за неги, щекотал.

А утром-вижу, идет по росе осиянной молодой защитник Хороший Алимент.

### Первый сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой

Она давно уже подозревала существование не включенной в программу главы Эластик-Маже стик-Семанифик... Гули-гулишки-гулю, я тебя люблю... На карнавале под сенью ночи вы мне шептали — люблю вас очень...

Это староста первого потока рыжий Сомов взял ее на буксир как плохоупевающую.

Помните, у Хемингуэя? Помните, у Дрюона? Помните, у Жуховицкого? Да ой! Нахалы какие, за какой-то коктейль «Мутный таран» я все должна помнить.

А сверху, сверху летят, как опахала, польские журналы всех стран. — Встаньте, дети!

Встали маленькие львы с лукавыми глазами.

Ой, вспомнила — это лев Пиросманишвили. Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы. Так говаривал ей руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. Наговорили они ей всякого, а оценка — три.

И все ж: гули-гулюшки-гулю-я-тебя-люблю-на-карнавале-под-сенью-ночи кружились красавцы в полумасках на танцплощадке платформы Гель-Гью. Ирочка, деточка, иди сюда, мячик дам. Бабушка, а зачем тебе такие большие руки? Чтобы обнять тебя. А зачем тебе эта лопата? Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища!

На . маленькой опушке,  
Среди зеленых скал,

Красивую бабешку  
Волчишка повстречал.

Прощайтесь, гордо поднимите красивую голову. Не сбрасывайте сокровищ! Стоп, вы спасены. К вам по росе идет Хороший Человек, и клещи у него мокрые до колен.

Первый сон Володи Телескопова

В медпункте над ним долго мудрили: вливали спецсознание через резиновый шланг — ох, врачи-паразиты, — промывали бурлящий организм.

Однако полегчало — встал окрыленный. Директор с печки слез, походил вокруг в мягких валенках, гукнул:

— Дать товарищу Телескопову самый наилучший станок высотой с гору.

— Э, нет, — говорю, — ты мне сначала тарифную сетку скалькулируй.

Директор на колени перед ним.

— Что ты, Володя, да мы в лепешку расшибемся! Мы тебя путевкой награждаем в Цхалтубо.

Здрасьте, вот вам и Цхалтубо. Вся эта Цхалтуба ваша по грудь в снегу.

Трактор идет, Симка позади, очень большая на санном прицепе.

Володенька. Володенька,  
Ходи ко мне зимой,  
Люби, пока молоденька,  
Хорошенький ты мой.

Понятное дело, не вынесла душа поэта позора мелочных обид, весь утоп в пуховых подушках, запутался в красном одеяле, рожа вся в кильках маринованных, лапы в ряпушке томатной. Однако не зажимают, наливают доплна.

Утром заявляется Эдюля, Степан и этот, как звать, не помню.

— Айда, Володя, на футбол.

Футбол катился здоревенный, как бык с ВДНХ. Бобан, балерина кривоногая, сколько мы за тебя болели, сколько души вложили, бацнул «сухого листа», да промазал. Иван Сергеич тут же его под конвой взял на пятнадцать суток. Помню как сейчас, во вторник это было.

А Симка навалилась: Володенька, Володенька, любезный мой, свежи бочкотару в Коряжск. Она у меня нервная, капризная, я за нее перед Центросоюзом в ответе.

Ну, везу. Как будто в столб сейчас шарахнусь. Жму на тормоза, кручу баранку. Куда летим, в кувет, что ли? Тянулись, потеряли сознание, очнулись. Глядим, а к нам по росе идет Хороший Человек, вроде бы на затылке кепи, вроде бы в лайковой перчатке узкая рука, вроде бы Сережка Есенин.

\*

Удар, по счастью, был несильный. От бочкотары отлетели лишь две-три ее составные части, но и этот небольшой урон причинил ей, такой чувствительной, неслыханные страдания.

Грузовик совершенно целый лежал на боку в кювете.

Моряк и педагог, сидя на стерне, в изумлении смотрели друг на друга, охваченные все нарастающим взаимным чувством.

Старик Моченкин уже бегал по полю, ловил а воздухе заявления, кассации, апелляции.

Вадим Афанасьевич, всегда внутренне готовый к катастрофам, невозмутимо, по правилам англичанства, набивал свою трубочку.

Володя Телескопов еще с полминуты после катастрофы спал на руле, как на мягкой подушке, блаженно улыбался, словно встретил старого друга, потом выскочил из кабины, бросился к бочкотаре. Найдя ее в удовлетворительном состоянии, он просиял и о пассажирах побеспокоился.

— Але, все общество в сборе?

Он обошел всех пассажиров, задавая вопрос:

— Вы лично как себя чувствуете?

Все лично чувствовали себя прекрасно и улыбались Володе ободряюще, только старик Моченкин рявкнул что-то нечленораздельное. В общем-то и он был доволен: бумаги все поймал, пересчитал, подколот.

Тогда, посовещавшись, решили перекусить. Развели на обочине костерок, заварили чай. Вадим Афанасьевич вскрыл банку вишневого варенья.

Володя предоставил в общее пользование свое любимое кушанье — коробку тюльки в собственном соку.

Шустиков Глеб, немного смущаясь, достал мамашины твороженники, а Ирина Валентиновна — плавленый сыр «Новость», утеху ее девического одиночества.

Даже старик Моченкин, покопавшись в портфеле, вынул сушку.

Сели вокруг костерка, завязалась беседа.

— Это что, даже не смешно, — сказал Володя Телескопов. — Помню, в Усть-Касимовском карьере генераторный трактор загремел с верхнего профиля. Четыре самосвала в лепешку. Танками растаскивали. А вечером макароны отварили, артельщик к ним биточки сообразил. Фуганули как следует.

— Разумеется, бывают в мире катастрофы и посерьезнее нашей, — подтвердил Вадим Афанасьевич Дрожжинин. — Помню, в 1964 году в Пуэрто, это маленький нефтяной порт в... — Он смущенно хмыкнул и опустил глаза: — ... в одной южноамериканской стране, так вот в Пуэрто у причала загорелся панамский танкер. Если бы не находчивость Мигеля Маринадо, сорокатрехлетнего смазчика, дочь которого... впрочем... хм... да... ну, вот так.

— Помню, помню, — покивал ему Володя.

— А вот у нас однажды, — сказал Шустиков Глеб, — лопнул гидравлический котел на камбузе. Казалось бы, пустяк, а звону было на весь гвардейский экипаж. Честное слово, товарищи, думали, началось.

— Халатность еще и не к тому приводит, — проскрипел старик Моченкин, уплетая твороженники, тюльку в собственном соку, вишневое варенье, сыр «Новость», хлебая чай, зорко приглядывая за сушкой. — От халатности бывают и пожары, когда полыхают цельные учреждения. В тридцать третьем годе в Коряжске-втором от халатности инструктора Монаховой, между прочим, моей сестры, сгорел ликбез, МОПР и Осоавиахим, и получился вредительский акт.

— А со мной никогда ничего подобного не было, и это замечательно! — воскликнула Ирина Валентиновна и посмотрела на моряка голубым прожекторным взором.

Ой, Глеб, Глеб, что с тобой делается? Ведь знал же ты раньше, красивый Глеб, и инженера-химика, и технолога Марину, и множество лиц с незаконченным образованием, и что же с тобой получается здесь, среди родных черноземных полей?

Честно говоря, и с Ириной Валентиновной происходило что-то необычное. По сути дела, Шустиков Глеб оказался первым мужчиной, не вызвавшим в ее душе стихийного возмущения и протеста, а, напротив, наполнявшим ее душу какой-то умопомрачительной тангообразной музыкой.

Счастье ее в этот момент было настолько полным, что она даже не понимала, чего ей еще не хватает. Ведь не самолета же в небе с прекрасным летчиком за рулем?!

Она посмотрела в глубокое, прекрасное, пронизанное солнцем небо и увидела падающий с высоты самолет. Он падал не камнем, а словно перышко, словно маленький кусочек серебряной фольги, а ближе к земле стал кувыряться, как гимнаст на турнике.

Тогда и все его увидели.

— Если мне не изменяет зрение, это самолет, — предположил Вадим Афанасьевич.

— Ага, это Ваня Кулаченко падает, — подтвердил Володя.

— Умело борется за жизнь, — одобрительно сказал Глеб.

— А мне за него почему-то страшно, — сказала Ирина Валентиновна.

— Достукался Кулаченко, добезобразничался, — резюмировал старик Моченкин.

Он вспомнил, как третьего дня ходил в окрестностях райцентра, считал копны, чтоб никто не проворовался, а Ванька Кулаченко с брющего полета фигу ему показал.

Самолет упал на землю, попрыгал немного и затих. Из кабины выскочил Ваня Кулаченко, снял пиджак пилотский, синего шевиота с замечательнейшим золотым шевроном, стал гасить пламя, охватившее было мотор, загасил это пламя и, повернувшись к подбегающим, сказал, сверкнув большим, как желудь, золотым зубом:

— Редкий случай в истории авиации, товарищи! Он стоял перед ними — внушительный, блондин, совершенно целый — невредимый Ваня Кулаченко, немного гордился, что свойственно людям его профессии.

— Сам не понимаю, товарищи, как произошло падение, — говорил он с многозначительной улыбкой, как будто все-таки что-то понимал. — Я спокойно парил на высоте двух тысяч метров, высматривая объект для распыления химических удобрений, уточняю — суперфосфат. И вот я спокойно парю, как вдруг со мной происходит что-то загадочное, как будто на меня смотрят снизу какие-то большие глаза, как будто какой-то зов, — он быстро взглянул на Ирину Валентиновну. — Как будто крик, извиняюсь, лебедихи. Тут же теряю управление, и вот я среди вас.

— Где начинается авиация, там кончается порядок, — сердито сказал Шустиков Глеб, поиграл для уточнения бицепсами и увел Ирину Валентиновну подальше.

Володя Телескопов тем временем осмотрел самолет, ободрил Ваню Кулаченко.

— Ремонту тут, Иван, на семь рублей с копейками. Еще полетаешь, Ваня, на своей керосинке. Я на такой штуке в Каракумах работал, машина надежная. Иной раз скапотировуешь в дюны — пылища!

— Как же, полетаешь, гражданин Кулаченко, годков через десять — пятнадцать обязательно полетаешь, — зловеще сказал старик Моченкин.

— А вот это уже необоснованный пессимизм! — воскликнул Вадим Афанасьевич и очень смутился.

— Значит, дальше будем действовать так, — сказал на энергичном подходе Шустиков Глеб. — Сначала вынимаем из кювета наш механизм, а потом берем на буксир машину незадачливого, хе-хе, ха-ха, авиа тора. Законно, Володя?

— Между прочим, товарищи, я должен всем нам сделать замечание, — - вдруг пылко заговорил Вадим Афанасьевич. — Где-то по большому счету мы поступили бесчеловечно по отношению к бочкотаре. Извините, друзья, но мы распивали чай, наблюдали редкое зрелище падения самолета, а в это время бочкотара лежала всеми забытая, утратившая несколько своих элементов. Я бы хотел, чтобы впредь это не повторялось.

— А вот за это, Вадик, я тебя люблю на всю жизнь! — заорал Володя Телескопов и поцеловал Дрожжинина.

Потрясенный поцелуем, а еще больше «Вадиком», Вадим Афанасьевич зашагал к бочкотаре.

Вскоре они двинулись дальше в том же порядке, но только лишь имея на буксире самолет. Пилот Ваня Кулаченко сидел в кабине самолета, читал одолженный Володей Телескоповым «Сборник гималайских сказок», но не до чтения ему было: золотистые, трепетавшие на ветру волосы педагога Селезневой, давно уже замеченной им в среде

районной интеллигенции, не давали ему углубиться в фантастическую поэзию гималайского народа.

Ведь сколько раз, бывало, пролетал Ваня Кулаченко на брющем полете над домом педагога, сколько раз уж сбрасывал над этим домом букетики полевых и культурных цветов! Не знал Ваня, что букетики эти попадали большей частью на соседний двор, к тете Нюше, которая носила их своей козе.

В сумерках замаячила впереди в багровом закате водонапорная башня Коряжска, приблизились огромные тополя городского парка, где шла предвечерняя грачиная вакханалия.

Казалось бы, их совместному путешествию подходил конец, но нет — при приближении водонапорная башня оказалась куполом полуразрушенного собора, а тополя на поверку вышли дубами. Вот тебе и влопались — где же Коряжск?

Старик Моченкин выглянул из своей ячейки, ахнул, забарабанил острыми кулачками по кабине.

— Куды завез, ирод? Это же Мышкин! Отсюда до Коряжска сто верст!

Вадим Афанасьевич выглянул из кабины.

— Какой милый патриархальный городок! Почти такой же тихий, как Грандо-Кабальерос.

— Точно, похоже, — подтвердил Володя Телескопов. По главной улице Мышкина в розовом сумерке бродили, удовлетворенно мыча, коровы, пробегали с хворостинами их бойкие хозяйки. Молодежь сига ретила на ступеньках клуба. Ждали кинопередвижку. Заглась мышкинская гордость — неоновая надпись «Книжный коллектор».

— Отсюда я Симке письмо пошлю, — сказал Володя Телескопов.

Письмо Володи Телескопова его другу Симе

Здравствуйте, многоуважаемая Серафима Игнатъевна! Пишет вам, возможно, незабытый Телескопов Владимир. На всякий случай сообщаю о прибытии в город Мышкин, где и заночуем. Не грусти и не печаль бровей. Бочкотара в полном порядочке. Мы с Вадиком ее накрыли брезентом, а также его клетчатый одеялом, вот бы нам такое, сейчас она не предьявляет никаких претензий и личных пожеланий.

Насчет меня, Серафима Игнатъевна, не извольте беспокоиться. Во-первых, полностью контролирую свое самочувствие, а, во-вторых, мышкинский участковый старший сержант Бородкин Виктор Ильич, знакомый вам до нашей любви, гостит сейчас у брата младшего лейтенанта Бородкина, также вами известного, в Гусятине.

Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет.

Кстати, передайте родителям пилота Кулаченко, что он жив-здоров, чего и им желает.

Сима помнишь войдем с тобою в ресторана зал нальем вина в искрящийся бокал нам будет петь о счастье саксофон а если чего узнаю не обижайся.

Дорогой сэр, примите уверения в совершенном к вам почтении.

Бате моему сливочного притарань полкило за наличный расчет.

Целую крепко моя конфетка.

Владимир.

\*

Представьте себе березовую рощу, поднимающуюся на бугор. Представьте ее себе как легкую и сквозную декорацию нехитрой драматургии красивых человеческих страстей. Затем для полного антуража поднимется над бугром и повиснет за березами преувеличенных размеров луна, запоют ночные птицы, свидетели наших тайн, запахнут

мятные травы, и Глеб Шустиков, военный моряк, ловким жестом постелет на пригорке свой выдавший всякое бушлат, и педагог Селезнева сядет на него в трепетной задумчивости.

Глеб, задыхаясь, повалился рядом, ткнулся носом в мятные травы. Романтика, хитрая лесная ведьма с лисьим пушистым телом, изворотливая, как тать, как росомаха, подстерегающая каждый наш неверный шаг, бацнула Глебу неожиданно под дых, отравила сладким газом, загипнотизировала расширенными лживопечальными глазами.

Спасаясь, Глеб прижался носом к матери-земле.

— Не правда ли, в черноземной полосе, в зоне лесостепей тоже есть своя прелесть? — слабым голосом спросила Ирина Валентиновна. — Вы не находите, Глеб? Глеб? Глебушка?

Романтика, ликуя, кружила в березах, то ли с балалайкой, то ли с мандолиной.

Глеб подполз к Ирине Валентиновне поближе.

Романтика, ойкнув, бухнулась внезапно в папоротники, заголосила дивертисмент.

А Глеб боролся, страдая, и все его бронированное тело дрожало, как дрожит палуба эсминца на полном ходу.

Романтика, печально воя, уже сидела над ними на суку гигантским глухарем.

— В общем и целом, так, Ирина, — сказал Шустиков Глеб, — честно говоря, я к дружку собирался заехать в Бердянск перед возвращением к месту прохождения службы, но теперь уж мне не до дружка, как ты сама понимаешь.

Они возвращались в Мышкин по заливным лугам. Над ними в ночном ясном небе летали выпы. Позади на безопасном расстоянии, маскируясь под обыкновенного культурработника, плелась Романтика, манила аккордеоном.

— Первые свидания, первые лобзания, юность комсомольскую никак не позабыть...

— Отстань! — закричал Глеб. — Поймаю — кишки выпущу!

Романтика тут же остановилась, готовая припустить назад в рошу.

— Оставь ее, Глеб, — мягко сказала Ирина Валентиновна. — Пусть идет. Ее тоже можно понять.

Романтика тут же бодро зашагала, шевеля меха.

— ...тронутые ласковым загаром руки обнаженные твои...

А на площади города Мышкин спал в отцепленном самолете пилот-распылитель Ваня Кулаченко.

### Сон пилота Вани Кулаченко

Разноцветными тучками кружили над землей нежелательные инсекты. — Мне сверху видно все, ты так и знай! Сейчас опылю!

В перигее над районом Европы поймал за хвост внушительную стрекозу.

Со всех станций слежения горячий пламенный привет и вопрос:

— Бога видите, товарищ Кулаченко?

— Бога не вижу. Привет борющимся народам Океании!

На всех станциях слежения:

— Ура! Бога нет! Наши прогнозы подтвердились!

— А ангелов видите, товарищ Кулаченко?

— Ангелов как раз вижу.

Навстречу его космическому кораблю важно летел большим лебедем Ангел.

— Чем занимаетесь в обычной жизни, товарищ Кулаченко?

— Распыляю удобрения, суперфосфатом ублажаю матушку-планету.

— Дело хорошее. Это мы поприветствуем. — Ангел поаплодировал мягкими ладошками. — Личные просьбы есть?

— Меня, дяденька Ангел, учительница не любит.

— Знаем, знаем. Этот вопрос мы провентилируем. Войдем с ним к товарищу Шустикову. Пока что заходите на посадку.



Ляпнулся в землю. Гляжу — идет по росе Хороший Человек, то ли учительница, то ли командир отряда Жуков.

\*

Вадим Афанасьевич Дрожжинин тем временем сидел на завалинке мышкинского дома приезжих, покуривал свою трубочку.

Кстати говоря, история трубочки. Курил ее на Ялтинской конференции лорд Биверлибрамс, личный советник Черчилля по вопросам эксплуатации автомобильных покрышек, а ему она досталась по наследству от его деда — адмирала и меломана Брамса, долгие годы прослужившего хранителем печати при дворе короля Мальдивских островов, а дед, в свою очередь, получил ее от своей бабки, возлюбленной сэра Элвиса Кросби, удачливого капера Ее Величества, друга сэра Френсиса Дрейка, в сундуке которого и была обнаружена трубочка. Таким образом, история трубочки уходила во тьму великобританских веков.

Лорд Биверлибрамс, тоже большой меломан, будучи в Москве, прогорел на нотах и уступил трубку за фантастическую цену нашему композитору Крас ногорскому-Фишу, а тот, в свою очередь, прогорев, сдал ее в одну из московских комиссионных, где ее и приобрел за ту же фантастическую цену нынешний сосед Вадима Афанасьевича, большой любитель конного спорта, активист московского ипподрома Аркадий Помидоров.

Однажды, будучи в отличнейшем настроении, Аркадий Помидоров уступил эту историческую английскую трубку своему соседу, то есть Вадиму Афганасьевичу, но, конечно, по-дружески, за цену чисто символическую, за два рубля восемьдесят семь копеек.

Итак, Вадим Афанасьевич сидел на завалинке и по поручению Володи сторожил бочкотару, уютно свернувшуюся под его пледом «мохер».

Ему нравился этот тихий Мышкин, так похожий на Грандо-Кабальерос, да и вообще ему нравилось сидеть на завалинке и сторожить бочкотару, ставшую ему родной и близкой.

Да, если бы не проклятая Хунта, давно бы уже Вадим Афанасьевич съездил в Халигалию за невестой, за смуглянкой Марией Рохо или за прекрасной Сильвией Честертон (английская кровь!), давно бы уже построил кооперативную квартиру в Хоршево-Мневниках, благо за годы умеренной жизни скоплена была достаточная сумма, но...

Вот таким тихим, отвлеченным мыслям предавался Вадим Афанасьевич в ожидании Телескопова, иногда вставая и поправляя плед на бочкотаре.

Вдруг в конце улицы за собором послышался голос Телескопова. Тот шел к дому приезжих, горлая песню, и песня эта бросила в дрожь Вадима Афанасьевича.

Ие-йе-йе. хали-гали!  
Ие-йе-йе, саюгон!  
йе-йе-йе. сами гнали!  
Ие-йе-йе, сами пьем!  
А кому какое дело,  
Где мы дрожжи достаем... —

распевал Володя никому, кроме Вадима Афанасьевича, не известную халигалийскую песню. Что за чудо? Что за бред? Уж не слуховые ли галлюцинации?

Володя шел по улице, загребая ногами пыль.

— Привет, Вадька! — заорал он, подходя. — Ну и гада эта тетка Настя! Не поверишь, по двугривенному за стакан лупит. Да я, когда в Ялте на консервном заводе работал, за двугривенный в колхозе «Перво май» литр вина имел, а вино, между прочим, шампанских сортов, накапаешь туда одеколону цветочного полсклянки и ходишь весь вечер косою.

— Присядьте, Володя, мне надо с вами поговорить, — попросил Вадим Афанасьевич.

— В общем, если хочешь, пей, Вадим, — сказал Телескопов, присаживаясь и протягивая бутылку.

— Конечно, конечно, — пробормотал Дрожжинин и стал с усилием глотать пахучий, сифонный, сифонно водородный, сифонно-винегретно-котлетно-хлебный, культурный, освежающе-одуряющий напиток.

— Отлично, Вадим, — похвалил Телескопов. — Вот с тобой я бы пошел в разведку.

— Скажите, Володя, — тихо спросил Вадим Афанасьевич. — Откуда вы знаете халигалийскую народную песню?

— А я там был, — ответил Володя. — Посещал эту Халигалию-Малигалию.

— Простите, Володя, но сказанное вами сейчас ставит для меня под сомнение все сказанное вами ранее. Мы, кажется, успели уже с вами друг друга узнать и внушить друг другу уважение на известной вам почве, но почему вы полученные косвенным путем сведения превращаете в насмешку надо мной? Я знаю всех советских людей, побывавших в Халига лии, их не так уж много, больше того, я знаю вообще всех людей, бывших в этой стране, и со всеми этими людьми нахожусь в переписке. Вы, именно вы, там не были.

— А хочешь заложимся? — спросил Володя.

— То есть как? — оторопел Дрожжинин.

— Пари на бутылку «Горного дубняка» хочешь? Короче, Вадик, был я там, и все тут. В шестьдесят четвертом году совершенно случайно оформился плотником на теплоход «Баскунчак», а его в Халигалию погнало, понял?

— Это было единственное европейское судно, посетившее Халигалию за последние сорок лет, — прошептал Вадим Афанасьевич.

— Точно, — подтвердил Володя. — Мы им помощь везли по случаю землетрясения.

— Правильно, — еле слышно прошептал Вадим Афанасьевич, его начинало колотить неслыханное возбуждение. — А не помните ли, что конкретно вы везли?

— Да там много чего было — медикамент, бинты, детские игрушки, сгущенки, хоть залейся, всякого добра впрок на три землетрясения и четыре картины художника Каленкина для больниц.

Вадим Афанасьевич с удивительной яркостью вспомнил счастливые минуты погрузки этих огромных, добротнo сколоченных картин, вспомнил массовое ликование на причале по мере исчезновения этих картин в трюмах «Баскунчака».

— Но позвольте, Володя! — воскликнул он. — Ведь я же знаю весь экипаж «Баскунчака». Я был на его борту уже на второй день после прихода из Халигалии, а вас...

— А меня, Вадик, в первый день списали, — доверительно пояснил Телескопов. — Как ошвартовались, так сразу Помпезов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификаты. Иди, говорит, Телескопов, отоваривайся, и чтоб ноги твоей больше в нашем пароходстве не было, божий плотник. А в чем дело, дорогой друг? С контактами я там кой-чего напутал.

— Володя, Володя, дорогой, я бы хотел знать подробности. Мне это крайне важно!

— Да ничего особенного, — махнул ручкой Володя. — Стою я раз в Пуэрто, очень скучаю. Кока-колой надулся, как пузырь, а удовлетворения нет. Смотрю, симпатичный гражданин идет, познакомились — Мигель Маринадо. Потом еще один работяга появляется, Хосе-Луис...

— Велосипедчик? — задохнулся Дрожжинин.

— Он. Завязали дружбу на троих, потом повторили. Пошли к Мигелю в гости, и сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня, как будто я павлин кавказский из Мурманского зоопарка, у которого б прошлом году Гришка Офштейн перо вырвал.

— Кто же там был из девушек? — трепетал Вадим Афанасьевич.

— Сонька Маринадова была, дочка Мигеля, но я ее пальцем не тронул, это, Вадик, честно, затем, значит, Маришка Рохо и Сильвия, фамилии не помню, ну а потом Хосе-Луис на велосипеде за своей невестой съездил, за Роситой. Вернулся с преогромным фингалом на ряшке. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят, юбки короткие, я же не железный,

верно? Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать, я ее от Симки у пахана прячу.

— Вы переписывались? — спросил Дрожжинин.

— Да и сейчас переписываемся, только Симка ее письма рвет, ревнует. А ревность унижает человека, дорогая Симочка, это еще Вильям Шекспир железно уточнил, а человек, Серафима Игнатьевна, он хозяин своего «я». И я вас уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией почти что и не было ничего платонического, а если и бывало, то только когда теряли контроль над собой. Я, может, больше любил, Симочка, по авенидам ихним гулять с этой девочкой и с собачонкой Карабанчелем. Зверье такого типа я люблю как братьев наших меньших, а также, Серафима, любите птиц — источник знаний!

С этими словами Володя Телескопов совсем уже отключился, бухнулся на завалинку и захрапел.

Тренированный по джентльменской методе Вадим Афанасьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга (да, друга, теперь уже окончательного друга) в дом приезжих и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, думал о коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщившей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей только лишь о всяких девических пустяках. Думал он также вообще о странном прелестном характере хали галийских ветрениц, о периодических землетрясениях, раскачивающих сонные халигалийские города, как бы в танце фанданго.

## Второй сон Володи Телескопова

У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у вас фонарь под глазом. Начал рыться в карманах, вытащил талоны на бензин, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, елового мыла кусок, красивую птицу — источник знаний, восемь копеек денег.

Начал трясти костюм, полупальто — вытряслось тарифной сетки метра три, в ней премиальная рыба — треска-чего-тебе-надобно-старче, возвратной посуды бутылками на шестьдесят копеек, банками на двадцать (живем!), сборник песен «Едем мы, друзья, в дальние края», наряд на бочкотару, расческа, пепельница. Наконец, обнаружилось искомое — вытащил из-под подкладки заваливающую маленькую ложь.

— А это у меня еще с Даугавпилса. Об бухту троса зацепился и на ящик глазом упал.

Верхом на белых коровах проехали приглашенные — все шишки райпотребкооперации.

А Симка стоит в красном бархатном платье, смеется, как доменная печь имени Кузбасса.

А его, конечно, не пускают. Выбросил за ненадобностью свою паршивенькую ложь.

— У других и ложь-то как ложь, а у тебя и ложь-то как вошь.

Но ложь, отнюдь не как вошь, а скорее лягушкой весело шлепала к луже, хватая на скаку комариков.

— Ворюги, позорники, сейчас я вас всех понесу! Как раз меня и вынесли, а мимо дружина шла.

— Доставьте молодчика обратно в универмаг ДЛТ или в огороде под капусту бросьте.

Одного меня в универмаг повезла боевая дружина, а другого меня под капусту бросила.

Посмотрел из-за кочана — идет, идет по росе Хороший Человек, вроде бы кабальеро, вроде бы Вадик Дрожжинин.

— Але, Хороший Человек, пойдем Серафиму спасать, баланс подбивать, ой, честно, боюсь проворуется!

## Второй сон Вадима Афанасьевича

Гаснут дальней Альпухары золотистые края, а я ползу по черепичным крышам Халигалии. Вон впереди дом, похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон, ниша в густой тени.

Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку крыши. Перед решающим броском ошупываю рубашку, брюки — все ли на месте? Ура, все на месте!

Перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по брандмауэру, и вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре, а в будуаре — альков, а в алькове кровать XVI века, а на кровати раскинула юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конкистадоров и каперов Ее Величества. Прыгнул на кровать, завязалась борьба, сверкнул выхваченный из-под подушки кинжал, ищу губы Сильвии.

СИЛЬВИЯ. — Вадим!

ОН. — Это я, любимая!

Кинжал летит на ковер. Дышала ночь восторгом сладострастья...

— Любимый, куда ты?

— Теперь я к Марии Рохо. Ночь-то одна...

У него ноги были подбиты железом, а пиджак из листовой стали. Тедди-бойс, конечно, разбежались, потрясая длинными патлами, как козы.

Мария Рохо вздрогнула, как лань, когда он вошел.

— Вадим!

Хороши весной в саду цветочки... Это еще что, это откуда?

Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам, а где-то пытается наложить на себя руки посрамленный соперник Диего Моментальный. Скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду они — прекрасные женщины Халигалии.

— Вадим!

— Спокойно, красавицы...

Вихрем в окно и из дымовой трубы, опять в окно, опять из трубы... Габриэла Санчес, Росита Кублицки, тетя Густа, Конкордия Моро, Стефания Сандрелли... Клятвы, мечты, шепот, робкое дыхание... Безумная мысль: а разве Хунта не женщина? Проснулся опять в Кункофуэго в полной тоске... Как связать свою жизнь с любимыми? Ведь не развратник же, не ветреник.

В дымных лучах солнца по росе подходил Хороший Человек.

— Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой.

\*

Старик Моченкин дед Иван в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей Настасьей: во-первых, съел яичницу из десяти яиц; во-вторых, выпил браги чуть не четверть; в-третьих, конечно, включил радиоточку, прослушал, важно кивая, передачу про огнеупорную глину, а также концерт «Мадемуазель Нитуш».

Кума Настасья все это время стояла у печи, руки под фартуком, благоговейно смотрела на старика Моченкина, лишь изредка с поклонами, с извинениями удалялась, когда молодежь под окнами гремела двугривенными. Уважение к старику Моченкину она питала традиционное, давнее, начавшееся еще в старые годы с баловства. Честно говоря, старик Моченкин был даже рад, что попал в город Мышкин, да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уж ждал корифей всех времен и народов — пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог — сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада, империалистический хищник.

— Плесни-ка мне, кума, еще браги, — приказал старик Моченкин.

— Извольте, Иван Александрович.

— Вот здесь, кума, — старик Моченкин хлопнул ладонью по своему портфелю ложного крокодила, — вот здесь все они у мене — и немые и говорящие.

— Сыночки ваши, Иван Александрович?

— Не только... — Старик Моченкин строго погрозил куме пальцем. — Отнюдь не только сыночки. Усе! — вдруг заорал он, встал и, качаясь, направился к кровати. — Усе! Опче! Ума! — еще раз погрозил кому-то, в кого-то потыкал длинным пальцем и залег.

#### Второй сон старика Моченкина

И вот увидел он — вся большая наша страна решила построить ему пальто. Сказано — сделано: вырыли котлован, работа закипела. Пальтомоченкинстрой!

Заложено было пальтецо, как линейный крейсер, синего драпа, бортовка конским волосом, груди проектируются агромаднейшие, как у Фёфёлова Андронид Лукича, нате вам!

Надо бы жирности накачать под такое пальто. Беру булютень (у кого?), беру булютень у товарища Те лескопова, нашего водителя, ввожу в себе крем-бру ле, стюдень, лапшу утячаю, яичную болтанку — ноль-ноль процента результата, привес отсутствует, хоть вой! Шельмуют в семье с жирами, жируют в шельме с семьями, а кому писать, кому челом бить? Стучи, стучи — не достучишься. Пальто высилось над полями и рощами, как элеватор, воротник мелкими кольцами в облаках, и вот я иду на примерку.

А посереде поля — баран неохолощенный, огромный, товарный, товарный... А вы идите, господин-товарищ, как бы стороной, как бы между прочим.

Так и иду, баран только землю роет, спасибо, люди добрые. Вот пальто, а в пальте дверь, а в дверях Фёфёлов Андронид Лукич.

— Вам куда, гражданин хороший?

— А на примерку, Андронид Лукич.

— Хоть я и Лукич, а ты мене не тычь. Примерки, гражданин, больше не будет. В вашем пальте давно уже краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Етта баран товарный, мутон натуральный, етта диаграмма качественная с абсиссом и ординатом, а етта старичок маринованный в банке, ни богу свечка, ни черту кочерга — узнаете?

С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана, плюхнулся в траву.

— Иде ж ты, иде ж ты, заступница моя родная! Иде ж ты, Юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная?

Шевелились травы росные, скрип был большой, как будто под тяжелыми шагами.

#### Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой

Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела.

#### Второй сон моряка Шустикова Глеба

Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел.

\*

Вскоре над городом Мышкин взошло радостное солнце, и все наши путешественники проснулись счастливыми. Володя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и стал на работающий мотор смотреть. Он очень любил смотреть на работающие механизмы. Иногда остановится где-нибудь и смотрит на работающий механизм, смотрит на него несколько минут, все в нем понимает, улыбается тихо, без всякого шухера, и отходит счастливый, будто помылся теплой и чистой водой.

Вадим Афанасьевич тем временем бочкотару ублажал мылом и мочалкой, задавал ей утренний туалет, тер до блеска ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под солнечными лучами и мыльной водой, давно ей уж не было так хорошо, и Вадиму Афанасьевичу давно так хорошо не было. Ему всегда было в общем-то неплохо, всегда было организовано и ровно, но так хорошо, как сейчас, ему не было, пожалуй, с детства.

Вернулся от кумы старик Моченкин, стоял в сто роне хмурый, строго наблюдал. Трудно сказать, по чему он не отправился в Коряжск рейсовым автобусом. Может быть, из соображений экономии, ведь он решил заплатить Телескопову за все художества не больше пятнадцати копеек, а может быть, и он, так же как другие пассажиры, чувствовал уже какую-то внутреннюю связь с этой полуторкой, с чумазым баламутом Телескоповым, с распроклятой бочкотарой, такой нервной и нежной.

Ирина Валентиновна тем временем сервировала о палисаднике завтрак, яйца и картошку, а верный ее друг Шустиков Глеб резал огурцы.

— Прощу к столу, товарищи! — пригласила счастливым голосом Ирина Валентиновна, и все сели завтракать, не исключая, разумеется, и старика Моченкина, который хоть и подзаправился у кумы, но упустить лишний случай пожировать на дармовщину, конечно же, не мог. Сушку свою он опять вынул и положил на стол ближе к локтю.

Путешественники уже кончали завтрак, когда с улицы из-за штакетника прилетел милый голосок:

— Приятного вам аппетита, граждане хорошие!

За забором стояла миловидная старушка в плюшевом аккуратном жакете, с сундучком, узелком и сачком, какими дети ловят бабочек.

— Здравствуйте, — сказала она и низко поклонилась. — Не вы ли, граждане, бочкотару в Коряжск транспортируете?

— Мы, бабка! — гаркнул Володя. — А тебе чего до нашей бочкотары?

— А я к вам в попутчицы прошусь, милоч. Кто у вас старшой в команде?

Путешественники весело переглянулись: они и не знали, что они «команда».

Старик Моченкин крякнул было, стряхнул крошки с пестрядиного пиджака, приосанился, но Шустиков Глеб, подмигнув своей подруге, сказал:

— У нас, мамаша, начальства тут нет. Мы, мамаша, просто люди разных взглядов и разных профессий, добровольно объединились на почве любви и уважения к нашей бочкотаре. А вы куда следуете, пожилая любезная мамаша?

— В командировку, сыночек, еду в город Хведо сию. Институт меня направляет в крымскую степь для отлова фотоплексируса.

— Это жука, что ль, рогатого, бабка? — крикнул Володя.

— Его, сынок. Очень трудный он для отлова, этот батюшка фотоплексирус, вот меня и направляют.

Оказалось, что Степанида Ефимовна (так звали старушку) вот уже пять лет является лаборантом одного московского научного института и получает от института ежемесячную зарплату сорок целковых плюс премиальные.

— Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю полевых, стрекоз, бабочек, личинок всяких, а особенно уважают тугового шелкопряда, — напевно рассказывала она. — Очень они мною довольные и потому посылают в крымскую степь для отлова фотоплексируса, жука рогатого, неуловимого, а науке нужного.

— Ты только подумай, Глеб, — сказала Ирина Валентиновна. — Такая обыкновенная, скромная бабушка, а служит науке! Давай и мы посвятим себя науке, Глеб, отдадим ей себя до конца, без остатка...

Ирина Валентиновна сдержанно запылала, чуть-чуть задрожала от вдохновения, и Глеб обнял ее за плечи.

— Хорошая идея, Иринка, и мы воплотим ее в жизнь.

— Все-таки это странно, Володя, — шептал Вадим Афанасьевич Телескопову. — Вы заметили, что они уже перешли на ты? Поистине, темпы космические. И потом эта старушка... Неужели она действительно будет ловить фотоплексируса? Как странен мир...

— А ничего странного, Вадим, — сказал Володя. — Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили. А бабка жука поймает, будь спок. У меня глаз наметанный, изловит бабка фотоплексируса.

Старик Моченкин молчал, потрясенный и уязвленный рассказом Степаниды Ефимовны. Как же это так получается, други-товарищи? О нем, о крупном специалисте по инсектам, отдавшем столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке, даже и не вспомнили в научном институте, а бабка Степанида, которой только лебеду полоть, пожалуйста — лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают ценную кадру, материально не заинтересовывают, душат инициативу. Допляшутся губители народной копейки!

— Залезайте, ребята, поехали! — закричал Володя. — Залезай и ты, бабка, — сказал он Степаниде Ефимовне, — да будь поосторожней с нашей бочкотарой.

— Ай, батеньки, а бочкотара-то у вас какая вальяжная, симпатичная да благолепная, — запела Степанида Ефимовна, — ну чисто купчиха какая, чисто ^осиха сытая, а весела-а-я-то, тятеньки...

Все тут же полюбили старушку-лаборанта за ее такое отношение к бочкотаре, даже старик Моченкин неожиданно для себя смягчился.

Залезли все в свои ячейки, тронулись, поплыли по горбатым улицам города Мышкин.

— Сейчас на площадь заедем, Ваньку Кулаченко подцепим, — сказал Володя.

Но ни Вани Кулаченко, ни аэроплана на площади не оказалось. Уже парил пилот Кулаченко в голубом небе, уже парил на своей надежной машине с солнечными любовными бликами на несущих плоскостях. Выходит, починил уже Ваня свою верную машину и снова полетел на ней удобрять матушку-планету.

Уже на выезде из города путешественники увидели пикирующий прямо на них биплан. Точно сманеврировал на этот раз пилот Кулаченко и точно бросил прямо в ячейку Ирины Валентиновны букет небесных одуванчиков.

— Выбрось немедленно! — приказал ей Шустиков Глеб и поднял к небу глаза, похожие на спаренную зенитную установку.

«Эх, — подумал он, — жаль, не поговорил я с этим летуном на отвлеченные литературные темы!»

К тому же заметил Глеб, что вроде колбасится за ними по дороге распроклятая Романтика, а может, это была просто пыль. Очень он заволновался вдруг за свою любовь, потрянул внутренним железом, сгруппировался.

— Выбросила или нет?

— Да ой, Глеб! — досадливо воскликнула Ирина Валентиновна. — Давно уже выбросила.

На самом деле она спрятала один небесный одуванчик в укромном месте да еще и посылала украдкой взоры вслед улетевшему, превратившемуся уже в точку самолету, вдохновляла его мотор. Какая женщина не оставит у себя памяти о таком волнующем эпизоде в ее жизни?

Итак, они снова поехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. Володя Телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел, сворачивал на развилках с ходу, особенно не задумываясь о правильности направления, сосал леденцы, тягал у Вадима Афанасьевича из кармана табачок «Кепстен», крутил сигарки, рассказывал другу-попутчику байки из своей увлекательной жизни.

— В то лето Вадюха я ассистентом работал в кинокартине Вечно пылающий юго-запад законная кинокартина из заграничной жизни приехали озеро голубое горы белые мама родная завод стоит шампанское качает на экспорт аппетитный запах все бухие посудницы в столовке не поверишь поют рвань всякая шампанским полуфабрикатом прохлаждается

взяли с Вовиком Дьяченко кителя из реквизита мен тели головные уборы отвалили по-французски разговариваем гули-мули и утром в среду значит Бушка нец Нина Николаевна турнула меня из экспедиции Вовика товарищеский суд оправдал а я дегустатором на завод устроился они же ко мне и ходили бобики а я в художественной самодеятельности дух бродяжный ты все реже реже рванул главбух плакал честно устал я там Вадик.

Вадим же Афанасьевич, ничему уже не удивляясь, посасывал свою трубочку, в элегическом настроении поглядывал на поля, на рощи, послушивал скрип любезной своей бочкотары и даже слова не сказал своему другу, когда заметил, что проскочили они поворот на Коряжск.

Старик Моченкин тожжа самое — разнежился, накапливая аргументацию, ослаб в своей ячейке, вкушая ноздрями милый сердцу слабый запах огуречного рассола пополам с пивом, и лишь иногда, спохватываясь, злил себя, — а вот приду в облсо бес, как хваачу, да как, — но тут же опять расслаблялся.

Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домовито, постелила шаль и сейчас дремала под розовым флажком своего сачка, дремала мирно, уютно, лишь временами в ужасе вскакивая, выпучивая голубые глазки: «Окстись, окстись, проклятуций!» — мелко крестилась и дрожала.

— Ты чего, мамаша, паникуешь? — сердито прикрикнул на нее разок Шустиков Глеб.

— Игреца увидела, милоч. Игрец привиделся, извините, — смутилась Степанида Ефимовна и затухла, как мышка.

Так они и ехали в ячейках бочкотары, каждый в своей.

Однажды на косогоре у обочины дороги путешественники увидели старичка с поднятым пальцем. Палец был огромен, извилист и коряв, как сучок. Володя притормозил, посмотрел на старичка из кабины.

Старичок слабо стонал.

— Ты чего, дедуля, стонаешь? — спросил Володя.

— Да вишь как палец-то раздуло, — ответил старичок. — Десять ден назад собираю я, добрые люди, груздя в бору, и подвернись тут гад темно-зеленый. Етот гад мене в палец и клюнул, зашипел и ушел. Десять ден не сплю...

— Ну, дед, поел ты груздей! — вдруг дико захохотал Володя Телескопов, как будто ничего смешнее этой истории в жизни не слыхал. — Порубал ты, дедуля, груздей! Вкусные грузди-то были или не очень? Ну, братцы, умора — дед груздей захотел!

— Что это с вами, Володя? — сухо спросил Вадим Афанасьевич. — Что это вы так развеселились? Не ожидал я от вас такого.

Володя поперхнулся смехом и покраснел.

— В самом деле, чего это я ржу, как ишак? Извините, дедушка, мой глупый смех, вам лечиться надо, починять ваш пальчик. Пол-литра водки вам надо выпить, папаша, или грамм семьсот.

— Ничего, терпение еще есть, — простонал старичок.

— А ты, мил-человек, кирпича возьми толченого, — запела Степанида Ефимовна, — узвару пшеничного, лебеды да табаку. Пятак возьми медный да все прокипяти. Покажи этот киселек месяцу молодому, а как кочет в третий раз зареочет, так пальчик свой и спушай...

— Ничего, терпение еще есть, — стонал старичок.

— Какие предрассудки, Степанида Ефимовна, а еще научный лаборант! — язвительно прошипел старик Моченкин. — Ты вот что, земляк, веди свою рану на ВТЭК, получишь первую группу инвалидности, сразу тебе полегчает.

— Ничего, терпение есть, — тянул свое старичок. — Еще есть терпенье, люди добрые.

— А по-моему, лучшее средство — свиной жир! — воскликнула Ирина Валентиновна. — Туземцы Килиманджаро, когда их кусает ядовитый питон, всегда закалывают жирную свинью, — блеснула она своими познаниями.



— Ничего, ничего, еще покуда терпенье не лопнуло, — заголосил вдруг старичок на высокой ноте.

— Анпутировать надо пальчик, ой-ей-ей, — участливо посоветовал Шустиков Глеб. — Человек пожилой и без пальца как-нибудь дотянет.

— А вот это мысль хорошая, — вдруг совершенно четко сказал старичок и быстро посмотрел на свой ужасный палец, как на совершенно постороннего человека.

— Да что вы, товарищи! — выскочил вдруг на первый план Вадим Афанасьевич. — Что за нелепые советы? В ближайшей амбулатории сделают товарищу продольный разрез и антибиотики, антибиотики!

— Правильно! — заорал Володя. — Спасать надо этот палец! Так пальцами бросаться будем — пробросаемся! Полезай-ка, дед, в бочкотару!

— Да ничего, ничего, терпение-то у меня еще есть, — снова заканючил укушенный гадом дед, но все тут возмущенно загалдели, а Шустиков Глеб, еще секунду назад предлагавший свое боевое решение, прыгнул на землю, поднял легонького странника и посадил его в свободную ячейку, показав тем самым, что на ампутации не настаивает.

— Опять, значит, крюк дадим, — притворно возмутился старик Моченкин.

— Какие уж тут крюки, Иван Александрович! — махнул рукой Вадим Афанасьевич, и с этими его словами Володя Телескопов ударил по газам, врубил третью скорость и полез на косогор, а потом запылил по боковушке к беленьким домикам зерносовхоза.

— Я извиняюсь, земляк, — полюбопытствовал старик Моченкин, косым глазом ощупывая стонущего ровесника, — вы, можно сказать, просто так прогуливались с вашим пальцем или куда-нибудь конкретно следовали?

— К сестрице я шел, граждане хорошие, в город Туапсе, — простонал старичок.

— Куда? — изумился Шустиков Глеб, сразу вспомнив столь далекий отсюда пахучий южный порт, черную ночь и светящиеся острова танкеров на внешнем рейде.

— В Туапсе я иду, умный мальчик, к своей единственной сестрице. Проститься хочу с ней перед смертью.

— Вот характер, Ирина, обрати внимание. Ведь это же Сцевола, — обратился Глеб к своей подруге.

— Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевола, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? — спросила Ирина.

Потрясенный этим вопросом, Глеб закашлялся. А старик Моченкин тем временем уже вострил свой карандаш в областные инстанции.

### Проект старика Моченкина по ликвидации темно-зеленой змеи

Уже много лет районные организации развертывают успешную борьбу по ликвидации темно-зеленого уродливого явления, свившего себе уютное змеиное гнездо в наших лесах.

Однако, наряду с достигнутым успехом многие товарищи совсем не чухаются окромя пустых слов. Стендов нигде нету. \

Надо развернуть повсеместно наглядную агитацию против пресмыкающихся животных, кусающих нам пальцы, вооружить население литературой по данному вопросу и паче чанья учредить районного инспектора по змее с окладом 18 рублей 75 копеек и с выдачей молока.

В просьбе прошу не отказать.

Моченкин И. А., бывший инспектор по колорадскому жуку, пока свободный.

Вот так они и ехали. Телескопов с Дрожжининым в кабине, а все остальные в ячейках бочкотары, каждый в своей.

Однажды они приехали в зерносовхоз и там сдали терпеливого старичка в амбулаторию.

В амбулатории старичок расшумелся, требовал ампутации, но его накачали антибиотиками, и вскоре палец выздоровел. Конечно же, на шум сбежался весь зерносовхоз и в числе прочих «единственная сестрица», которая вовсе не в Туапсе проживала, а именно в этом зерносовхозе, откуда и сам старичок был родом. Что-то тут напутал терпеливый старичок. Должно быть, от боли.

\*

Однажды они заночевали в поле. Поле было дикое с выгнутой спиной, и они сидели на этой спине у огня, под звездами, как на закруглении Земли. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом. Стрекотали ночные кузнецы.

— Стрекоcut, родные, — ласково пропела Степанида Ефимовна. — Стрекоcutе, стрекочте, по кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. Теперича мне бы по батюшке фотоплексирусу дать показатель, вот была бы я баба довольная.

Личико ее пошло лучиками, голубенькие глазки залукавились, ручка мелко-мелко — ох, грехи наши тяжкие — перекрестила зевающий ротик, и старушка заснула.

— Сейчас опять игроца увидит мамаша, — предположил Глеб.

— Ай! Ай! Ай! — во сне прокричала старушка. — Окстись, проклятуший, окстись!

— Хотелось бы мне увидеть этого ее игроца, — сказал Вадим Афанасьевич. — Интересно, каков он, этот так называемый игрец?

— Он очень приятный, — сказала Степанида Ефимовна, сразу же проснувшись. — Шляпочка красенька, сапог модельный, пузик кругленький, очень интересный.

— Так почему же вы его, бабушка, боитесь? — наивно удивилась Ирина Валентиновна.

— Да как же его не бояться, матушка моя, голубушка-красавица, — ахнула старушка. — А ну как щекотать начнет да как запляшет, да зенками огневыми как заиграет! Ой, лихой он, этот игрец, нехороший...

— Перестраиваться вам надо, мамаша, — строго сказал Шустиков Глеб. — Перестраиваться самым решительным образом.

— В самом деле, бабка, — сказал Телескопов, — загадай себе и увидишь, как хороший человек...

— ...идет по росе, — сказали вдруг все хором и вздрогнули, смущенно переглянулись.

— Лыцарь? — всплеснула руками догадливая старушка.

— Да нет, просто друг, готовый прийти на помощь, — сказал Вадим Афанасьевич. — Ну, скажем, простой пахарь с циркулем...

— Во-во, — кивнул Володька, — такой кореш в лайковых перчатках...

— Юридический, полномочный, — жалобно затянул старик Моченкин.

— Уполномоченный? — ахнула старушка. — Окстись, окстись! Мой игрец тоже уполномоченный.

— Да нет, мамаша, какая вы непонятливая, — досадливо сказал Глеб, — просто красивый лицом и одеждой и внутренне собранный, которому до фень ки все турысы на колесах...

— И мужественный! — воскликнула Ирина Валентиновна. — Героичный, как Сцевола...

— Поняла, голубчики, поняла! — залучилась, залукавилась Степанида Ефимовна. — Блаженный человек идет по росе, ай как хорошо!

Тут же она и заснула с открытым ртом.

— Запрограммировалась мамаша, — захохотал было Шустиков Глеб, но смущенно осекся. И все были сильно смущены, не глядели друг на друга, ибо раскрылась общая тайна их сновидений.

Блики костра трепетали на их смущенных лицах, принужденное молчание затягивалось, сгущалось, как головная боль, но тут нежно скрипнула во сне укутанная платками и одеялами бочкотара, и все сразу же забыли свой конфуз, успокоились.

Шустиков Глеб предложил Ирине Валентиновне «побродить, память в степях багряных лебеды», и они церемонно удалились.

Огромные сполохи освещали на мгновения бескрайнюю холмистую равнину и удаляющиеся фигуры моряка и педагога, и старик Моченкин вдруг подумал: «Красивая любовь украшает нашу жись передовой молодежью», — подумал, и ужаснулся, и для душевного своего спокойствия сделал очередную пометку о низком аморальном уровне.

Вадим Афанасьевич и Володька лежали рядом на спинах, покуривали, пускали дым в звездное небо.

— Какие мы маленькие, Вадик, — вдруг сказал Телескопов, — и кому мы нужны в этой вселенной, а? Ведь в ней же все сдвигается, грохочет, варится, вся она химией своей занята, а мы ей до феньки.

— Идея космического одиночества? Этим занято много умов, — проговорил Вадим Афанасьевич и вспомнил своего соперника-викария, знаменитого кузнечника из Гельвеции.

— А чего она варит, чего сдвигает и что же будет в конце концов, да и что такое «в конце концов», страшно за себя, выть хочется от непонятного, страшно за всех, у кого руки-ноги и черепушка на плечах. Сквозануть куда-то хочется со всеми концами, зашабашить сразу, без дураков. Ведь не было же меня и не будет, и зачем я взялся?

— Человек остается жить в своих делах, — глухо проговорил Вадим Афанасьевич в пику викарию.

— И дед Моченкин, и бабка Степанида, и я, бого дул несчастный? В каких же это делах остаемся мы жить? — продолжал Володя. — Вот раньше несознательные массы знали: бог, рай, ад, черт — и жили под этим законом. Так ведь этого же нету, на любой лекции тебе скажут. Верно? Выходит, я весь ухожу, растворяюсь к нулю, а сейчас остаюсь без всяких подробностей, просто, как ожидающий, так? Или нет? Был у нас в Усть-Касимовском карьере Юрка Звонков. Одно только знал — трешку стрелнуть до аванса, а замотает, так ходит именинником, да к девкам в общежитие залезть, били его бабы каждый вечер, ой, смех. Однажды стрела на Юрку упала, повезли мы его на кладбище, я в медные тарелки бил. Обернусь, лежит Юрка, важный, строгий, как будто что-то знает, никогда я раньше такого Лица у него не видел. Прихожу в амбулаторий, спрашиваю у Семена Борисовича: отчего у Юрки лицо такое было? А он говорит, мускулатура разглаживается у покойников, оттого и такое лицо. Понятно вам, Телескопов? Это-то мне понятно, про мускулатуру это понятно...

— Человек остается в любви, — глухо проговорил Вадим Афанасьевич.

Володя замолчал, тишину теперь нарушал лишь треск костра да легкое, сквозь сон, поскрипывание бочкотары.

— Я тебя понял, Вадюха! — вдруг вскричал Володя. — Где любовь, там и человек, а где нелюбовь, там эта самая химия-химия — вся мордеха синяя. Верно? Так? И потому ищут люди любви, и куролесят, и дурят, а в каждом она есть, хоть немного, хоть на доньшке. Верно? Нет? Так?

— Не знаю, Володя, в каждом ли, не знаю, не знаю, — совсем уже еле слышно проговорил Вадим Афанасьевич.

— А у кого нет, так там только химия. Химия, физика, и без остатка... Так? Правильно?

— Спи, Володя, — сказал Вадим Афанасьевич.

— А я уже сплю, — сказал Володя и тут же захрапел.

Вадим Афанасьевич долго еще лежал с открытыми глазами, смотрел на сполохи, озаряющие мирные поля, думал о храпящем рядом друге, о его откровениях, вспоминал о своей любимой (что греха таить, и он порой вскакивал среди ночи в холодном поту) работе, заглушавшей подобные мысли, думал о Глебе и Ирине Валентиновне, о Степаниде

Ефимовне и старике Моченкине, о пилоте Ване Кулаченко, о терпеливом старичке, о папе и маме, о всемирно знаменитом викарии, прыгающем по разным странам, ошеломляющем интеллектуальную элиту каждый раз новыми сногшибательными то католическими, то буддийскими, то дионистическими концепциями и возвращающемся всякий раз в кантон Гельвецию, чтобы подготовить очередную интеллектуальную бурю — что-то он готовит сейчас блаженной, бесштанной, ничего не подозревающей Хали галии?

С этими мыслями, с этим беспокойством Вадим Афанасьевич и уснул.

\*

В отдалении на полынном холме, словно царица Восточного Гиндукуша, почивала под матросским бушлатом Ирина Валентиновна. Весь мир лежал у ее ног, и в этом мире бегал по кустам ее верный Глеб, шугал козу Романтику.

Она гугукала в кустах, шурша, юлила в кюветах, выпью выла из ближнего болота, и Глеб вконец измучился, когда вдруг все затихло, замерло; на землю лег обманчивый покой, и Глеб напряжился, ожидая нового подвоха.

И точно... вскоре послышалось тихое жужжание и по дороге силуэтами на прозрачных колесах медленно проехали турусы.

Вот вам пожалуйста — расскажешь, не поверят. Глеб сиганул через кювет, напрягся, приготовился к активному сопротивлению. И точно — турусы возвращались. Описав кольцо вокруг полынного холма, вокруг безмятежно спящей царицы Восточного Гиндукуша, они медленно катили прямо на Глеба, четверо турусов — молчаливые ночные соглядатаи.

В дрожащем свете сполоха мелькнул перед моряком облик жоака — детский чистый лоб, настырные глазенки и широченные, прямо скажем, атлетические плечи.

Почти не раздумывая, с жутким степным криком Глеб бросился вперед. Что-то тут разыгралось, что-то замелькало, что-то завершало... в результате военный моряк поймал всех четырех.

— Ха, — сказал Глеб и подумал совершенно отчетливо: «Вот ведь расскажешь, не поверят».

Он тряхнул турусов — они были гладкие.

— Ну, — сказал он великодушно, — можно сказать, влопались, товарищи турусы на колесах?

— Отпусти нас, дяденька Глеб, — пискнул кто-то из турусов.

Глеб от удивления тут же всех отпустил и еще больше удивился: перед ним стояли четверо школьников из родного райцентра.

— Это еще что такое? — растерялся молодой моряк.

— Велопробег «Знаешь ли ты свой край», — глухим дрожащим басом ответил один из школьников.

— Дяденька Глеб, да вы нас знаете, — запищал другой, — я Коля Тютюшкин, это Федя Жилкин, это Юра Мамочкин, а это Боря Курочкин. Он нас всех и подбил. Прибежал, как чумной, организовал географический кружок. Знаешь ли ты, говорит, свой край? Вперед, говорит, в погоню за этой...

— За кем, за кем в погоню? — вкрадчиво спросил Глеб и на всякий случай взял Борю Курочкина за удивительно плотную руку.

— За романтикой, не знаете, что ли, — буркнул удивительный семиклассник и показал свободной рукой куда-то вдаль.

Очередной сполох озарил пространство, и Глеб увидел пляшущую вдали полнотелую Романтику на дамском велосипеде.

— Это — дело хорошее, ребята, — повеселев, сказал он. — Хорошее и полезное. Пусть сопутствует вам счастье трудных дорог.

И тут он окончательно отпустил школьников и совершенно спокойный, в преотличнейшем настроении поднялся на полынный холм к своей царице.

### Третий сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой

Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. Вечно! Ой, Глеб, пол такой скользкий! Ой, Глеб, где же ты? Ирочка, познакомьтесь, — это мой друг, преподаватель физики Генрих Анатольевич Допекайло.

Генрих Анатольевич, совсем еще не старый, скользя на сатирических копытцах, подлетал в вихре вальса — узнаете, Селезнева?

На одном плече у него катод, на другом — анод. Ну, как это понять моей бедной головушке?

С какой стати, скажите, любезная бабушка, квадрат катетов гипотенузы равен региональной конференции аграрных стран в системе атомного пула? Еще один мчится, набирая скорость, — чемпион мира Диего Моментальный, в руках букет экзаменационных билетов. Ах да, мое соло!

В пятнадцатом билетике пятерка и любовь, в шестнадцатом билетике расквасишь носик в кровь, в семнадцатом билетике копченой кильки хвост, а в этом вот билетике вопрос совсем не прост.

Кругом вальсировали чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждали юрисконсульта из облсобеса — он должен был подвести черту.

И вот влетел, раскинув руки, скользя в пружинистом наклоне, огненно-рыжий старичок. Все расступились, и старичок, сужая круги, рывкнул:

— Подготовили заявление об увольнении с сохранением содержания?

Повсюду был лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом, и только где-то в необозримой дали шел по королевским мокрым лугам Хороший Человек. Шел он, сморкаясь и кашляя, а за ним на цепочке плелись мраморные львята мал мала меньше.

### Третий сон военного моряка Шустикова Глеба

Утром обратил внимание на некоторое отставание мускулюс дельтоидеус. Немедленно принял меры. Итак, стою возле койки — даю нагрузку мускулюс дельтоидеус. Ребята занимаются кто чем, каждый своим делом — кто трицепсом, кто бицепсом, кто квадрицепсом. Сева Антонов мускулюс глютееус качает — его можно понять.

Входит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович. Вольно! Вольно! Сегодня манная каша, финальное соревнование по перетягиванию канатов с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот.

А пончики будут, товарищ мичман? Смирно! И вот схватились. Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть.

В результате невероятный случай в истории флота со времен ботика Петра — ничья! Канат лопнул. Все довольны.

Я лично доволен и в полном параде при всех значках гуляю по тенистым аллеям. Подходит неуловимо знакомый подводник.

— Послушай, друг, есть предложение познакомиться.

— Мы, кажется, немного знакомы.

— А я думал, не узнали, — улыбается подводник.

— Телескопов Володя?

— Холодно, холодно, — улыбается он.

— Дрожжинин, что ли? — спрашиваю я.

— Тепло, тепло, — смеется он. Пристально вглядываюсь.

— Иринка, ты?

— Почти угадали, но не совсем. Моя фамилия — Сцевола.

— А, это вы? — воскликнул я. — Однакэ ручки-то у вас обе целы. Выходит — миф, треп, легенда?

— Обижает, — говорит Сцевола. — Подумаешь, большое дело — ручку сжечь.

Тут же Сцевола чиркает зажигалкой, и фланелка на рукаве начинает пылать.

Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее.

— Але, Глеб, делай, кек я!

Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за Сцеволой. Рука над головой трещит. Горит хорошо.

Сцевола ныряет в черный туннельчик. Я — за ним. Кромешная мгла, лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Воют.

Выбегаю из туннеля — чисто, тихо, пустынно.

По радио неуловимо знакомый голос:

— Готов ли ты посвятить себя науке, молодой, красивый Глеб, отдать ей себя до конца, без остатка?

Гляжу — лежит Наука, жалобно поскрипывает, побряхтывает, тоненьким, нежным и нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетчатыми одеялами.

Ору:

— Готов!

Нате вам, пожалуйста, — из комнаты смеха выходит Лженаука огромного роста. Напоминает какую-то Хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой — консервы рыбные и бутылка «Горного дубняка». Знаем мы эту политику!

Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе, обращаюсь по-заграничному:

— Разрешите прикурить?

Лженаука пялит бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень — в надкостницу! Тут же — прямой удар в нос — ослепить! Двумя крюками добиваю расползающегося колосса. Лженаука испаряется.

Хлынул тропический ливень — ядовитый. Кашляю и сморкаюсь. Гаснет моя рука. Бегу по комнате смеха — во всех зеркалах красивый, но мокрый. Абсолютно не смешно. Пробиваю фанерную стенку и вижу...

...за лугами, за морями, за синими горами встает солнце, и прямо от солнышка идет ко мне любимая в шелковой полумаске. Идет по росе Хороший Человек.

### Третий сон Владимира Телескопова

Бывают в жизни огорченья — вместо хлеба ешь печенье. Я слышал где-то краем уха, что едет Ваня Попельнуха. Придет без всяких выкрутасов наездник-мастер Эс Тарасов.

Глаза бы мои на проклятый ипподром не смотрели, однако смотрят. Тащусь, позорник, в восьмидесятикопеечную кассу. Вхожу в залу — и почему это так тихо? Тихо, как в пустой церкви. И что характерно, все, толкаясь, смотрят на входящего Володю Телескопова. И я тоже смотрю на него, будто в зеркало, что характерно.

Что характерно, идет Володя в пустоте весь белый, как с похмелья. И что характерно, он идет прямо к Андрюше.

Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже белый, как чайник.

— Андрюша, есть вариант от Ботаники и Будь-Быстрой. Входишь полтинником?

Андрюша-смурныга пугливо озирается и, что характерно, шевелит губами.

— Чего-о?

— Ты думаешь, Володя, мы на них ставим? Они, кобылы, ставят на нас.

Включили звук. Аплодисменты. Хохот. Заиграл оркестр сорок шестого отделения милиции.

Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже бью копытом, похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на круг. Настроение отличное — надо осваивать новую специальность.

У меня наездник симпатичный кирюха. У Андрюши — маленький, как сверчок, серенький и, что характерно, в очках — видно, из духовенства. Гонг, пошли, щелкнула резина.

Идем голова в голову. Промелькнула родная конюшня, где когда-то в жеребьячем возрасте читал хрестоматию. Вот моя конюшня, вот мой дом родной, вот качу я санки с пшенной кашей. От столба к столбу идем голова в голову. Андрюша весь в мыле, веселый.

А трибуны приближаются, все белые, трепещут. Эге, да там сплошь ангелы. Хлопают крыльями, свистят.

Финиш, гонг, а мы с Андрюшей ждем дальше. Наездники попадали, а мы чешем — улюлю!

Видим, под тюльпаном Серафима Игнатьевна с Сильвией пьют чай и кушают тефтель.

— Присоединяйтесь, ребяташки!

Очень хочется присоединиться, но невозможно. Бежим по болоту, ноги вязнут. Впереди вспучилось, завоняло — всплыла огромная Химия, разевает беззубый рот, хлопает рыжими глазами, приглашает вислыми ушами.

Оседлал Андрюшу — проскочили.

Бежим по рельсам. Позади стук, свист, жаркое дыхание — Физика догоняет. Андрюша седлает меня — уходим.

Устали — аж кровь из носа. Ложимся — берите нас, тепленьких, сопротивление окончено.

Вокруг травка, кузнецы стригут, пахнет ромашкой. Андрюша поднял шнобель — эге, говорит, посмотри, Володька!

Гляжу — идет по росе Хороший Человек, шеф-повар с двумя тарелками ухи из частика. И с пивом.

### Третий сон Вадима Афанасьевича

На нейтральной почве сошлись для решения кардинальных вопросов три рыцаря — скотопромышленник Сиракузерс из Аргентины, ученый викарий из кантона Гельветии и Вадим Афанасьевич Дрожжинин с Арбата.

На нейтральной почве росли синие и золотые надежды и чаяния. В середине стоял треугольный стол. На столе бутылка «Горного дубняка», бычки в томате. Вместо скатерти карта Халигалии.

— Что касается меня, — говорит Сиракузерс, — то я от своих привычек не отступлюсь — всегда я наводнял слаборазвитые страны и сейчас наводню.

— Вы опираетесь на Хунту, сеньор Сиракузерс, — дрожащим от возмущения голосом говорю я.

Сиракузерс захрюкал, захихикал, закрутил бычьей шеей в притворном смущении.

— Есть грех, иной раз опираюсь.

Аббат, падла такая позорная, тоже скабрезно улыбнулся.

— Ну, а вы-то, вы, ученый человек, — обращаюсь я к нему, — что вы готовите моей стране? Знаете ли вы, сколько там вчера родилось детей и как окрестили младенцев?

Проклятый расстрига тут же читает по бумажке.

— Девять особ мужского рода, семь женского. Девочки все без исключения наречены Азалиями, пять мальчиков Диего, четверо Вадимами в вашу честь. Как видите, Диего вырвался вперед.

Задыхаюсь!

Задыхаюсь от ярости, клоочу от тоски.

— Но вам-то какое до этого дело? Ведь вам же на это плевать!

Он улыбается.

— Совершенно верно. Друг мой, вы опоздали. Скоро Халигалия проснется от спячки, она станет эпицентром новой интеллектуальной бури. Рождается на свет новый философский феномен — халига литет.

— В собственном соку или со специями? — деловито поинтересовался Сиракузерс.

— Со специями, коллега, со специями, — хихикнул викарий.

Я встаю.

— Шкуры! Позорники! Да я вас сейчас понесу одной левой!

Оба вскочили — в руках финки.

— Ко мне! На помощь! Володя! Глеб Иванович! Дедушка Моченкин!

Была тишина. Нейтральная почва, покачиваясь, неслась в океане народных слез.

— Каждому своя Халигалия, а мне моя! — завизжал викарий и рубанул финкой по карте.

— А мне моя! — взревел Сиракузерс и тоже махнул ножом.

— А где же моя?! — закричал Вадим Афанасьевич.

— А ваша, вон она, извольте полюбоваться.

Я посмотрел и увидел свою дорогую, плывущую по тихой лазурной воде. Мягко отсвечивали на солнце ее коричневые щечки. Она плыла, тихонько поскрипывая, напевая что-то неясное и нежное, накрытая моим шотландским пледом, ватником Володи, носовым платком старика Моченкина.

— Это действительно моя Халигалия! — прошептал я. — Другой мне и не надо!

Бросаюсь, плыву. Не оглядываясь, вижу: Сиракузерс с викарием хлещут «Горный дубняк». Подплываю к своей любимой, целую в щеки, беру на буксир.

Плывем долго, тихо поем.

Наконец, видим: идет навстречу Хороший Человек, квалифицированный бондарь с новыми обручами.

### Третий сон старика Моченкина

И вот увидел он свою Характеристику. Шла она посередине поля, вопила низким голосом: — ...в-труде-прилежен-в-быту-морален... А мы с Фёфёловым Андроном Лукичем приятельски гуляем, шупаем колосья.

— Ты мне, брат Иван Александрович, представь свою Характеристику, — мигает правым глазом Андрон Лукич, — а я тебе^ за это узюму выпишу шашнадцать кило.

— А вот она, моя Характеристика, Андрон Лукич, извольте познакомиться.

Фёфёлов строгим глазом смотрит на подходящую, а я весь дрожу — ой, не пондравится!

— Это вот и есть твоя Характеристика?

— Она и есть, Андрон Лукич. Не обессудьте.

— Нда-а...

Хоть бы губы подмазала, проклятушая, уж не говорю про перманенту. Идет, подолом метет, душу раздирает:

— ...политически-грамотен-с-казенным - имущест вом-щцапетилен...

— Нда, Иван Александрович, признаться, я разочарован. Я думал, твоя Характеристика — девка молодая, ядреная, а эта — как буряк прошлогодний...

— Ой, привередничаете, Андрон Лукич! Ой, недооцениваете...

Говорю это я басом, а сам дрожу ажник, как фитюля одинокая. Узюму хочется.

— Ну, да ладно, — смирился Андрон Лукич, — какая-никакая, а все ж таки баба.

Присел, набычился, рывкнул, да как побежит всем телом на мою Характеристику.

— Ай-я-яй! — закричала Характеристика и наутек, дурь лупоглазая.



Бежит к реке, а за ей Андрон Лукич частит ногами, гудит паровозом — люблю-ю-у-у!  
Ну и я побег — перехвачу глупую бабу!

— Нет! — кричит Характеристика. — Никогда этого не будет! Уж лучше в воду!

И бух с обрыва в речку! Вынырнула, выпучила зенки, взвыла:

— ...с-товарищами-по-работе-принципиален!!! И камнем ко дну.

Стоит Фефёлов Андрон Лукич отвлеченный, перетирает в руке колосик.

— Пшеница ноне удалась, Иван Александрович, а вот с узюмом перебой.

И пошел он от мене гордый и грустный, и, конечно, по-человечески его можно понять, но мне от этого не легче.

И первый раз в жизни горячими слезами заплакал бывший инспектор Моченкин, и кого-то мне стало жалко — то ли себя, то ли узюм, то ли Характеристику.

Куды ж теперь мне деваться, на что надеяться?

Сколько сидел, не знаю... Протер глаза — на той стороне стоит в росной траве Хороший Человек, молодая, ядреная Характеристика.

Сон внештатного лаборанта Степаниды Ефимовны

Ой ли, тетеньки, гусели фильдиперсовые! Ой ли, батеньки, лук репчатый, морква сахарная... Ути, люти, цып-цып-цып... Ой, схватил мене за подол игрец молоденькай, пузатенькай. Ой, за косу ухватил, косу девичью.

— Пусти мне, игрец, на Муравьиную гору!

— Не пушщу!

— Пусти мне, игрец, во Стрекозий лес!

— Не пушщу!

— Да куды ж ты мне тянешь, в какое игралище окаянное?

— Ох, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, совсем вы без понятия! Закручу тебя, бабулька, булька, яйки, млеко, бутербротер, танцем-шманцем огневым, заграмоничным! Будешь пышка молодой, дорогой гроссмугтер! Вуаля!

Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами задрожал сочными, тычет пальцем костяным мне по темечку, щакотит — жизни хочет лишить — ай-тю-тю!

— Окстись, окстись, проклятуший!

Не окщается. Кружит мне по ботве картофельной танцами ненашенскими.

Ой, в лесу мурава пахучая, ох, дурманная... Да куды ж ты мне, куды ж ты мне, куды ж ты мне... бубулички...

Гляжу, у костра засел мой игрец брюнетистый, глаз охальный, пузик красенькай.

— А ну-ка, бабка-красавка-плутовка, вари мне суп! Мой хотел покушать згапне дритте нахтигаль. Вари мне суп, да наваристый!

— Суп?

— Суп!

— Суп?

— Суп!

— Суп?

— Суп!

— А, батеньки! Нахтигаль, мои тятеньки, по-нашему соловушка, а по-ихому, так и будет нахтигаль, да только очарованный. Ой, бреду я, баба грешная, по муравушке, выковыриваю яйца печеные, щавель щиплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаюся, прощеваясь с бочкотарою любезною, с вами, с вами, мои голуби полуночные.

Гутень, фисонь, мотьва купоросная!

А темень-то тьмущая, тятеньки, будто в мире нет электричества! А сзади-то кочет кычет, сыч хрючет, игрец регочет.

И надоть: тут тишина пришла благодатная, гуль-гульная, и лампада над жнивьем повислз масляная. И надоть — вижу: по траве росистой, тятеньки, Блаженный Лыцарь

выступает, научный, вдумчивый, а за ручку он ведет, мои матушки, как дитяню он ведет жука рогатого, возжеланного жука фотофлексируса-батюшку.

Второе письмо Володи Телескопова другу Симе

Многоуважаемая Серафима Игнатьевна, здравствуйте!

Дело прежде всего. Сообщаю Вам, что ваша бочкотара в целости и сохранности, чего и Вам желает.

Сима, помнишь Сочи те дни и ночи священной клятвы вдохновенные слова взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне а я за тобой сильно заскучал хотя рейсом очень доволен вы говорили нам пора расстаться я страшен в гневе.

Перерасхода бензина нету, потому что едем на нуле уж который день, и это конечно новаторский почин, сам удивляюсь.

Возможно вы думаете, Серафима Игнатьевна, что я Вас неправильно информирую, а сам на пятнадцать суток загремел, так это с Вашей стороны большая ошибка.

Бате моему притарань колбасы свиной домашней 1 (один) кг за наличный расчет.

Симка, хочешь честно? Не знаю когда увидимся, потому что едем не куда хотим, а куда бочкотара наша милая хочет. Поняла?

Спасибо тебе за любовь и питание.

Возможно еще не забытый

Телескопов Владимир.

Письмо Владимира Телескопова Сильвии Честертон

Здравствуйте многоуважаемая Сильвия, фамилии не помню.

Слыхал от общих знакомых о Вашем вступлении в организацию «Девичья честь». Горячо Вас поздравляю, а Гутику Роземблюму передайте, что ряшку я ему все ж таки начищу.

Сильвия, помнишь ту волшебную южную ночь, когда мы... Замнем для ясности. Помнишь или нет?

Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю начальником автоколонны. Заработная плата скромная — полторы тыщи, но хватает. Много читаю. Прочел: «Дети капитана Гранта» Жюль Верна, журнал «Знание — сила» № 7 за этот год, «Сборник гималайских сказок», очень интересно.

Сейчас выполняю ответственное задание. Хочешь знать какое? Много будешь знать, скоро состаришься! Впрочем, могу тебе довериться — сопровождаю бочкотару, не знаю как по-вашему, по-халигалийски. Она у меня очень нервная и если бы ты ее знала, Сильвочка, то конечно бы полюбила.

Да здравствует дружба молодежи всех стран и оттенков кожи. Регулярно сообщай о своих успехах в учебе и спорте. Что читаешь?

Твой, может быть, помнишь, Володя Телескопов (Спутник).

\*

Оба эти письма Володя отслонявил карандашом на разорванной пачке «Беломора», Симе — на карте, Сильвии — на изнанке. В пыльном луче солнца сидел он, грустно хлюпя носом, на деревянной скамейке, изрезанной неприличными выражениями, в камере предварительного заключения Гусятинского отделения милиции. А дело было так...

Однажды они прибыли в городок Гусятин, где на бугре перед старинным гостиним двором стоял величественный аттракцион «Полет в неведомое».

Володя остановил грузовик возле аттракциона и предложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопытном городе Гусятине.

Все охотно согласились и вылезли из ячеек. Каждый занялся своим делом. Старик Моченкин пошел в местную поликлинику сдавать желудочный сок, поскольку справочка во ВТЭК об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного поштудировать литературу, слегка повысить уровень, вырасти над собой. Что касается Степаниды Ефимовны, то она, увидев на заборе возле клуба афишу кинокартины «Бэла» и на этой афише Печорина, ахнула от нестерпимого любопытства и немедленно купила себе билет. Что-то неуловимо знакомое, близкое почудилось ей в облике розовощекого молодого офицера с маленькими усиками. Володя же Телескопов не отрывал взгляда от диковинного аттракциона, похожего на гигантскую зловещую скульптуру поп-арта.

— Вздик! Ну ты! Ну, дали! Во, это штука! Айда кататься!

— Ах, что ты, Володя, — поморщился Вадим Афанасьевич, — совсем я не хочу кататься на этом агрегате.

— Или ты мне друг, или я тебе портянка. Кататься — кровь из носа, красился последний вечер! — заорал Володька.

Вадим Афанасьевич обреченно вздохнул.

— Откуда у тебя, Володя, такой инфантилизм?

— Да что ты, Вадик, никакого инфантилизма, клянусь честью! — Володя приложил руку к груди, выпучился на Вадима Афанасьевича, дыхнул. — Видишь? Ни в одном глазу. Клянусь честью, не взял ни грамма! Веришь или нет? Друг ты мне или нет?

Вадим Афанасьевич махнул рукой.

— Ну, хорошо-хорошо...

Они подошли к подножию аттракциона, ржавые стальные ноги которого поднимались из зарослей крапивы, лебеды и лопухов — видно, не так уж часто наслаждались гусятинцы «Полетом в неведомое». Разбудили какого-то охламона, спавшего под кустом бузины.

— Включай машину, дитя природы! — приказал ему Володя.

— Току нет и не будет, — привычно ответил охламон.

Вадим Афанасьевич облегченно вздохнул. Володя сверкнул гневными очами, закусил губу, рванул на себя рубильник. Аттракцион неохотно заскрипел, медленно задвигалось какое-то колесо.

— Чудеса! — вяло удивился охламон. — Сроду в ем току не было, а сейчас скрипит. Пожалте, граждане, занимайте места согласно купленным билетам. Пятак — три круга.

Друзья уселись в кабины. Охламон нажал какие-то кнопки и отбежал от аттракциона на безопасное расстояние. Начались взрывы. На выжженной солнцем площади Гусятина собралось десятка два любопытных жителей, пять-шесть бродячих коз.

Наконец — метнуло, прижало, оглушило, медленно, с большим размахом стало раскручивать.

Вадим Афанасьевич со сжатыми зубами, готовый ко всему, плыл над гусятинскими домами, над гостиним двором. Где-то, счастливо гогоча, плыл по пересекающейся орбите Володя Телескопов, изредка попадал в поле зрения.

Круги становились все быстрее, мелькали звезды и планеты — пышнотелая потрескавшаяся Венера, синеносый мужлан Марс, Сатурн с кольцом и другие, безымянные, хвостатые, уродливые.

— Остановите машину! — крикнул Вадим Афанасьевич, чувствуя головокружение. — Хватит! Мы не дети!

Площадь была пуста. Любопытные уже разошлись. Охламона тоже не было видно. Лишь одинокая коза пялилась еще на гудящий, скрежещущий аттракцион да неподалеку на скамеечке два крепкотелых гражданина, выставив зады, играли в шахматы.

— Как ходишь, дуре? — орал, проносясь над шахматистами, Володя. — Бей слоном е-восемь! Играть не умеешь!

— Володя, мне скучно! — крикнул Вадим Афанасьевич. — Где этот служитель? Пусть остановит.

— Что ты, Вадик! — завопил Володька. — Я ему пятерку дал! Он сейчас в чайной сидит!

Вадим Афанасьевич потерял сознание и так, без сознания, прямой, бледный, с трубкой в зубах, кружил над сонным Гусятином.

Вечерело. Солнце, долго висевшее над колокольней, наконец, ухнуло за реку. Оживились улицы. Прошло стадо. Протарахтели мотоциклы.

Возвращались в город усталые Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной. Так и не нашли они за весь день Гусятинской библиотеки-читальни.

Старик Моченкин шумел в гусятинской поликлинике.

— Вашему желудочному соку верить нельзя! — кричал он, потрясая бланком, на котором вместо прежних ужасающих данных теперь стояла лишь скучная «норма».

Степанида Ефимовна по третьему разу смотрела кинскартину «Бэла», вглядывалась в румяное лицо, в игривые глазки молодого офицера, шептала:

— Нет, не тот. Федот, да не тот. Ой, не тот, батюшки!

Вадим Афанасьевич очнулся. Над ним кружили звезды, уже не гусятинские, а настоящие.

«Как это похоже на обыкновенное звездное небо! — подумал Вадим Афанасьевич. — Я всегда думал, что за той страшной гранью все будет совсем иначе, никаких звезд и ничего, что было, однако вот — звезды, и вот, однако, — трубка».

В звездном небе над Вадимом Афанасьевичем пронеслось что-то дикое, косматое, гаркнуло:

— Вадик, накатался.

Встрепенувшись, Вадим Афанасьевич увидел уносящегося по орбите Телескопова. Володя стоял в своей кабине, размахивая знакомой бутылкой с размочалившейся затычкой.

«Или я снова здесь, или он уже там, то есть здесь, а я не там, а здесь, в смысле там, а мы вдвоем там в смысле здесь, а не там, то есть не здесь», — сложно подумал Вадим Афанасьевич и догадался наконец глянуть вниз.

Неподалеку от стальной ноги аттракциона он увидел грузовичок, а в нем любезную свою, слегка обиженную, удрученную странным одиночеством бочкотару.

«Ура! — подумал Вадим Афанасьевич. — Раз она здесь, значит, и я здесь, а не там, то есть... ну, да ладно», — и сердце его сжалось от обыкновенного земного волнения.

— Вадим, накатался? — неожиданно снизу заорал Телескопов. — Айда в шахматы играть! Эй, вырубай мотор, дитя природы!

Охламон, теперь уж в строгом вечернем костюме, причесанный на косой пробор, стоял внизу. — Сбросьте рублики, еще покатаю! — крикнул он.

— Слышишь, Вадим? — крикнул Володька. — Какие будут предложения?

— Пожалуй, на сегодня хватит! — собрав все силы, крикнул Вадим Афанасьевич.

Аттракцион, испустив чудовищный, скрежещущий вой, подобный смертному крику последнего на земле ящера, остановился, теперь уже навсегда.

Вадим Афанасьевич, прижатый к полу кабины, снова потерял сознание, но на этот раз ненадолго. Очнувшись, он вышел из аттракциона, почистился, закурил трубочку, закинул голову...

о, весна без конца и без края, без конца и без края мечта...

а ведь, если бы не было всего этого ужаса, этого страшного аттракциона, я не ощутил бы вновь с такой остротой прелесть жизни, ее вечную весну...

и зашагал к грузовику. Бочкотара, когда он подошел и положил ей руку на бочок, взволнованно закурлыкала.

Володя Телескопов тем временем на косых ногах направился к шахматистам, которых набралось на лавочке не менее десятка.

— Фишеры! — кричал он. — Петросяны! Тиграны! Играть не умеете! В миттельшпиле ни бум-бум, в эндшпиле, как куры в навозе! Я сверху-то все видел! Не имеете права в мудрую игру играть!

Он пошел вдоль лавки, смахивая фигуры в пыль.

Шахматисты вскакивали и махали руками, апеллируя к старшему, хитроватому плотному мужчине в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе, из-под которой свисала газета «Известия», защищая затылок и шею от солнца, мух и прочих вредных влияний.

— Виктор Ильич, что же это получается?! — кричали шахматисты. — Приходят, сбрасывают фигуры, оскорбляют именами, что прикажете делать?

— Надо подчиниться, — негромко сказал шахматистам мужчина в пижаме и жестом пригласил Володю к доске.

— Эге, дядя, ты, видать, сыграть со мной хочешь! — захохотал Володя.

— Не ошиблись, молодой человек, — проговорил человек в пижаме, и в голосе его отдаленно прозвучали интонации человека не простого, а власть имущего.

Володя при всей своей малохольности интонацию эту знекомую все-таки уловил, что-то у него внутри екнуло, но, храбрясь и петушась, а главное, твердо веря в свой недюжинный шахматный талант (ведь сколько четвертинок было выиграно при помощи древней мудрой игры!), он сказал, садясь к доске:

— Десять ходов даю вам, дорогой товарищ, а на большее ты не рассчитывай.

И двинул вперед заветную пешечку.

Пижаме, подперев голову руками, погрузилась в важное раздумье. Кружок шахматистов, вихляясь, как чуткий подхалимский организм, захихикал.

— Ужо ему жгентелем... Виктор Ильич... по мордасам, по мордасам... Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом дуплетом вашим отхлобыстать...

В Гусятине, надо сказать, была своя особая шахматная теория.

— Геть отсюда, мелкота! — рявкнул Володя на болельщиков. — Отвались, когда мастера играют.

— Хулиганье какое — играть не дают нам с вами! — сказал он пижаме.

Он тоже подхалимничал перед Виктором Ильичом, чувствуя, что попал в какую-то нехорошую историю, однако соблазн был выше его сил, превыше всякой осторожности, и невинными пальцами, мирно посвистывая, Володя соорудил Виктору Ильичу так называемый «детский мат».

Он поднял уже ферзя для завершающего удара, как вдруг заметил на мясистой лапе Виктора Ильича синюю татуировку СИМА ПОМ...

Конец надписи был скрыт пижамным рукавом.

«Сима! Так какая же еще Сима, если не моя? Да неужто это рыло, нос пуговицей, Серафиму мою лобзал? Да, может, это Бородкин Виктор Ильич? Да ух!» — керосинной, мазутной, нефтяной горючей ревностью обожгло Володькины внутренности.

— Мат тебе, дядя! — рявкнул он и выпучился на противника, приблизив к нему горячее лицо.

Виктор Ильич, тяжело ворочая мозгами, оценивал ситуацию — куда ж подать короля, подать было некуда. Хорошо бы съесть королеву, да нечем. В раму взять? Жгентелем протянуть? Не выйдет. Нету достаточных оснований.

И вдруг он увидел на руке обидчика, на худосочной заурядной руке синие буквы СИМА ПОМНИ ДРУ... остальное скрывалось чуть ли не под мышкой.

«Серафима, неужели с этим недоноском ты забыла обо мне? Да, может, это и есть тот самый Телескопов, обидчик, обидчик шахматистов всех времен и народов, блуждающий хулиган, текучая рабочая сила?» — Виктор Ильич выгнул шею, носик его запылал, как стоп-сигнал милицейской машины.

— Телескопов? — с напором спросил он.

— Бородкин? — с таким же напором спросил Володя.

— Пройдемте, — сказал Бородкин и встал.

— А вы не при исполнении, — захохотал Володя, — а во-вторых, вам мат, и в-третьих, вы в пижаме.

— Мат?

— Мат!

— Мат?

— Мат!

— А вы уверены?

Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток, залился красочными, вдохновенными руладами, в которых трепетала вся его оскорбленная душа.

«Бежать, бежать», — думал Володя, но никак не мог сдвинуться с места, тоже свистал в два пальца. Важно ему было сказать последнее слово в споре с Виктором Ильичом, нужна была моральная победа.

Дождался — вырос из-под земли старший брат младший лейтенант Бородкин в полной форме и при исполнении.

— Жгентелем его, жгентелем, товарищи Бородкины! — радостно заблеяли болельщики. — В раму его посадить и двойным дуплетом...

Видимо, сейчас они вкладывали в эти шахматные термины уже какой-то другой смысл.

Вот так Володя Телескопов попал на ночь глядя в неволю. Провели его под белы руки мимо потрясенного Вадима Афанасьевича, мимо вскрикнувшей болезненно бочкотары, посадили в КПЗ, принесли горохового супа, борща, лапши, паровых битков, тушеной гусятины, киселю; замкнули.

Всю ночь Володя кушал, курил, пел, вспоминал подробности жизни, плакал горячими слезами, сморкался, негодовал, к утру начал писать письма.

Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины. Младший брат листал Уголовный кодекс, выискивал для Володи самые страшные статьи и наказания. Старший, у которого душевные раны, связанные с Серафимой Игнатьевной, за давностью лет уже затянулись, смягчал горячего брата, предлагал административное решение.

— Поброем его, Витек, под нуль, дадим метлу на пятнадцать суток, авось, Симка поймет, на кого тебя променяла.

При этих словах старшего брата отбросил Виктор Ильич Уголовный кодекс, упал ничком на оттоманку, горько зарыдал.

— Хотел забыться, — горячо бормотал он, — уехал, погрузился в шахматы, не вспоминал... появляется этот недоносок, укравший... Сима... любовь... моя... — скрежетал зубами.

Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины попутчики и друзья? Никто из них не сомкнул глаз. Всю ночь обсуждались различные варианты спасения.

Ирина Валентиновна, с гордо закинутой головой, с развевающимися волосами, изъявила готовность лично поговорить о Володе с братьями Бородкиными, лично, непосредственно, тет-а-тет, шерше ля фам. В последние дни она твердо поверила, наконец, в силу и власть своей красоты.

— Нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами, — категорически пресек ее благородный порыв Шустиков Глеб, — поговорю с ними в частном порядке, и делу конец.

— Нет-нет, друзья! — пылко воскликнул Вадим Афанасьевич. — Я подам в гусятинский нарсуд официальное заявление. Я уверен... мы... наше учреждение... вся общественность... возьмем Володю на поруки. Если понадобится, я усыновлю его!

С этими словами Вадим Афанасьевич закашлялся, затянулся трубочкой, выпустил дымовую завесу, чтобы скрыть за ней свои увлажнившиеся глаза.

Степанида Ефимовна полночи металась в растерянности по площади, ловила мотыльков, причитала, потом побежала к гусятинской товарке, лаборанту Ленинградского научного института, принесла от нее черного петуха, разложила карты, принялась гадать,

ахая и слезясь; временами развязывала мешок, пританцовывая, показывала черного петуха молодой луне, что-то бормотала.

Старик Моченкин всю ночь писал на Володю Теле скопова положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно. Хочешь написать «политически грамотен», а рука сама пишет «безграмотен». Хочешь написать «морален», а рука пишет «аморален».

И всю-то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой любезная их бочкотара.

Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородин со связкой ключей и старший сержант Бородин с томиком Уголовного кодекса под мышкой.

Володя к этому времени закончил переписку с подругами сердца и теперь пел драматическим тенорком:

Этап на Север, срока огромные...  
Кого ни спросишь, у всех указ,  
Взгляни, взгляни в лицо мое суровое,  
Взгляни, быть может, в последний раз!

Степанида Ефимовна перекрестилась. Ирина Валентиновна с глубоким вздохом сжала руку Глеба.

— Глеб, это похоже на арию Каварадосси. Милый, освободи нашего дорогого Володю, ведь это благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали друг друга!

Глеб шагнул вперед.

— Але, друзья, кончайте этот цирк. Володя — парень, конечно, несобранный, но, в общем, свой, здоровый, участник великих строек, а выпить может каждый, это для вас не секрет.

— Больно умные стали, — пробормотал старший сержант.

— А вы кто будете, гражданин? — спросил младший лейтенант. — Родственники задержанного или сослуживцы?

— Мы представители общественности. Вот мои документы.

Братья Бородины с еле скрытым удивлением осмотрели сухопарого джентльмена, почти что иностранца по внешнему виду, и с не меньшим удивлением ознакомились с целым ворохом голубых и красных предъявленных книжечек.

— Больно умные стали, — повторил Бородин-младший.

Вперед выскочил старик Моченкин, хищно оскалился, задрожал пестрядиновой татью, направил на братьев Бородиных костяной перст, завизжал:

— А вы еще ответите за превышение прерогатив, полномочий, за семейственность отношений и родственные связи!

Братья Бородины немного перепугались, но виду, конечно, не подали под защитой всеми уважаемых мундиров.

— Больно умные стали! — испуганно рявкнул Бородин-младший.

— Гутень, фисонь, мотьва купоросная! — гугукнула Степанида Ефимовна и показала вдруг братьям черного петуха, главного, по ее мнению, Володиного спасителя.

Выступила вперед вся в Блеске своих незабываемых сокровищ Ирина Валентиновна Селезнева.

— Послушайте, товарищи, давайте говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчины...

Младший Бородин выронил Уголовный кодекс. Старший, крепко крикнув, взял себя в руки.

— Вы, гражданка, очень точно заметили насчет серьезности ситуации. Задержанный в нетрезвом виде Телескопов Владимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего

парка культуры. Что это такое, спрашивается? Отвечаете\*: по меньшей мере злостное хулиганство. Некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на Телескопова, а чем это для него пахнет? Но - мы, товарищ-очень-красивая-гражданка-к-сожалению-не-знаю-как-величать- в- на дежде-на-будущее-с-голубыми-глазами, мы не звери, а гуманисты и дадим Телескопову административную меру воздействия. Пятнадцать суток метлой помашет и будет на свободе.

Младший лейтенант объяснил это лично, персонально Ирине Валентиновне, приблизившись к ней и округляя глаза, и она, польщенная рокотанием его голоса, важно выслушала его своей золотистой головкой, но когда Бородкин кончил, за решеткой возникло бледное, как у графа Монтекристо, лицо Володи.

— Погиб я, братцы, погиб! — взвыл Володя. — Ничего для меня нет страшнее пятнадцати суток! Лучше уж срок лепите, чем пятнадцать суток! Разлюбит меня Симка, если на пятнадцать суток загремлю, а Симка, братцы, последний остров в моей жизни!

После этого вопля души на крыльце КПЗ и вокруг возникло странное, томящее душу молчание.

Младший Бородкин, отвернувшись, жевал губами, в гордой обиде задира подбородок.

Старший, поглядывая на брата, растерянно крутил на пальце ключи.

— А что же будет с бочкотарой?! — крикнул Володя. — Она-то в чем виноватая?

Тут словно лопнула струна, и звук, таинственный и прекрасный, печальным лебедем тихо поплыл в небеса.

— Мочи нет! — воскликнул младший Бородкин, прижимая к груди Уголовный кодекс. — Дышать не могу! Тяжко!

— Что это за бочкотара? Какая она? Где? — заволновался Бородкин-старший.

Вадим Афанасьевич молча снял брезент. Братья Бородкины увидели потускневшую, печальную бочкотару, изборожденную горькими морщинами.

Младший Бородкин с остановившимся взглядом, с похолодевшим лицом медленно пошел к ней.

— Штраф, — сказал старший Бородкин дрожащим голосом. — Пятнадцать суток заменяем на штраф. Штраф тридцать рублей, вернее, пять.

— Ура! — воскликнула Ирина Валентиновна и, взлетев на крыльцо, поцеловала Бородкина-старшего прямо в губы. — Пять рублей — какая ерунда по сравнению с любовью!

— Ура! — воскликнул старик Моченкин и подбросил вверх заветный свой пятиалтынный.

— Шапка по кругу! — гаркнул Глеб, вытягивая из тугих клешей последнюю трешку, припасенную на леденцы для штурмовой группы.

— А яйцами можно, милоч? — пискнула Степанида Ефимовна.

Бородкин-старший после Иринино поцелуя рыхло, с завалами плыл по крыльцу, словно боксер в состоянии «гроги».

— Никакого штрафа, брат, не будет, — сказал, глядя прямо перед собой в темные и теплые глубины бочкотары, Бородкин-младший Виктор Ильич. — Разве же Володя виноват, что его полюбила Серафима? Это я виноват, что гонор свой хотел на нем сорвать, и за это, если можете, простите мне, товарищи.

Солнечные зайчики запрыгали по щечкам бочкотары, морщины разгладились, веселая и ладная балалаечная музыка пронеслась по небесам.

Бородкин-старший поймал старика Моченкина и поцеловал его прямо в чесночные губы.

Глеб облобызался со Степанидой Ефимовной, Вадим Афанасьевич трижды (по-братски) с Ириной Валентиновной. Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь, влез на колесо и поцеловал теплую щеку бочкотары.



Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильвию Честертон и все человечество.

\*

И вот они поехали дальше мимо благодатных полей, а следом за ними шли косые дожди, и солнце поворачивалось, как глазом теодолита на треноге лучей, а по ночам луна фотографировала их при помощи бесшумных вспышек-сполохов, и тихо кружили близ их ночевок семиклассники-турусы на прозрачных, словно подернутых мыльной пленкой кругах, и серебристо барражировал над ними мечтательный пилот-распылитель, а они мирно ехали дальше в ячейках любезной своей бочкотары, каждый в своей.

Однажды на горизонте появилось странное громоздкое сооружение.

Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение отодвигалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись — перед ними была башня Коряжского вокзала со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны.

Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики и унылые склады Коряжска, и неожиданно мотор, столько дней работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной станцией.

Володя и Вадим Афанасьевич вылезли из кабины.

— Куда ж мы ноне приехали, батеньки? — поинтересовалась умильным голоском Степанида Ефимовна.

— Станция Вылезай, бабка Степанида! — крикнул Володя и дико захохотал, скрывая смущение и душевную тревогу.

— Неужто Коряжск, маменька родима?

— Так точно, мамаша, Коряжск, — сказал Глеб.

— Уже? — с печалью вздохнула Ирина Валентиновна.

— Крути не крути, никуда не денешься, — проскрипел старик Моченкин. — Коряжск, он и есть Коряжск, и отседа нам всем своя дорога.

— Да, друзья, это Коряжск, и скоро, должно быть, придет экспресс, — тихо проговорил Вадим Афанасьевич.

— В девятнадцать семнадцать, — уточнил Глеб.

— Ну, что ж, граждане попутчики, товарищи странники, поздравляю с благополучным завершением нашего путешествия. Извините за компанию. Желаю успеха в труде и в личной жизни. — Володя чесал языком, а сам отвлеченно глядел в сторону, и на душе у него кошки скребли.

Пассажиры вылезли из ячеек, разобрали вещи. Сумрачная башня Коряжского вокзала высилась над ними. На головах гранитных фигур сияли солнечные блюдечки.

Пассажиры не смотрели друг на друга, наступила минута тягостного молчания, минута прощания, и каждый с болью почувствовал, что узы, связывавшие их, становятся все тоньше, тоньше, и вот уже одна только последняя тонкая струна натянулась между ними, и вот...

— А что же будет с ней, Володя? — дрогнувшим голосом спросил Вадим Афанасьевич.

— С кем? — как бы не понимая, спросил Володя.

— С ней, — показал подбородком Вадим Афанасьевич, и все взглянули на бочкотару, которая молчала.

— С бочками-то? А чего ж, сдам их по наряду и кранты. — Володя сплюнул в сторону и...

...и вот струна лопнула, и последний прощальный звук ушел в высоту... ...и Володя заплакал.

Коряжский вокзал оборудован по последнему слову техники — автоматические справки и камеры хранения с личным секретом, одеколонные автоматы, за две копейки выпускающие густую струю ароматного шипра, которую некоторые несознательные транзитники ловят ртом, но главное достижение — электрически-электронные часы, показывающие месяц, день недели, число и точное время.

Итак, значилось: август, • среда, 15, 19.07. Оставалось десять минут до прихода экспресса.

Вадим Афанасьевич, Ирина Валентиновна, Шустиков Глеб, Степанида Ефимовна и старик Моченкин стояли на перроне.

Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь.

Шустиков Глеб трепетал за свою любовь.

Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь.

Степанида Ефимовна трепетала за свою любовь.

Старик Моченкин трепетал за свою любовь.

Под ними лежали вороненые рельсы, а дальше за откосом, в явном разладе с вокзальной автоматикой, кособочились домики Коряжска, а еще дальше розовели поля и густо синел лес, и солнце в перьях висело над лесом, как петух с отрубленной башкой на заборе.

А минуты уходили одна за другой. За рельсами на откосе появился Володька Телескопов с всклокоченной головой, с порванным воротом рубахи.

Он вылез на насыпь, расставил ноги, размазал кулаком слезу по чумазому лицу.

— Товарищи, подумайте, какое безобразие! — закричал он. — Не приняли! Не приняли ее, товарищи!

— Не может быть! — закричал и затопал ногами по бетону Вадим Афанасьевич. — Я не могу в это поверить!

— Не может быть! Как же это так? Почему же не приняли? — закричали мы все.

— Затоварилась, говорят, зацвела желтым цветком, затарилась, говорят, затюрилась! Забраковали, бюрократы проклятые! — высоким, рыдающим голосом кричал Володя.

Из-за пакгауза появилась желтая, с синими усами, с огромными буркалами голова экспресса.

— Да где же она, Володенька? Где ж она? Где?

— В овраге она! В овраге я ее свез! Жить не хочу! Прощайте!

Экспресс со свистом закрыл пространство и встал. Транзитники всех мастей бросились по вагонам. Животным голосом заговорило радио. Запахло романтикой дальних дорог.

Через две минуты тронулся этот знаменитый экспресс «Север — юг», медленно тронулся, пошел мимо нас. Прошли мимо нас окна международного, нейлонного, медного, бархатно-кожаного, ароматного. В одном из окон стоял с сигарой приятный господин в пунцовом жилете. С любопытством, чуть-чуть ехидным, он посмотрел на нас, снял кепи и сделал прощальный салютик.

— Он! — ахнула про себя Степанида Ефимовна. — Он самый! Игрец!

«Боцман Допекайло? А может быть, Сцевола собственной персоной?» — подумал Глеб.

— Это он, обманщик, он, он, Рейнвольф Генрих Анатольевич, — догадалась Ирина Валентиновна.

— Не иначе как Фефёлов Андрон Лукич в загранкомандировку отбыли, туды им и дорога, — хмыкнул старик Моченкин.

— Так вот вы какой, сеньор Сиракузерс, — прошептал Вадим Афанасьевич. — • Прощайте навсегда!

И так исчез из наших глаз загадочный пассажир, подхваченный экспрессом.

Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуществующем пространстве, а мы остались в тишине на жарком и вонючем перроне.

Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж колен, а мы смотрели на него. Володя поднял голову, посмотрел на нас, вытер лицо подолом рубахи.

— Пошли, чтс ли, товарищи, — тихо сказал он, и мы не узнали в нем прежнего бузотера.

— Пошли, — сказали мы и попрыгали с перрона, а один из нас, по имени старик Моченкин, еще успел перед прыжком бросить в почтовый ящик письмо во все инстанции: «Усе мои заявления и доносы прошу вернуть взад».

Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага сквозь заросли «куриной слепоты», папоротника и лопуха, и высокие, вровень с нами лиловые свечи иван-чая покачивались в стеклянных сумерках.

И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песчаным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную, затоваренную бочкотару, и сердца наши дрогнули от вечерней, закатной, манящей, улетающей нежности.

А вот и она увидела нас и закурлыкала, запела что-то свое, засветилась под ранними звездами, потянулась к нам желтыми цветочками, теперь уже огромными, как подсолнухи.

— Ну, что ж, поехали, товарищи, — тихо сказал Володя Телескопов, и мы полезли в ячейки бочкотары, каждый в свою...

### Последний общий сон

Течет по России река. Поверх реки плывет Бочкотара, поет. Пониз реки плывут угри кольчатые, изумрудные, вьюны розовые, рыба камбала переливчатая...

Плывет Бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен.

А в далеких морях на луговом острове ждет Бочкотару в росной траве Хороший Человек, веселый и спокойный.

Он ждет всегда.

### ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОВЕСТИ

#### На пути к Хорошему Человеку

Аксенов написал странную повесть.

До этого он написал несколько странных рассказов — «Маленький Кит — лакировщик действительности», «Победа», «Жаль, что вас не было с нами».

Почитатели «Коллег» и «Звездного билета» огорченно задумались.

Рассказы, внешне как будто традиционные, были написаны «не в форме самой жизни». В Симферополе вдруг появлялся Герострат и поджигал современное здание, поливая его авиационным бензином.

Тихий гроссмейстер из «Победы» вел себя не лучше. Он проигрывал шахматную партию соседу по купе, который едва-едва передвигал фигуры.

Было отчего задуматься. Аксенов нарушал правила игры. На наших глазах менялось направление таланта.

Почти полвека назад литературоведы нашли определение, которым можно, на мой взгляд, передать внутреннее состояние такой литературы — остранение. От слова «странность». I Это значит, что странности жизни (а вряд ли кто будет всерьез отрицать, что жизнь до сих пор еще в каких-то своих сторонах непонята и негармонична) писатель передает особым способом: не напрямую, а по преимуществу через гротеск, сатирическую гиперволу, материализованную метафору.

Нос майора Ковалева — хрестоматийный пример фантастического остранения действительности.

У Достоевского в петербургском пассаже при всем честном народе крокодил съедает чиновника, и тот преспокойно живет у него в брюхе.

Самую суть сатирического гротеска легко почувствовать тому читателю, который обратит основное внимание не на абсурдность прогулок живого носа по улицам Петербурга, а на реакцию живых людей, сталкивающихся с этим фантастическим случаем.

Они в основном ведут себя так, как будто ничего особенного не происходит.

Скушанный чиновник быстро привыкает к новому положению и даже извлекает из него некоторое удовольствие.

Так условный прием помогает писателю резко обнажить противоречия и странности действительности.

Психологическая проза добивается этого другим путем. Она рисует человеческие характеры прежде всего.

Проза остранинная, гротескная ближе к сказке. Глубокая психологическая характеристика образов здесь не всегда обязательна. Достаточно нескольких обозначений, штрихов. Для того чтобы извлечь из такой прозы нравственный и идейный вывод, читателю требуется известная склонность к самостоятельному рассуждению, культура мысли.

Реалистической литературе дороги обе эти традиции. Остраненную прозу писали М. Булгаков, Ю. Олеша, Вс. Иванов.

«Затоваренная бочкотара» открывается эпиграфом, который сразу же вводит читателя в атмосферу игры, небылицы.

«Затоварилась бочкотара, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась. Из газет».

Ни один читатель не поверит автору, будто это сообщение он почерпнул действительно из газет. И будет прав.

Он будет неправ, если подумает, что писатель Аксенов исказил нашу действительность.

Повесть ищет внимательного и чуткого читателя.

Разные, симпатичные и малосимпатичные люди, незнакомые друг с другом, трясутся в грузовике по ухабистым Дорогам. Интеллигент. Шофер. Моряк. Учительница. Склочник. Едут на попутке до райцентра, где должны разойтись, каждый по своим надобностям.

В дороге случаются происшествия. В дороге пассажиры сближаются. В дороге им снятся сны, каждому особенный, свой, но одна деталь в этих фантастических снах всегда общая: Хороший Человек, который ждет каждого из них и всех вместе.

Поэтому, добравшись до райцентра, герои повести не расстаются, а продолжают свой путь.

«Затоваренная бочкотара» — притча о преодолении в человеке низкого, недостойного.

У каждого из нас, даже прелучших и честных, есть огромный резерв нравственного, духовного. В далеких морях, на луговом острове каждого ждет Хороший Человек, веселый и спокойный.

Ежедневно мы или приближаемся, или удаляемся от этого острова.

Такова, думается мне, главная мысль аксеновской повести.

Будучи простой и вечной, мысль эта преподается читателю на языке искусства, далекого от схематизма и дидактики.

Отношение писателя к стилю, слову заставляют вспоминать чуткого драматурга литературной фразы — Михаила Зощенко. Еще ни в одной своей вещи Аксенов не был так щедр на иронию, сатиру, озорной юмор.

Сатира писателя имеет точный прицел. Когда, к примеру, он превращает Романтику то в глухаря, то в козу, то еще в какое-нибудь малопочтенное животное, мы понимаем, что речь идет не о романтике вообще. Писатель смеется над пошлыми и, к сожалению, бытующими представлениями о романтике.

Ветхая, почти одушевленная Бочкотара — важный символический мотив повести. Только общая цель способна привести людей к взаимопониманию.

Могут спросить, ну почему же именно бочкотара? А почему бы и нет? — вправе ответить автор. Ведь правила литературной игры в данном случае таковы, что и бочкотара с персональными ячейками, и сам грузовик, и образ дороги, традиционный для русской литературы, — все это лишь условные представления, за которыми скрываются серьезные раздумья писателя о реальной жизни.

Е. СИДОРОВ

после выступления «юности»

В седьмом номере нашего журнала за прошлый год было опубликовано письмо Виктора Шкловского «Тропа в Старый Крым». Известный писатель выступал в защиту самодельного дома-музея Александра Грина в Старом Крыму, который местное руководство собиралось перенести в Феодосию.

Редакция «Юности» получила много писем в поддержку выступления В. Шкловского. «Дом-музей замечательного писателя-романтика, и которому ежедневно стекаются тысячи молодых почитателей его таланта, должен остаться в Старом Крыму, там, где похоронен Александр Грин», — таково единодушное мнение читателей.

Министерство культуры СССР прислало ответ на письмо В. Шкловского. В нем говорится:

«Рассмотрев вопросы, поставленные в статье В. Шкловского, Министерство культуры СССР считает целесообразным создание музея в домике писателя А. Грина в Старом Крыму. ...Музей А. Грина будет открыт после передачи государству домика и личных вещей писателя.

Заместитель министра культуры СССР И. ЦВЕТКОВ».

Итак, здравомыслие и уважение к памяти Грина победили. Дом-музей остается в Старом Крыму и становится государственным. Решение Министерства культуры СССР наверняка Судет встречено с удовлетворением нашей общественностью.

## К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Элла Черепанова

## ЗЛАТОВАЯТЕЛИ ГРУЗИИ

Гонкий исследователь искусства, замечательный русский художник Павел Чистяков сумел когда-то отлить в афоризм важную для искусства мысль: «Человек держится настоящим, а живет будущим, выходя из прошлого». Одно из доказательств справедливости этой мысли — прекрасная старинная форма грузинского изобразительного искусства — чеканка по металлу.

Несколько веков назад она как будто замерла, исчезла, оставив после себя только памятники да загадки.

В тбилисском музее искусств, в комнате-сейфе, где хранятся золотые и серебряные оклады икон, кресты и другие предметы церковного ритуала, преисполняешься отнюдь не религиозным благоговением, когда видишь лица, фигуры страдальцев, бунтарей, воителей. Не одни только загадки техники старинных златокузнецов — таких, как гениальный мастер из Опизы — Бека, — мучают любознательность искусствоведов и художников. Остается восхищение перед раскованной мыслью художников, вырвавшейся из ярма обязательных сюжетов и композиций, творивших в тяжкие для Грузии времена, когда в зеленой воде ее рек отражались то косые скулы монголов-захватчиков, то жесткие косицы сельджуков...

Пути большого искусства никогда не теряются бесследно. Прошло немало веков, но нынче орнамент златокузнеца Беки Опизари, покрывающий огромные площади золотых

окладов, — орнамент, по законам грузинского искусства нигде и ни в чем не повторяющийся, — изучают в соответствии с программой обучения студенты Академии художеств и ученики художественного училища. Тройные завитки, многолистники, трилистники, волнующий абрис стилизованного виноградного побега — нескончаема причудливая игра фантазии мастера, которого не зря величали уже в те времена не златонузнец, а златоваятель, отдавая ему дань как художнику.

Интерес к искусству златоваяния вдруг ожил у потомков гениальных чеканщиков Беки и Бешкена Опизари. И стали появляться чеканки на меди, алюминии, железе, латуни. Интересно, что первым практически обратился к чеканке в 1954 — 1955 годах именно историк Гурам Габашвили, директор Дома народных умельцев, почти одновременно с ним увлекся многообещающей формой искусства художник Ираклий Очаури, в 1959 году к нему обратился молодой грузинский художник Коба Гурули, который недавно удостоен звания заслуженного художника республики.

Сейчас это искусство стало признанным, к нему обратились многие — И. Коиава, Д. Кипшидзе и другие.

Что так привлекло художников к созданию картин на металле? И можно ли назвать чеканку картиной на металле? Пожалуй, это будет неточно, искусствоведы применяют в таких случаях термин «объемная пластика». Талант скульптора и художественная система, присущая графику, — вот что сочетает в себе искусство чеканки. Задуманная композиция наносится на металл карандашом и затем прочерчивается ножом, но это как бы «общая тема». Только потом, когда заводят серебряную гортанную свою песню молоточки и пунсоны, которыми наносится изображение с обратной стороны листа, только тогда художник мыслит и творит — в процессе чеканки. Он покрывает фон орнаментом; в строгих традициях, ни в чем не повторяясь, он создает лица, полные любви, раздумий или страданий, неуловимо регулируя силу удара, дрожь руки, трепет пальцев. Потом он обжигает на огне, обрабатывает химией — тонирует свое создание, и тут тоже нет ни рецептов, ни инструкций, тут тоже все зависит от глаза, интуиции, художественного чутья. Конечно, даже самые удачные фотографии не в состоянии передать эффект, который производит объемность фигур, вызванных чеканщиком к жизни, тот поражающий новизной эффект, когда объемная пластина становится не просто декоративным элементом, а произведением искусства, волнующим чувства, способным поразить психологизмом, лиризмом, драматичностью.

Посмотрите, какие характеры подарил нам чеканщик Коба Гурули в своей чеканке «У Накирали». Три воина сидят у костра перед битвой в ночь. (Ночь изображена предельно лаконично: маленький сияющий месяц над головами воинов.) Один словно произносит убеждающие слова и, быть может, не только для товарищей, но и для себя: «Битва необходима». Другой — неколебимый, отважный, всем своим видом как бы говорит: «Да, только тан, тут и слова ни к чему». Третий слушает, сомневаясь: «Да, битва — это прекрасно, но потом... Что будет потом...»

А лицо пастуха, созданного Очаури, иссеченное морщинами, похожими на шрамы воина, могучий, огромный человек — таким мы видим его, хотя перед нами только сильное лицо да две руны, придерживающие на плечах барана. Чувство национального достоинства, бережного отношения к традициям в высшей степени присуще искусству современных грузинских златоваятелей. Но это вовсе не значит, что они избегают сегодняшних актуальных проблем. Актуальными остаются чувства, отношения, стремления людей, их жизненные позиции.

Грузинские чеканки занимают сейчас почетные места на выставках в Москве, Тбилиси и за рубежом — в ГДР, Франции, Канаде.

Чеканщик работает с металлом, и в мастерской целые дни стоит перезвон его инструментов, гремит листовая медь и латунь. Болью от многочасового шума пронзает перенапряженные перепонки, но художник, даже спасая слух, здоровье свое, не может закрыть уши: он должен слышать удар, пропустить его через себя, чтобы соразмерить силу удара. Это символично. Когда художник залепляет уши воском, он погибает.

В Манеже недавно были выставлены многие чеканки по меди, латуни, алюминию. Там можно было увидеть и те работы, что вы видите здесь, на фотографиях. Среди них много интересных и талантливых. И все-таки я уверена, что смотреть грузинскую чеканку надо в Грузии: она так неотъемлема от ее природы, жизненного ритма, традиций.

Надо пить из источников. Выходить из автомобиля, становиться путником. Идти по земле Родины — на север и на юг. Остановиться, посмотреть в небо. Этому тоже учит искусство современного златоаяния — такое строгое в своей лаконичности и такое поэтичное.

Стихи

Ярослав Смеляков

Сирень

Был день февраля по-февральскому точным,  
окрестность сияла белее белил,  
когда невзначай в магазине цветочном  
корзину сирени я вдруг укупил.

Являя безмолвный образчик смиренья,  
роняя — уже — лепестки на ходу,  
я с этою самою белой сиренью  
по городу зимнему быстро иду.

В ушах у меня воркованье голубки,  
встречающей мирно светящийся день,  
смеются и валенки и полушубки:  
«Сирень появилась! Смотрите, сирень!»

Так шел я, дорогу забыв на квартиру,  
по снегу, как истинный вестник весны,  
как мальчик с цветущею веткою мира  
проходит, закрыв полигоны и тирь,  
по дымному полю глобальной войны.

Зарядка в Гагре

Не так, конечно, как Есенин,  
но все ж нередко второпях  
я был предельно откровенен  
и в личной жизни и в стихах.

Я сквозь окно глядел украдкой,  
как весь апрель уже подряд  
у моря делали зарядку  
динамовцы и «Арарат».

А у меня своя зарядка,  
она спортсменам не нужна:  
две сигареты для порядка,  
стакан грузинского вина.

Потом центральные газеты  
покажут время и Москву.  
Не знаю, как живут поэты,  
но я-то только так живу.

Володя

Без оркестра и без флага,  
без особенных речей  
ты встречала. Злата Прага,  
делегатов-москвичей.

Позабылось, в общем, скоро  
все, что шло в заглавный счет:  
и симпозиум, и форум,  
и чего-то там еще.

Но не могут позабыться  
в бедной памяти моей  
прояснившиеся лица  
наших истинных друзей.

При любой плохой погоде  
силой сердца своего  
не забуду я Володю,  
комсомольца одного.

Не какой-нибудь начетчик,  
не педант и не талант,  
а студент и переводчик,  
дилетант и практикант.

Лоб его высок и ясен,  
нет морщины меж бровей.  
Он действительно прекрасен  
обыденностью своей.

Делегатам иностранным  
он весьма любезен стал  
не за то, что чемоданы  
по гостиницам таскал.

Не за то, что провожатый  
был на месте всякий раз,  
ведь, по сути, багажа-то,  
в общем, не было у нас.

Нас сдружили братской властью  
не компот и пироги —  
наши страсти и пристрастья,  
наши общие враги.



## Колокольчики

Земля российская богата  
в своей траве, в своих цветах.  
Ведь колокольчики когда-то,  
как будто сельские набаты,  
гремели вечером в степях.

Потом их подрезали косы,  
чтоб ночью не было беды.  
Они ложились безголосо  
в тяжеловесные ряды.

Их вилы после поднимали,  
неся над самой головой,  
цветы неслышно обретали  
как бы ушедший голос свой.

И, получив жестокий опыт  
своей возлюбленной земли,  
они уже на общий шепот  
в стогах и копнах перешли.

Потом на дровнях удалялись  
на хутора невторопях,  
и губы конские купались  
в траве увядшей и в цветах.

Так начиналась жизнь вторая,  
идя все той же стороной.  
Ведь колокольчики Валдая,  
то раскатясь, то затихая,  
звонят и плачут под дугой.

## Василий Казанцев

### Дорога домой

Сначала — долго — пароходом,  
Потом — недолго — катерком.  
Еще — с попутным вездеходом  
И напоследок — прямиком,  
Через прозрачный лес пешком.  
Через ручей прозрачный бродом.  
Вдали исчезнут, смолкнут птицы,  
Уйдет, заглохнет шорох шин.  
Внезапно хором грянут птицы  
Среди тишайшей из лощин.  
С ветвей тяжелым грузом свесясь,  
Их пригибая до земли,  
Как гром весенний, рухнет свежесть

На плечи зябкие мои.  
И окажусь так близко к счастью.  
С самой судьбой наедине.  
И растворюсь. И стану частью  
Травы, воды, песка на дне.

\*

По полю, по травам, как легкая тень,  
Проносится конь на синеющем фоне.  
Изящный, как в беге летящий олень.  
А впрочем, олени изящны, как кони.  
Навстречу ему, восхищенная им —  
Степное видение, быль-небылица —  
Как будто несомая ветром самим.  
Легко, невесомо летит кобылица.  
Воздушный поток на воздушный поток.  
Спешат, как к единому руслу притоки. 1  
И там, где сойдутся, столкнутся потоки,  
Взовьется, поднимется вихрь, как цветок.

\*

О солнце второй половины зимы!  
Из матовой мглы возвращенные дали.  
Намеки на таянье — в самом начале.  
В безветренном небе — столбами дымы.  
Мороз в феврале — не мороз в январе.  
Он так же хрустящ, и блестящ, и напорист,  
И так же трескуч, как пылающий хворост,  
Но нет бесшабашности в этой игре.  
В блестящей игре безоглядности нет:  
Беспечные, легкие, смелые звуки  
Уже осветило присутствие муки,  
Прожег предвечерний пронзительный свет.

\*

Снежинок белые иголки  
С тупой оплавленностью жал —  
Как будто молнии осколки.  
Утратившие белый жар.  
Огромно-круглые сугробы,  
Безмолвно вставшие вокруг, —  
Как замороженные громы,  
Тугой утратившие звук.  
И вся зима из мглы, из пуха.  
Как свет, слепящая глаза,  
С дыханьем чистым до испуга,  
Лежит, как спящая гроза.

Кедр

Я к вершине лицо свое вскину.  
Долгим взглядом ее обведу.  
Будто кто подтолкнет меня в спину —  
Я поближе к стволу подойду.  
По шершаво-литому отвесу —  
Ни сучка до макушки самой —  
Я в зеленое облачко влезу.  
Что недвижно парит над землей.  
Продираясь, душистую смолку  
На себя соберу, как росу.  
Шелковистою, гибкой иглой  
Ветка мне пощекочет в носу.  
За пружинистую вершинку  
Ухватившись одной рукой,  
В фиолетовых рубчиках шишку  
Я достать попытаюсь другой.  
Хвойным свистом, как шелком, оденусь.  
Телом всем от ствола потянусь.  
Я еще и люблю и надеюсь.  
Я еще ничего не боюсь.

Николай Рубцов

Ночь на родине

Высокий дуб. Глубокая вода.  
Спокойные кругом ложатся тени.  
И тихо так, как будто никогда  
Природа здесь не знала потрясений.  
И тихо так, как будто никогда  
Здесь крыши сел не слыхивали грома!  
Не встрепенется ветер у пруда,  
И на дворе не зашуршит солома,  
И редок сонный коростеля крик...  
Вернулся я — былое не вернется!  
Ну, что же! Пусть хоть это остается,  
Продлится пусть хотя бы этот миг.  
Когда души не трогает беда,  
И так спокойно двигаются тени,  
И тихо так, как будто никогда  
Уже не будет в жизни потрясений,  
И всей душой, которую не жаль  
Всю потопить в таинственном и милом,  
Овладевает светлая печаль.  
Как лунный свет овладевает миром...

Купавы

Как далеко дороги пролегли?  
Как широко раскинулись уголья!  
Как высоко над зыбким половодьем

Без остановки мчатся журавли!  
В лучах весны — зови иль не зови! —  
Они кричат все радостней и ближе...  
Вот снова игры юности, любви  
Я вижу здесь... но прежних... не увижу.  
И обступают бурную реку  
Все те ж цветы. Но девушки другие.  
И говорить не надо им, какие  
Мы знали дни на этом берегу.  
Бегут себе, играя и дразня.  
Я им кричу: — Куда же вы! Куда вы!  
Взгляните ж вы, какие здесь купавы!  
Но разве кто послушает меня...

#### Синенький платочек

Я вспоминаю, сердцем посветлев,  
Какой я был взволнованный и юный!  
И пусть стихов серебряные струны  
Продолжат свой тоскующий напев

О том, какие это были дни,  
О том, какие это были ночи!  
Издалека, как синенький платочек.  
Всю жизнь со мной прощаются они...

От прежних чувств остался, охладев.  
Спокойный свет, как будто отблеск  
лунный, —  
Еще поют серебряные струны,  
Но редок стал порывистый напев.

И все ж хочу я, странный человек,  
Сберечь, как есть, любви своей усталость.  
Взглянуть еще на все, что там осталось,  
И распрощаться... может быть, навек.

#### Ты с кораблем прощалась

С улыбкой на лице и со слезами  
Осталась ты на пристани морской,  
И снова шторм играет парусами  
И всей моей любовью и тоской!

И снова я, тревожное созданье,  
Врываюсь в бурю дерзко, как баклан, — .  
За вечный стон, за вечное рыданье  
Я полюбил жестокий океан,

Я полюбил чужой полярный город —  
И вновь к нему из странствия вернусь —  
За то, что он испытывает холод.

За то, что он испытывает грусть,

За то, что он наполнен голосами,  
За то, что там к печали и добру  
С улыбкой на лице и со слезами  
Ты с кораблем прощалась на ветру...

Семен Ботвинник

\*

Есть чудо внезапных страстей  
и схожая с чудом остуда...  
Но чудо растущих детей —  
ни с чем не сравнимое чудо.

Загадка проста и хитра:  
I как будто не маялись с ними,  
как будто бы только вчера  
ребенку придумали имя —  
и вот уж расстаться пора,  
все медленно было —  
и быстро,  
и в свете большого костра  
затеряна первая искра...

И нам не понять до конца  
секрет этой близости кровной:  
как сила, покинув отца,  
становится силой сыновней,  
как грация матери вдруг  
мелькает в движеньи дочернем,  
как вечно смыкается круг  
меж зорькой  
и светом вечерним...

Аркадий Арканов,  
Специальный корреспондент «Юности»

## ВЬЕТНАМ В ОГНЕ

Осенью прошлого года из Вьетнама вернулись наши молодые литераторы Аркадий Арканов и Мариан Ткачев. Они провели в ДРВ месяц: побывали в Ханое и Хайфоне, в населенной малыми народностями горной провинции Хоабинь, в лежащих на пути к 17-й параллели провинциях Нге-ан и Тхань-хоа, проехав почти тысячу километров по военным дорогам Вьетнама. Они встречались с вьетнамскими солдатами и ополченцами, с рабочими, крестьянами и школьниками, с писателями, актерами и художниками, с советскими специалистами, помогающими нашим вьетнамским братьям в их ратном и созидательном труде.

Мы публикуем очерк Аркадия Арканова — один из подготовляемой им серии очерков о Вьетнаме. Это непосредственный рассказ о том, что довелось увидеть автору на многострадальной и героической вьетнамской земле.

\*

Могло ли тебя там убить? Люди моего возраста в девяноста процентах случаев задают мне этот вопрос после того, как я вернулся из Демократической Республики Вьетнам.

1 Люди моложе меня задают тот же вопрос.

Люди старше меня этот вопрос не задают.

Закономерно. Они знают, что такое война.

**КАЖДОЕ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ПОПАВШЕЕ НА ВЬЕТНАМСКУЮ ЗЕМЛЮ С 5.VIII.64 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ХОТЯ БЫ НА ОДНУ МИНУТУ, МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ. ЧЕЛОВЕК НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ!**

Каждую минуту вода на рисовых полях может стать грязновато-кровой.

Каждую минуту черепная коробка может треснуть, как переспевший гранат.

Каждую минуту может произойти зверское расчленение человеческого тела.

Каждую минуту...

Ни со мной, ни с другом моим писателем Марианом Ткачевым ничего подобного не случилось.

Потому что 22 августа 1967 года мы в 7.30 утра покупали книги в книжном магазине на улице Хуэ. Потому что не стало улицы Хуэ 22 августа 1967 года в 12 часов 30 минут дня!

И, наверное, благословляли бога «счастливыцы» с окрестных улиц и уцелевшие жители несчастной улицы Хуэ за то, что остались живыми они, их дети, их соседи.

И, наверное, понимали «счастливыцы», что счастье на этот раз купили им 76 человек, которые потом в течение двух дней лежали на прилавках вечернего базара в безразличном ожидании того момента, когда их опознают и предадут земле родственники, проклиная небо, сбросившее смерть.

**ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ПРИ МАССИРОВАННОЙ БОМБАРДИРОВКЕ ГУСТОНАСЕЛЕННОГО ГОРОДА УЦЕЛЕЛ ТЫ, ТО ПОГИБ ОН И НАОБОРОТ.**

Это был август.

Я несколько месяцев умышленно не писал о периоде с 6 августа по 6 сентября 1967 года, о том периоде времени, который я провел в ДРВ.

Я хотел привести в систему свои мысли, свои впечатления, свои рассуждения. Но не смог. Все равно сумбур. Все равно смятение. Все равно цепная реакция непоследовательных ассоциаций. Видимо, это не случайно. Видимо, трудно человеку, представлявшему войну по книжкам, по кинофильмам, по несовершенным свидетельствам детства, скрупулезно и последовательно описывать каждую минуту своего пребывания в стране, где идет война взаправдашняя. И, видимо, несправедливо по отношению к тем, кто не месяц, не два и не пять живет, работает, сражается, к тем, у кого нет склонности заносить свои будни на бумагу, а если и есть, то не до этого...

\*

...Во Владивостокском порту стоял у восьмого причала старый пароход. Он был 1932 года рождения. Его забросали мешками с мукой до ватерлинии. Его забрасывали в течение двух недель владивостокские докеры. Его могли забросать и в пять дней, но только в эти пять дней не сыпалась с неба морось. Но зато в эти пять дней стояла мерзкая жара с температурой 30°. И было жарко от мата, с которым взмокшие мучные «пьеро» бросали на настил очередные мешки, оставляя на них мокрые серые пятна пота.

Да. Это так. Когда под разгрузкой стоят сто двадцать вагонов с мукой, когда «а девять дней мороси приходится пять дней с температурой 30°, мат, очевидно, помогает...

Когда первый мешок лег на дно одного из пяти громадных трюмов, мне стало тоскливо: я подумал, что загрузить их доверху будет невозможно.

Когда был задраен последний трюм, мне не верилось, что погрузка окончена, мне не верилось, что пять трюмов проглотили 120 вагонов. Это был день зарплаты. И я не

рекомендую заглядывать в какой-нибудь владивостокский ресторанчик вечером в день зарплаты докеров. Не надо им мешать. Ведь на каждом из 80 тысяч мешков стоит их мокрая серая печать.

В порту Хайфон на внутреннем рейде стояло много судов. Кое-какие дожидались разгрузки не первую неделю. Но муку с нашего парохода в первые же часы после прибытия стали бросать на небольшие самоходные баржонки юркие маленькие вьетнамцы и делали это с такой легкостью и проворством, что приходилось удивляться. Баржонки уходили вверх по реке Бать-данг, когда наступала ночь, и было ясно, что мука нужна. И очень.

Спустя две недели мы пробирались на нашем «газике» через одну из провинций Северного Вьетнама. Мы ползли вдоль железнодорожной насыпи с уцелевшим, непонятно почему, двадцатикилометровым участком узкоколейки. Пропуская между колес железнодорожную колею, грузовик, выполняя функции паровоза, с трудом тащил три товарных вагона. Тащил до тех пор, пока рельсы не оборвались после недавнего налета. И здесь вагоны ждали люди. Они открыли двери и стали выносить из вагонов мешки с мукой. И делали они это быстро и сосредоточенно, стараясь успеть до рассвета. И опять было видно, что мука им нужна... И мне показалось при полусвете полулуны, что это те самые мешки с теми же самыми докерскими печатями, хотя и не один наш пароход возит во Вьетнам муку, а много. Вот и все о муке...

Во Владивостокском порту стоял у восьмого причала старый пароход 1932 года рождения под названием «Магнитогорск». И капитаном на нем был Марк Алексеевич Мельников, которому нет еще и пятидесяти. И в течение двенадцати суток плавания каждое утро изучал он с штурманами английский язык.

Самому младшему штурману было двадцать четыре года, а самому старшему — тридцать четыре. И большинство команды шло во Вьетнам впервые.

И для палубной вахты предназначались 12 касок, которые необходимо было надевать по тревоге и в которых мы вместе с экипажем фотографировались.

И каждый день по два-три раза нас облетали гарцующие американцы. Сначала белые, потом серые и, наконец, в Тонкинском заливе, черные, похожие на дельфинов, «фантомы». И именно такой «фантом» убил матроса с «Туркестана».

А «Магнитогорск» шел. Знал, на что шел. Шел медленно и в то же время так быстро, как только мог. Он был очень старым. И только экипаж его был очень молодым. И многие спрашивали про Пастернака. А в машинном отделении под вентилятором в это время было  $\pm 56^{\circ}$ ...

\*

А в Ханое температура человеческого тела —  $36^{\circ}$ . И влажность — около 90 %

Одно резкое движение — и ты мокрый. Одна рюмка водки — и ты пьяный...

Во время налета становится жарче в буквальном смысле слова.

В цилиндрических индивидуальных убежищах, видимо, прохладнее. Метра полтора в глубину, сантиметров семьдесят в диаметре, и рядом крышка. Они вырыты в тротуарах, вдоль домов. И улица похожа на форменный китель с двумя рядами пуговиц.

Но в цилиндрических индивидуальных убежищах совсем не прохладнее. Это только кажется. К моменту налета воздух в них раскаляется.

Старик и мальчик лет двух-трех задвигаются крышкой, оставляя лишь маленькую щель, потому что невозможно дышать.

А когда четырехэтажный каменный дом обрушивается на цилиндрическое индивидуальное убежище, дыхание совсем прекращается, и старик с двух-трехлетним мальчиком гибнут, не получив ни единой царапины, ни единого ранения «шариком»...

11.8 1967 года был совершен налет на мост через Красную реку. Это рядом с центром Ханоя.

11.8.1967 года в результате налета на мост через Красную реку было убито и ранено двадцать один человек. Они не были в этот момент на мосту через Красную реку.

11.8.1967 года в 16 часов 30 минут Доан Тхи Динь несла домой воду. Когда ее доставили в больницу, она была без сознания. Когда она пришла в себя, она уже была без ноги.

Я разговаривал с ней в больнице неподалеку от озера Хоан Кием. Ей девятнадцать лет. Она не замужем. Она несла воду.

В результате налета на Красную реку разрушено 97 домов, 332 человека остались без крова, 6 американских самолетов больше не садут на авианосец, три матери в Америке возблагодарят бога за то, что их дети попали в плен, а три матери в Америке проклянут бога (или правительство), потому что их детей больше нет. Один из них лежит на рисовом поле на оторванном крыле. Лежит со вздувшимся лицом и выпученными глазами, глядя туда, откуда свалился.

Его нельзя фотографировать в таком положении. Офицер не разрешает: «Он враг! Он должен смотреть в землю!»...

Больница, что неподалеку от озера Хоан Кием, расположена буквой «П». Центральная часть — лечебный корпус. Две боковые части — административный и поликлинический. И совершенно сказочные медицинские сестры. С одной из них мы обмениваемся улыбками. А рядом храм...

Спустя десять дней, 21.8.1967 года, мы снова были в этой больнице. Во время утреннего налета в нее ударил управляемый снаряд.

Убит врач.

Убит медицинский брат.

Ранены врач, медицинский брат, медсестра.

В этой больнице сказочные медицинские сестры, но я не вижу одной из них...

Поликлинический корпус разрушен. Стена административного корпуса изрешечена осколками.

Лечебный корпус, к счастью, не пострадал.

Валется пробитая в нескольких местах каска убитого врача (такая же, в какой мы фотографировались на «Магнитогорске») и пропитанная кровью сумка.

**НА 31 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА ПОДВЕРГНУТО БОМБАРДИРОВКЕ 92 МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯ. УБИТО 262 БОЛЬНЫХ И 87 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. РАНЕНО 246 БОЛЬНЫХ И 35 МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.**

А храм пострадал немножко. Чуть-чуть. Разбиты витражи, и у одного святого младенца дырочка в шее. Но это для сентиментального кинофильма...

**НА 31 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА РАЗРУШЕНО 149 КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМОВ, 3 МОНАСТЫРЯ И 80 ПАГОД. УБИТО 2 НАСТОЯТЕЛЯ И 6 БОНЗ.**

В городе Вине мы остановились возле разбитого в результате прямого попадания католического храма. Было темно и, слава богу, прохладно. Было тихо и грустно. Часы на храме показывали 21 час 30 минут... Видимо, они зафиксировали время гибели этого храма... Мы обошли его кругом, и, когда я снова взглянул на часы, они показывали 21 час 35 минут. На моих часах тоже было 21 час 35 минут. Значит, часы идут! Значит, время идет! Значит, борьба идет!

Я люблю Тхань Тиня. Я полюбил его сразу, как только увидел. Впрочем, нет. Я его любил уже в Москве по рассказам Ткачева и Чеснокова, которые знали Тхань Тиня раньше.

Это он во время войны с французами на узкой тропочке в джунглях оседлал бомбу замедленного действия, достал народный музыкальный инструмент и играл до тех пор, пока весь отряд не прошел...

Он высокий. Он пепельно-седой. Он с Юга. Он не видел Юга уже 22 года. Его семья там...



Те Хань тоже с Юга. Те Хань не видел Юга 13 лет. Но Те Хань моложе Тхань Тиня, и оба они прекрасные поэты.

Они провожали нас вечером 24 августа в четвертую зону. Они очень сожалели, что мы не увидим сказочных красот, в которых лежит дорога № 1. Не увидим потому, что ехать будем ночью. Днем езда запрещена. Нет, ночью тоже бомбят, но меньше...

Кто-то сравнил Южный и Северный Вьетнам с двумя корзинами риса на коромысле. А роль коромысла исполняет центральная часть, узкая, прижатая горами к морю. Нам предстояла поездка именно по этому коромыслу.

— Ты у нас седьмой раз, — сказал Тхань Тинь Мариану Ткачеву. — Сделай так, чтобы он (я) зря не высывался.

Да. Мы ехали только ночью. Но кое-что увидели. Это «кое-что» незабываемо.

Между девятью и десятью часами вечера слева от нас появлялась неправдоподобно огромная кровавая луна с тем, чтобы через некоторое время побледнеть, подняться на вершину небосвода и освещать нам трудную, безрадостную дорогу.

В 15 километрах от Ханоя днем разбомбили перекресток. Все домики и хижины в радиусе метров пятисот от перекрестка уже больше не домики и не хижины, а всего лишь груды обломков, из которых вряд ли можно опять собрать домик или хижину.

Перекресток разбит. Огромные воронки наскоро забрасываются чем попало.

Движение на юг не должно прекратиться. Прошел ливень. Все перемешал и размазал.

Старик вьетнамец впрягся в маленькую двуколку, заложенную до отказа убогим скарбом.

Старик вьетнамец тщетно пытается сдвинуть двуколку с места. Ноги по колени в грязи. Жилы на лбу вздулись. И прежде чем мы сделали попытку помочь ему, он резко рванул. Центр тяжести двуколки переместился, и она перевернулась. И все имущество попадало в грязь.

Так я в первый и последний раз увидел плачущего вьетнамца. А может быть, мне это при луне только показалось. Может быть, это были не слезы, а дождь. Они горды в своих несчастьях. Они не любят, когда их жалеют...

Много рек и речушек во Вьетнаме. Еще больше мостов, мостков и совсем маленьких бамбуковых пятиметровых мосточков. И как это ни ужасно, но приходится в конце предыдущего предложения поставить глагол «было».

Нет, это сказано не для большего эффекта! Это правда!

На всем протяжении дороги № 1 и дополнительных объездных дорог не сохранилось ни одного моста, мостка или бамбукового пятиметрового мосточка, за исключением одного... А может быть, и его уже нет... Но об этом дальше.

Мы еще проедем по легендарному мосту Хамжонг туда и обратно. Мы еще увидим его, прекрасного в своей изуродованности. Мы еще снимем перед ним шапку... Мы будем добираться до него всю ночь по дороге № 1, простаивая у переправ, совершая немыслимые объезды, трясясь и ударяясь о переборки нашего «газика», галлюцинируя от бессонницы и усталости.

Трудно передать на бумаге, что такое езда по изувеченным вьетнамским дорогам. Если и можно с чем-то сравнивать, то, пожалуй, надо представить, что вы едете по ребру огромной шестеренки.

Американцы бомбят тело дороги по протяжению.

Американцы видят, что дорога идет среди рисовых полей, болот и Озер.

Американцы знают, что организовать объезд в этих условиях крайне трудно.

Поэтому они и бомбят дорогу по протяжению.

Но почти вдоль всего тела дороги лежат нанесенные людьми камни, щебень, песок, доски. И стоит только разорваться последней бомбе из серии только что сброшенных, как, откуда ни возмись, появляются вьетнамские девушки, даже девочки, и начинают забрасывать свежие воронки камнями, щебнем, песком, досками, чем угодно, лишь бы

заполнить эти свежие язвы на теле дороги, и через несколько часов снова идут тяжело нагруженные грузовики на юг, к 17-й параллели.

Через каждые 20 — 30 километров я видел этих маленьких восстановительниц, и у них еще находилось время, чтобы крикнуть вдогонку нашему шоферу что-то веселое, похожее на приговорку, что-то вроде: «Эй, шофер! Дуй вовсю! А здесь все будет в порядке!»

Откуда появляются эти девушки? Где они живут в ожидании очередного налета? Не знаю. Они словно из земли вырастают. И благодаря им вьетнамскую дорогу нельзя убить. Я в этом абсолютно уверен.

Фу-ли. Город Фу-ли. Он до сих пор перед моими глазами. Ночью. Особенно ночью...

При свете мертвенно-белой луны стоят мертвеннобелые стены. Они стоят среди черных развалин. Кажется, что жизнь здесь была много веков назад. Кажется, что какие-то инопланетные пришельцы явились сюда, уничтожили жизнь и ушли.

Но это не инопланетные существа.

Нет. Это вторая половина XX века.

Это наша цивилизованная земля.

Это — дело рук представителей страны, которая считает себя вершиной цивилизации.

Жуткий абсурд!

Жабы и цикады, которые в мирных условиях создают даже подобие какого-то уюта возле человеческого жилья, теперь, оставшись в одиночестве, усиливают ощущение безжизненности и небытия...

Фу-ли уничтожен полностью.

НА 31 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА ИЗ 30 РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ ДРВ РАЗБИТО 20. ИЗ ВСЕХ ПРОВИНЦИЙ НЕ ПОДВЕРГАЛАСЬ БОМБАРДИРОВКЕ ТОЛЬКО ОДНА.

А что же такое мост Хамжонг?

Это тот самый единственный сохранившийся на дороге № 1 мост.

Он весь черный, а проезжая его часть покрыта белыми, свежими досками. И эти доски даже не успевают потемнеть, потому что днем мост бомбится, а ночью настилают новые, свежие, белые доски.

Он инвалид, этот мост Хамжонг. У него два протеза вместо ног, на которых он стоит. У него причудливо выкручены, заломлены руки, выбиты зубы. Непонятно, по каким физическим законам он продолжает стоять. И не просто стоять, а жить и выполнять свои обязанности.

В течение двух лет он бомбится почти ежедневно и по несколько раз в день.

70 самолетов потеряли американские ВВС, непрерывно покушаясь на жизнь моста Хамжонг. А он все стоит, и ночью идут по нему колонны автомашин с Севера на Юг, с Юга на Север...

На обратном пути мы остановились и вышли из машины, чтобы попрощаться со стариком Хамжонгом. Мы похлопали его по черному плечу и пожелали долгих лет жизни на благо своей страны...

Прошло с тех пор несколько месяцев. Может быть, Хамжонг и умер... Но если это так, то после войны не надо его восстанавливать.

Пусть неподалеку от него вырастет Хамжонг-сын.

И пусть отец лежит рядом как напоминание, как памятник борьбе и непрекращающейся жизни.

Я люблю Тхань Тиня. Он не видел Юга 22 года.

Я хочу, чтобы после войны он поехал на Юг по дороге № 2 1.

Я знаю, что он будет ехать днем и ночью. Ведь он не видел Юга 22 года.

Он будет ехать по тем же местам, что и я, с включенными на полную мощность фарами.

Я очень хочу, чтобы как можно скорее наступил этот день. Тхань Тинь хочет еще больше.

И если он попросит, чтобы я сопровождал его в этой поездке, я приеду.

Город Винь стоит на берегу моря. Город Винь — порт. В городе Вине — 72 тысячи жителей. Город Винь перенес свыше 800 бомбардировок. Город Винь уничтожил 106 самолетов ВВС США, в том числе ПЕРВЫЙ из общего числа сбитых над ДРВ,

Город Винь разрушен на 80 процентов,

В среднем на каждый квадратный метр города Виня приходится по 70 килограммов бомб...

Мы проехали Винь поздним вечером. На перекрестках говорили радиорепродукторы; работали магазины по продаже риса; был открыт магазин одежды для оставшихся в городе жителей.

Город Винь жил, живет и уверен в победе.

А недалеко от города Виня есть Красная деревня, на которую сброшено 2 тысячи бомб. И в этой деревне живут удивительные старики — участники революционных выступлений против французских колонизаторов в 1930 году. Каждому из стариков далеко за шестьдесят.

8 два часа дня под жутким солнцем старики приехали к нам из своей деревни на велосипедах...

И вот выяснилось, что сорок лет назад в джунглях Вьетнама люди знали Ленина, Либкнехта, Люксембург и что по примеру наших Советов эти люди организовали в 1930 году свои Советы. И Советы потребовали от колонизаторов 8-часовой рабочий день и отмену обыска при выходе рабочих с предприятий. И потом 6 тысяч человек было арестовано...

И я услышал песню, которую спел нам один из стариков. И это была песня о Парижской коммуне. Мариан Ткачев перевел мне песню, и оказалось, что в ней изложены не больше, не меньше, как исторические причины поражения Парижской коммуны..

А другой из стариков в 1955 году был в Советском Союзе и на мой вопрос, какие города ему больше всего понравились, ответил:

— Все. Особенно деревни...

И в Разливе он был и в Кремле, «на квартире Ленина».

— Скромная квартира, — сказал он.

Им далеко за шестьдесят, этим удивительным, похожим на Хо Ши Мина старикам.

Они прожили большую трудную жизнь, в конце которой на их седые головы сброшено 2 тысячи бомб...

Я помню, было уже совсем темно, когда представитель исполкома города Виня, ехавший с нами в одной машине, показал на большое поле слева от нас.

Я вгляделся в темноту...

Мертвые, изуродованные зенитки... Прежние позиции защитников Виня... Зенитки мертвы. А люди?..

Метрах в четырехстах новые позиции... Мы сидим среди очень молоденьких зенитчиков. Они поют. Марш освобождения Южного Вьетнама. Девушка-ополченка читает Стихи То Хыу... Вообще население довольно свободно допускается на военные позиции... Люди носят солдатам воду, пищу... Развлекают их в свободное время... Потом для нас была «инсценирована» тревога... Эта батарея состоит из советских орудий.

Мы уезжаем в ночь. Завтра очередной день.

Завтра Винь ощутит на себе новое усиление эскалации войны во Вьетнаме.

Завтра упадут на вьетнамскую землю новые американские самолеты...

Но, кто знает, может быть, завтра эта действующая позиция станет «прежней», и в небо будут смотреть изуродованные, мертвые зенитки... А люди?..

А люди уверены в том, что ЗАВТРА будет победа и что сегодня они до боли в глазах должны всматриваться в небо, чтобы как можно скорее увидеть своего врага и поразить его каким угодно способом...

Неправдоподобна, декоративна, стереоскопична вьетнамская природа. Если облака, то они нарочиты и причудливы. Если лягушки, то их голоса не уступают паровозному гудку. Если комары, то они кусают через записную книжку в заднем кармане...

30 августа в 6 часов утра мы въехали в восхитительную деревню на берегу моря в устье реки Ло. Мы упали на циновки и до 8 часов утра практически прекратили свое существование.

А в восемь часов мы начали подъем на высокий зеленый холм, где расположились народные ополченцы. Через полчаса мы достигли вершины холма.

И отсюда далеко внизу я увидел абсолютно невоздержанную вьетнамскую зелень, абсолютно голубую реку Ло и на ее ровной, спокойной поверхности десятки рыбацких джонок под светло-бежевыми заплатанными парусами, напоминающими крылья бабочек.

Чуть левее чернели буйволы, на спинах которых сидели маленькие фигурки в остроконечных ногах. Это все было похоже на лубок, купленный мною у антикварши в Ханое...

Я медленно разворачивался на 180°, пока не увидел на горизонте американский крейсер.

В 9.00 крейсер открыл огонь по деревне, на дальней окраине которой его что-то активно интересовало.

С 9.00 до 17.00 с интервалом в 2 — 3 минуты крейсер клал снаряд за снарядом в километровый квадрат. За это время раз 12 над деревней на бреющем полете проносились «фантомы» и дважды бросали бомбы в район того же километрового квадрата.

Жители вместе с детьми перешли на другой конец деревни.

Деревня изрыта траншеями, и в траншеях играют дети. Детей много. Каждая семья имеет в среднем по 5 детей.

Здание школы разрушено. Под школу приспособлен навес. Под навесом — столы и скамейки. Прямо под столами — траншеи...

Через три дня — начало нового учебного года. Будет учиться 700 детей...

Половина взрослого населения ловит в море рыбу. Американцы ловят рыбаков и топят их джонок.

Народные ополченцы деревни самостоятельно из карабинов и пулеметов сбили 5 самолетов и получили от тов. Хо Ши Мина «Знамя решимости победить американский империализм».

Маленькая бамбуковая хижина под городом Тхань-хоа приспособлена под гостиницу. Городская гостиница уничтожена, а хижина скрыта банановыми пальмами. Когда попадаешь в нее после бессонных суток, влезает под накомарник и вытягиваешь ноги, выпив предварительно разбавленного горячей водой сгущенного молока, тебя охватывает ощущение полной недосыгаемости и умиротворения. Не верится, что в 7 километрах отсюда лежит в развалинах город Тхань-хоа... Именно здесь мы с Ткачевым пришли к выводу, что Джонсон не самый гуманный, не самый мудрый, не самый цивилизованный президент из всех президентов США.

Солдаты обязаны выполнять приказы своих командиров. Это железная логика войны.

Для того, чтобы солдаты в массе своей прозрели и сознательно отказались принимать участие в несправедливой войне, нужно много факторов и время.

Но зато совсем чуть-чуть надо для того, чтобы солдат озверел. Надо, чтобы был убит его друг, убит справедливо защищающейся стороной.

А это происходит каждый день. И с каждым днем война приобретает все более жестокий характер.

Престиж? США хотят поддержать свой престиж в глазах человечества? Чем? Тем, что они оказывают вооруженную поддержку группке дискредитировавших себя, постоянно дерущихся между собой сайгонских куколок?

«Сайгонские руководители, — сказал мне один вьетнамский друг, — на глазах американцев горячо пожимают друг другу руки. Но стоит американцам отвернуться — они тут же проверяют, все ли пальцы на их руках целы...»

Престиж? США хотят поддержать свой престиж? Чем? Тем, что используют маленькую страну в качестве полигона для проверки современного оружия?

Никто в конце концов не вмешивался в гражданскую войну между Севером и Югом Америки!

Не хочу проводить аналогий, но та война закончилась победой Севера.

Думаю, что на сегодняшний день США могут сохранить свой престиж великой державы только немедленным уходом из маленькой страны.

Это в силах Джонсона или другого президента, который придет вместо Джонсона.

А что касается вьетнамцев, то они неоднократно выкидывали со своей земли и европейских и неевропейских захватчиков...

В Японском море наше судно на протяжении нескольких миль сопровождали дельфины. Они резвились перед самым носом судна, выпрыгивали из воды, выделяли в воздухе замысловатые кульбиты. И мне вдруг показалось, что они пытаются этим самым наладить с нами контакт, найти общий язык... Но все безрезультатно... В конце концов им это надоело, и они все резко отвалили от судна.

Нормальные, здравомыслящие, гуманные люди, подобно дельфинам, пытаются что-то доказать Джонсону, в чем-то убедить его... И отворачиваются от него. И совсем отвернутся. И он останется один со своим престижем... А люди не дадут погибнуть маленькой стране.

Следующей ночью из бамбуковой гостиницы уезжал болгарский журналист Николай Томов. Уезжал в четвертую зону, туда, откуда мы вернулись.

В этой же маленькой бамбуковой хижине, спрятавшейся в пальмах Северного Вьетнама, мы узнали о смерти Ильи Григорьевича Эренбурга.

Нам рассказала об этом низенькая тихая женщина, которая принесла два стакана разбавленного горячей водой сгущенного молока.

— Мы потеряли большого друга, — произнесла она.

А 3 сентября нас приняли в пионеры и повязали красные галстуки. Это было в провинции Ха-тей, в 30 километрах от Ханоя, в школе для детей, эвакуированных из ханойского района Донг-да.

Школа организована по принципу интерната. Жители сельскохозяйственной общины потеснились и отдали школе несколько своих домиков.

Учебные пособия легки и портативны, чтоб их можно было быстро перенести в траншеи...

400 детей сидят на корточках перед торжественным столом, за которым выступают взрослые и поздравляют их с началом нового учебного года.

400 детей в толстых широкополых соломенных шляпах от шариковых осколков.

76 процентов учатся без троек.

«Чем лучше вы будете учиться, — говорит директор школы, — тем быстрее уберутся американцы».

**НА 31 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА ПОДВЕРГЛОСЬ БОМБАРДИРОВКАМ 391 УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. УБИТО 398 УЧАЩИХСЯ. УБИТО 43 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.**

«Эти дяди, — указывает на нас директор, — приехали из страны, где родился Ленин».

400 матерей и 400 отцов остались в Ханое.

Они очень редко видят своих детей.

«Сначала нам было трудно без родителей, — говорит пятиклассник, — но потом мы стали привыкать».

Учителя все до одного прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи раненым.

«Мой сын еще не ходит в школу, — говорю я, — потому что он еще не умеет ходить».

400 детей смеются. Дети должны смеяться. Дети должны быть детьми.

Директор трижды бьет колотушкой в барабан.

И дети и взрослые поют «Марш освобождения Южного Вьетнама».

Нам дарят толстые соломенные шляпы и лотос, который в это время года заканчивает цвести.

Лотос увял через три дня.

Часы на разрушенном храме в городе Вине ИДУТ! Мост Хамжонг СТОИТ! Дети учатся!

Соломенную шляпу от шариковых бомб я повесил над Васиной кроватью. Ему сейчас десять месяцев. «Май бай ми!» — говорю я и бодаю его головой.

Он хохочет. Ему смешно от этого непонятного веселого звукосочетания.

Май бай ми!.. Я слышал это каждый день во Вьетнаме и запомнил.

«Май бай ми!» — говорю я сыну, и он смеется.

Он не знает, что «май бай ми!» по-вьетнамски означает «американский бомбардировщик!»...

## ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Полухин

### ПОДВИГ НА ТРУБКЕ «УДАЧНАЯ»

Вдвоем с местным журналистом педели три мы колесили по городам и поселкам якутских алмазников («колесили», впрочем, неточное слово, так как поселки эти порой за сотни километров друг от друга, кругом бездорожье, и чаще приходилось пользоваться вертолетом, чем машиной). Множественные перелеты, ночлеги в случайных домах, разговоры, споры, которые, как у всех русских людей, а тем более у северян, затягивались далеко за полночь, и самое маетное — нудные сидения в аэропортах. Сидеть приходилось подолгу, потому что, как сказал нам один старик якут: «У нас что?.. Вертолетка есть — пилотка нет. Пилотка есть — вертолетка нет. Вертолетка есть, пилотка есть — погодка нет. Сиди!..»

Словом, устали мы крайне. И решили на пару дней выбраться на рыбалку. Было это на реке Далдын, близ Полярного круга. Тут за последние пять месяцев на трубке «Удачная» поставили обогатительную фабрику и новый поселок, который в обиходе все так и зовут — «Новый».

На моторке спустились за двадцать пять километров от него. Далдын — река неширокая, но быстрая, порожистая. Когда спадет паводок, на иных бродах можно перейти ее, не замочив голяшки сапог.

Фарватер мы знали плохо, и все кончилось так, как и должно было кончиться: наш подвесной мотор вдребезги разбило о подводный камень.

Места эти безлюдные, помочь некому, пришлось весь обратный путь тащить лодку бечевою. Я не новичок на Севере: приходилось плавать по Вилюю, под Тикси пробираться тундрой на собаках, южнее, в тайге, мерить километры на трассах электропередачи. Но впервые надо было идти, не выбирая самому дорогу, а, так сказать, «по заданному маршруту»: только по берегу Далдына.

Под ногами немыслимая пестрядь мха. Каких только оттенков нет! И красный, и пепельно-белый, высохший и багряный, и голубой, и тот девственно-зеленый, какой бывает у озимых хлебов, когда они теплой весной нетерпеливо идут в рост.

Но красота эта радует недолго: сапоги утопают во мху, под, ним волнами ходит хлябь оттаявшей вечной мерзлоты. Бесконечные сопки, горушки, увалы, распадки. Дали кажутся легкими, но стоит набежать облачку, и все вокруг грузнеет, оседает, становится однотонным; далекие сопки из небесного круга, очерченного горизонтом, сваливаются к центру, на тебя, давят. Невольно возникает чувство тоски, затерянности среди этих просторов.

Через каждый километр, а то и чаще попадались нам бывшие становища геологов: скелеты балаганов — жерди, вымытые непогодой до костяной белизны, или вдруг среди тайги висящий на треколье чан, такой громадный, что его, наверно, и оставили из-за величины и тяжести, но как и зачем затащили сюда?.. А там брошенная, полуразвалившаяся фабричка или избушка без крыши, но с жаркой печкой, сделанной из железной бочки. И повсюду исчертили тайгу заросшие карликовыми березками просеки, их били, должно быть, для зимних дорог.

Словом, исхожен, истоптан геологами каждый из многих сотен, тысяч километров, и всегда вокруг людей была вот эта вот выморочная, каверзная тайга, над ними — неуютное, диковатое небо. И ничего больше.

Если нам с таким трудом дался этот малый случайный переход по Далдыну, то каково же было им, геологам?.. Вот так во всем: чтобы не просто понять, а почувствовать великость чего-то необычного, надо самому хоть краем прикоснуться к нему. Так случилось и со мною. Раньше восхищала удача геологов: надо же найти такую большую алмазную трубку, запасы которой поистине огромны. Удача? Ну да, трубку ведь и назвали «Удачной».

Но какая же это, к черту, удача?! Труд, тяжесть которого трудно даже представить. И теперь мне больше думалось не о подземных кладовых, а о тайниках человеческого мужества, безмерного терпения, безымянной скромности.

И как финал пути, как достойное его завершение, в двух километрах от Нового, в гравийном карьере, увидели мы экскаваторы, печально опустившие стрелы к земле, а рядом — скопище молчаливых самосвалов. Это были машины строителей.

Уже наступил июль. Несколько недель стояла жара. Через месяц — осень (здесь говорят: «Северное лето коротко, как перелет куропатки»). Но до тех пор, с весеннего половодья, почти вся техника на приколе: пробраться к карьере сквозь разбрюзгшую трясину вечной мерзлоты невозможно.

Утром я рассказывал свои впечатления о «рыбалке» начальнику участка Володе Кудрину, который руководит здесь всем строительством. У него чуть удлинненное, всегда невозмутимое лицо (несмотря на неполных тридцать лет), и настроение Володи можно угадать лишь по выражению глаз, увеличенных стеклами очков. Сейчас в них угадывается усмешка.

— Геологи? — переспросил он. — Да, великое дело сделали... Ну, пошли. И я кое-что покажу...

Висячий, узенький, стометровой длины мост через Далдын. Если долго смотреть вниз на стремнину реки, невольно кажется: она недвижима, это мост вырывается у тебя из-под ног куда-то вбок. Невольно качнешься (рука — за перила), стараясь поймать будто бы ускользающий от тебя настил.

Мост — пешеходный. За ним — трехкилометровая дорога к фабрике. Вслед каждой машине — такой занавес желтой пыли, что перестаешь видеть близкую зелень тайги. Володя идет в белоснежной нейлоновой рубашке. Я попытался сострить:

— Это что, в честь заезжего корреспондента?

— Ты Кадзова знаешь?

Кадзов — начальник рудника «Айхал» Рудник этот и строит хозяйственным способом (что это значит, я потом объясню) «Удачную».

1 Сейчас это трест «Айхал».

— Да.

— Так вот, он всегда в белых рубашках. Только в белых и только в чистых, по какой бы грязи ни лазил. У него спросили как-то: «Как вы ухитряетесь, Георгий Александрович?» «А я, — говорит, — купил себе сразу сто штук и каждый день меняю. Очень просто...» Ну вот и мы все так же сделали. Неудобно обряхой выглядеть перед ним...

От реки, вдоль дороги — коленчатая змея толстенных труб водовода. Мы идем по ним, спасаясь от пыли. Володя коротко поясняет:

— Полтора километра. Плюс насосная.

Он и дальше рассказывает обо всем сухими цифрами:

— На фабрике перевернули сто десять тысяч кубометров земли, вбили в мерзлоту, лед, скалу на глубину в шесть с половиной метров триста шестьдесят железобетонных свай, смонтировали пятьсот тонн железных конструкций (это не считая оборудования). Уложили шестьсот кубов бетона... Заметь: в среднем работало на участке двести человек...

— Да хватит цифр, Володя! Мне же не информацию писать...

И вот фабрика открылась перед нами. Еще без стен: алюминиевые панели для них пока лишь изготавливаются на заводах. Хитроумные сплетения металла тянутся ввысь, ввысь, этаж за этажом, к блеклому, скучному небу.

У меня нет слов. А Володя спокойным, как мне кажется, нудным, голосом комментирует:

— По объему здания наша фабрика почти равна третьей мирненской.

Третьей мирненской?! Этой махине, которую с гордостью показывают всем заезжим людям? Этой красавице с блестящими алюминиевыми стенами, поднявшимися над всем городом?

— Но ведь ее-то строили пять лет!

— Пять лет. Аэту — пять месяцев.

— Ну да, здесь и стен пока нет, и смонтирована только одна из двух ниток оборудования, и фабрика это сезонная: будет работать только летом, на россыпных месторождениях... И тем не менее: пять лет — и пять месяцев!

...Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной опять встает ажурный каркас фабрики на «Удачной», верхние балки в небе. И мне все же не верится, что все это там действительно есть. Но я знаю: всевозможные грохоты, мельницы, обсадочные машины, транспортеры и прочее и прочее работают, и добытыми алмазами стоимость строительства первой очереди фабрики уже окуплена с лихвой.

Впрочем, я забежал вперед.

А начать, пожалуй, стоит с мирненской гостиницы. Я жил в ней не раз.

Утлый, холодный дом, в коридорах которого днем и ночью топчут люди, тут же, в коридорах, и спят: счастливики — на раскладушках, иные — сидя, привалившись спиной к стене. Номера переполнены (не зря Мирный зовут столицей алмазного края), в номерах — карты, развеселые разговоры, песни.

И вот в эту-то гостиницу в одну из суббот января Кадзов вызвал Кудрина и своего заместителя Алексея Ивановича Гловяка и сказал:

— Срок вам — два дня. Запирайтесь в номере. К понедельнику должны мне дать новый проект фабрики на «Удачной».

Проект! В два дня! Анекдотично, не правда ли? Но так сложились обстоятельства.

Предполагалось первую фабрику на «Удачной» пустить не раньше 1969 года, главным образом из-за того, что по разработанной проектировщиками транспортной схеме породы невозможно было обойти без линии электропередачи от Вилуйской ГЭС, а



строительство такой линии — дело затяжное. И вот в декабре 1966 года на одном из высоких собраний в Мирном выступил Георгий Александрович Кадзов и попытался доказать, что пуск первой очереди фабрики возможен уже в 1967 году.

Кадзова все знали. Знали, что он осетин, много лет назад случаем попавший в Москву, на «Метрострой», окончивший заочно техникум, в 1937 году был направлен комсомолом на Север. С тех пор его профессия, если так можно выразиться, — освоение новых месторождений: несколько золотых приисков на Колыме, олова — на Яне, где сейчас один из крупнейших в стране комбинатов — «Депутатский», а шесть лет назад он поднял к жизни «Айхал», в семистах километрах севернее Мирного.

Так вот, Кадзова все знали. Знали, и все же высмеяли. Начальник комбината «Якуталмаз» Тихонов, сам понаторевший в подобных предприятиях (за строительство Мирного ему присвоено звание Героя Социалистического Труда), в заключительном слове под аплодисменты зала заметил:

— Только фанатизм айхальцев мог привести к подобной бредовой идее...

Но приполярные алмазы нужны были стране уже сейчас. Кадзов настаивал на своем. И на первый взгляд случайно, а на самом деле закономерно его предложением заинтересовался один из заместителей министра цветной металлургии, оказавшийся проездом в Мирном. Он специально задержался здесь на несколько дней.

И вот поэтому в развеселой гостинице в два дня надо было создать не проект, конечно, в точном смысле этого слова, а эскиз его, но эскиз, значение которого для всей страны трудно переоценить.

Кудрин исполнял всю строительную его часть, технологическую, а Гловяк тут же набрасывал экономические обоснования придуманным вновь схемам.

Ничего анекдотичного в этом не было. Много было взято из «старых чертежей института «Якутниипроалмаз», что находится тут же, в Мирном, а основные новшества продуманы и выверены в спорах раньше. Не было и авторской спеси: впоследствии, когда проект детально обсуждался и разрабатывался в том же институте, авторы его говорили:

— Мы ни на что не претендуем. Чем больше критики, тем лучше, лишь бы она была позитивной, лишь бы исходила из нового срока строительства...

Главное, что сделали они, — изменили схему доставки породы на фабрику и очередность разработки квадратов трубки. Для этого было умело использован рельеф местности, а сила воды, сила электричества были заменены силой машин; нужда в линии электропередачи на время отпала.

Проект был благословлен.

Но вот что для меня самое удивительное в этой истории. Спервоначала — и так оно и вышло впоследствии — Кадзов предлагал осваивать месторождение хозяйственным способом, то есть силами и средствами своего же Айхальского рудника. Зачем ему надо было добровольно взваливать на плечи такую нелегкую ношу? И без того на «Айхале» забот у него, что называется, невпроворот, никто с него не спрашивал лишнего, напротив, высмеивали за инициативу. Зачем нужно было его помощникам безоговорочно следовать за ним? Ведь они действительно «ни на что не претендовали», их имен даже нет среди авторов проекта, а позже и Гловяк и Кудрин стали руководить строительством на «Удачной», уехав на месяцы от семей, от айхальского, малого, но все же уюта. Зачем?..

Ответить на это я смог не сразу.

А сперва была встреча с давним моим другом, строителем. Я не стану называть его имени: думается, мысли его, настроение в ночь нашего разговора были мимолетны, во всяком случае, он сумеет переменить себя.

Тогда он был (так совпало) один в трех лицах: и за начальника, и за его заместителя, и за главного инженера крупного строительного управления. А увидел я его впервые, когда он плакал. Я стесняюсь произнести про него это домашнее слово — «плакал», потому что всего

двумя годами позже он находил такие технические решения, которым удивлялись его учителя.

Но это все-таки было. Сидел здоровый, крупный парень на берегу Лены и плакал оттого, что его паршивейший проект обыкновеннейшего барака, придуманный, соотнесенный с «местностью» вечером, был чуть не через день «исполнен в деле», и люди, что вселились сюда два часа назад, женщины в разноцветных фартуках, иные — от кухни, с разливными ложками в руках, качали практиканта.

Сейчас он говорил мне:

— Не знаю, может быть, оттого, что впервые в жизни так тесно, вплотную столкнулся с практической работой. Может быть, слаб, неумел, кишка тонка! Но вот когда кто-нибудь приезжает из Москвы, думаю: ну, не по мне эта жизнь, она вообще бессмысленна, античеловечна! Работа — сон, работа — сон, работа — сон, ничего больше! Должен знать все: почему ошибка в проекте, почему шофер Пупкин разошелся с женой, — за все в ответе, все сам, крутишься по двадцать часов в сутки, и некогда даже остановиться, подумать. Машина, не человек! И самое страшное: варишься в собственном соку, круг замкнут этой вот тысячью мелочей. Раньше, когда был просто технарем, были командировки в Москву, Ленинград — выход в иной мир, общение с людьми, толчок мыслям. Это — как освежающая вода... А тут? Иной бы, может, запил на неделю, от этого ничего бы не изменилось: машина закручена, все шло бы своим ходом, а для него все-таки разрядка! Но я и этого не умею. Чертова жизнь!.. Я же москвич, как и ты. Москва снится. Снится. Зовут туда работать. Квартира есть. Но Север... Мне после Севера там не жизнь! Или я дерьмо, или в бумажках, в проектах опять копать. Мне все здесь — вот! — Он черкнул по горлу ребром ладони. — Пропади все пропадом!..

Пока не дошел он до этих своих последних фраз, мне все хотелось перебить его, упрекнуть: мол, погряз в текучке, растерялся, отсюда и все беды твои...

Но вдруг что-то тронуло за сердце, вспомнил я свою предыдущую ночь.

Гостиница, переоборудованная из бывшей фабрики геологов. В моем номере был когда-то рентгеновский кабинет, и поэтому окна в нем — чтобы легче затемнять — круглые, как корабельные иллюминаторы. А за ними — светло, как днем, ночи сейчас тут белые.

Сумасшедшее, раздерганное в алые перья небо, и не только в алые: цвет этой застиранной простыни —

от облаков — меняется у горизонта с каждой минутой, от нежного, как ландыш, до фиолетово-синего, до багрового. И внизу — черная, этим странным ночным днем черная щетина тайги. Ненатуральные лучи солнца — оно вообще не заходит — бродят по занавескам. Не спится, и кажется, комната твоя качается, плывет корабль неизвестно куда... До боли остро вспомнилась улица в Москве: ночной, мокрый, блестящий асфальт, привычные ряды старых тополей, которых обычно не замечаешь, коробки зданий, высокие и строгие, парадная дверь с разбитым стеклом, а за ней перед лифтом приглушенный, желтый свет... И думаешь, как тыходишь в этот лифт и он идет вверх... Вспомнилось все это устоявшееся и милое, такое нелепое здесь, на Севере, где само слово «время» значит перемены, где и небо такое вот сумасшедшенькое. Захотелось тут же сорваться в Москву. Но я уже знал это чувство; спешишь вернуться, а через день коришь себя: надо было еще хоть немного, хоть месяц пожить на Севере, все-таки и для меня давно уже жизнь здесь...

Но все же такие ночи иногда наплывают, наплывают под ветром, неподвластным тебе, они и болезненны и приятны, о них долго помнишь. Поэтому я не стал возражать другу своему, раздерганному, как небо над нами, хотя и подумал: беда его (моя беда?) и наше отличие от Кадзова, Гловяка, Кудрина в том, что мы идем за событиями и события руководят нами, а те — те перекраивают эти события по своему нраву и по нуждам своего времени.

Но самую суть этой разницы я понял еще через несколько дней, когда разговорился с Гловяком.

Алексей Иванович на Севере давно. Он хитроумный конструктор, изобретатель. Его паровые котлы, например, которые на ВДНХ получили медаль и которые вдвое экономичней обычных, ставят сейчас в Магадане, Якутске, в других северных городах.

Но ни на одно из своих изобретений Гловяк не взял патента.

— Почему, Алексей Иванович?

Он невысок, сутул, лыс, всегда при галстуке, завязанном тонким узлом. Манера говорить у него неторопливая, костюм запыленный, широкобрюхий, и вечно хитроватый прищур добрых синих глаз.

— Так ведь у нас, если начнешь заботиться о патентах, на тебя будут смотреть косо: мол, о своей корысти печется. И делу тогда — труба. А иначе — руки не связаны, я могу требовать все, что надо. Требовать, а не просить...

Я вспомнил, как создавался проект новой фабрики, вспомнил разговор в институте: «Мы ни на что не претендуем... лишь бы критика была позитивной...»

У нас часто говорят: этот человек живет прежде всего для дела, а потом для себя. Мне как-то не нравится это разделение. Есть, конечно, множество таких людей. Особенно они важны для Севера, потому что «на Западе», как тут говорят, всегда пайдется кому заменить тебя, а здесь грамотных инженеров, опытных руководителей мало, к сожалению, пока очень мало. Не сделаешь что-то сам — никто за тебя не сделает. Но это вот разделение: «для дела», «для себя»... Есть в нем какая-то подневольная обреченность. Я бы повернул слова эти и стертое существо их иначе. Как-то Станиславский сказал: «Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве». По-моему, это верно не только для актерской, но для любой профессии. Только слово «искусство» надо заменить словом «жизнь»: надо любить жизнь в себе, а не себя в жизни. Только тогда и можно жить «прежде всего для дела», — из любви, из самого себя и в конечном счете из счастья.

Не просить, а требовать, пусть ущемляя себя в малом, но позже знать: ты приложил руку к большому делу. В этом — корыстное счастье. А счастье всегда корыстно.

Наверное, думал я, мой давний друг, мой ночной собеседник еще не пришел к этому (а я созрел несколькими днями позже); наверное, он еще любит себя в жизни больше, чем жизнь в себе. Хоть и работник отличный, хоть и... Но отсюда все его сомнения, неустрбленность.

У Кадзова же, у Гловяка и у Володи Кудрина, наверное, тут все наоборот, то есть не как у моего ночного собеседника, а так, как надо в этой жизни. По-настоящему. Поэтому они и смогли добровольно взвалить себе на плечи столь тяжкую ношу, поэтому были перекрыты все рекордные сроки строительства, поэтому фабрика на «Удачной» уже работает на страну.

...И новые вопросы: как, в чем они смогли найти для этого силы, не моральные даже, а физические? Но уж слишком часто я встречал людей, которые пасовали перед Севером, не прожив тут и нескольких недель. И надо ли, можно ли разделять — физическое, моральное? Надо, но во всем и всегда ли?..

Двадцать пятого января прошлого года тринадцать человек — бригада Гены Пусенкова (он тридцать девятого года рождения, в школе его дразнили «Пусей») — первыми выехали по зимнику, по рекам Саксолох, Марха, Далдын, из «Айхала» на «Удачную». Мороз был пятьдесят восемь градусов. Ехали на автобусе. («А больше он на нас ехал, — рассказывает Гена. — Автобус-то широкий, дорога узкая, по краям сугробы по пояс, а тут еще — метель...»)

Добирались сутки, хотя и всего-то расстояния — двести тридцать километров. В последние часы, чтобы не замерзнуть совсем, устроили шутовскую потасовку в автобусе — толкались, боролись. («Так меня наторкали, что утром мышцы болели — руки не поднять.») Им обещали удобное жилье, но оказалось, что во всех домиках геологов, недавно отремонтированных другой организацией, не утеплены подполья. («Ужасное это дело, когда никак не можешь отогреться. А ведь полтора месяца подряд — верите, нет? — мы градусника не видели. Ну, не градусника, а ртути: упала она за нижнее деление и так и не показывалась. Я уж потом и смотреть перестал.»)

Ребята перестилали полы для себя и в других домах — для будущих новоселов. Но днем ли, ночью — главным было другое: разгружать автомашины. Заправки на «Удачной» не было, шоферы тут не отдыхали, и, чтобы не разморозить мотор, не жечь понапрасну горючее, им тут же надо было идти в обратный рейс. («И хоть перед тем сутки-двое не спал, все равно лежишь — одним ухом слушаешь: не загудит ли мотор. Загудел — все без слов поднимаются, ныряешь в темень, в мороз, в снег, как в воду. Зимой тут всегда темно...»)

Грузы — цемент, металл, Орус, доски, бензин, оборудование — шли беспрерывно. На «Удачную» были брошены почти все бортовые машины Айхальского рудника и большая часть автобазы дальнорейсовиков комбината «Якуталмаз». Из бывшей Мухтуи на Лене (ныне — Ленек) четыреста километров до Мирного, еще семьсот — до «Айхала» плюс еще двести тридцать до «Удачной» — в любую погоду, в любое время суток, дальше, дальше, к Полярному кругу!

На трассе через каждые сорок километров — пикет, где дежурит трактор или бульдозер, а, кроме того, несколько автопунктов с маленькими мастерскими, гостиничками для шоферов. Но редко когда они отдыхали в пути.

Я знаю эту власть трассы. Издалека сквозь белую заметь, туман мелькнет огонек избы, и еще бездомней засвистит ветер за стеклами кабины, мотор будто притихнет, и слышно станет, как резко скрипит сыпучий снег под колесами. Последний километр растянется в вечность...

Наконец остановка. Ты выскакиваешь из машины, на ходу что-то крикнешь дежурному «прогревальщику». Сквозь терпкий запах бензина мгновенно услышишь — нет, не услышишь, а почувствуешь губами, лицом — вкус уюта, жилья. Распахнешь дверь гостинички. А там — сонная хозяйка (они даже днем сонные), там чай — чифирек, и можно наконец вытянуть ноги, посидеть недвижно и лениво ответить на чей-то вопрос. Твif даже позволишь себе лечь на койку и задремать и снова увидеть, как наяву, пляшущую в зареве фар и все ускользящую вбок колею дороги. Но крепко заснуть не сможешь. Будешь слышать, как, взревев, опять притих мотор под окном (он покажется живым и усталым) и как мимо тебя — одна за другой, одна за другой! — идут, идут машины, клацающая стойками прицепов в колдобинах, шурша ветром... Одна за другой, дальше, дальше... И вдруг появится чувство, что ты выбился из строя, отстал.

Моторы ревут под окном, их гул, удаляясь, становится все тоньше, призывней. И уже нет, как не было, сна. Ты встаешь и, наскоро поплескав в лицо водой из неуклюжего рукомойника, едешь во тьму, которая вдруг становится ближе, домашней, чем случайный уют автопункта.

«Вот доберусь до конца — тогда отдых...»

Многое можно было бы рассказать о таких шоферах, как Виктор Александров, Володя Мяконький, Геннадий Иванов, об их товарищах. О том, как сутками в слепую пургу отсиживались где-то посреди мари, и даже трактор не мог к ним пробиться, как проваливались с грузом под взорвавшуюся от мороза наледь, как вытаскивали друг друга на крутизне — тело упало на руль, напряглось, будто не мотор тащит машину, а ты сам тянешь ее бечевой... Можно было бы вспомнить множество подробностей о последнем, самом героическом рейсе колонны «МАЗов». Реки тогда начали вскрываться, а на «Удачную» еще надо было забросить сотни тонн железобетонных свай, металла, оборудования. И вот, загрузив весь свободный транспорт — даже «четвертаки» (двадцатипятитонные «МАЗы», которым впору ходить лишь по асфальту), шоферы двинулись не по зимнику, а прямо через тайгу, круша на пути худосочные листовенницы, форсируя вброд — вода гуляет по полу кабины — вспучившиеся ручьи, речушки, благо, что снег в тайге успел осесть, а мерзлота еще не начала таять... Несколько машин не добралось до цели, их вывозили потом вертолетами. Мне рассказывал очевидец:

— На тракторе добрались до одной такой. А подойти вплотную — никак: вода поверх кузова хлещет, шофер па кабине сидит. Плыть к нам страшно: река бушует, льдины еще несутся. Кричит: «Хоть булку хлеба киньте!» А как ее кинешь? Расстояние — метров

двадцать. Кидали — и все мимо. «Жлобы, — кричит, — хоть курево не утопите!» Курево тоже утопили... Ну, кое-как его выудили...

Можно было бы рассказать еще о том, как весь февраль и март Алексей Иванович Гловяк провел на одном из сибирских заводов. Там, к удаче алмазников, — помогло чужое несчастье — были забракованы заказчиком два железных понтонных моста: не «стыковались» пролеты. Но фермы их могли пригодиться фабрике на «Удачной». И вот все это время Гловяк кроил железо, как того требовала необходимость, и не только железо, — проекты, если они не соответствовали имеющимся под рукой материалам. Важно было выиграть время, важно было отправлять на «Удачную» только такие конструкции, которые тут же могли пойти в дело.

Только поэтому на стройплощадке бригада монтажников Коли Бадаляна могла работать круглые сутки, во все дни, даже когда мороз переваливал за пятьдесят.

Бог мой, и Колю Бадаляна я встретил здесь! Впервые мы увиделись семь лет назад. Тогда Колю, полуграмотного парнишку, в прошлом портного, только что назначили бригадиром лесорубов. С тех пор чего он только не повидал!.. О нем, как и о многих других, стоило бы написать отдельный очерк или даже повесть — я хочу непременно сделать это...

Но пока хватит имен, хватит подробностей быта. Пока мне хочется просто подумать об этих людях, ответить на свой вопрос: где, в чем они нашли силы свершить такое?..

Это случилось при мне. Бригаде Гены Пусенкова дали задание — к двадцатому июня забетонировать нижнее перекрытие фабрики. Объем работ тут большой. Но монтажники ушли с площадки только утром... двадцатого июня. Никто ни о чем не просил Геннадия. Он сам съездил в общежитие, привез на фабрику только что вернувшуюся ночную смену, собрал всю бригаду. Ребята решили: не уходить, пока задание не будет выполнено.

Надо было видеть, как они работали! Жарко, рубахи сброшены, жжет гнус, на него не обращают внимания, — руки к вибраторам, люди тащат носилки, бегом, не разгибаясь ни на секунду...

Мне вспомнился один случай из моей жизни. Я тогда работал бетонщиком на Нурекской ГЭС. Долгое время бригаду нашу держали, что называется, на затычках: то выложить камнем бордюрик у тротуара, то подсыпать вручную землю на танцплощадку, то еще какая-нибудь зряшная, пустячная работа. Мы бездельничали. Через пять минут — перекуры и треп такой, что уши вянут. Казалось, все неизменное, что только может быть в человеке, всколыхнулось вдруг в душах парней, и теперь они ни на что не годны, не способны.

Но вот землекопы вырыли котлован, и нам надо было ставить в нем фундамент дизельной электростанции. Энергии в городе не хватало, и вся стройка следила за нами. Ох, и горячие были денечки!

Солнце растаяло в небе, плывет над горами, занимая, кажется, полнеба, а на дне котлована оно совсем безжалостно — в воздухе ни малейшего движения, пекло. Только спустишься туда — и мгновенно тело покрывается даже не потом, а клейкой испариной.

Работа бетонщиков трудная и тогда, когда к месту укладки приходит готовый бетон. Но нам нужно делать его самим. Над котлованом на деревянной эстакаде стоит старенькая, похожая на большой самовар бетономешалка. Быстро, лопата за лопатой, носилки за носилками, накладываем в ее приемник гравий, цемент. Быстро, насколько позволяет скорость подъемника, засыпаем смесь в барабан и, пока в нем масса воды, гравия, цемента превращается в бетон, успеваем насыпать в приемник новую порцию. И весь ритм работы построен так, чтобы приемник этот не пустовал ни секунды. И так без конца. Перед глазами гладкие валуны, которые мы отбрасываем в стороны руками, отшлифованные до зеркальной чистоты штыки лопат, струйкая масса цемента. Пот падает вниз, на камни, и лежит на них темными рябинами, не успевая высыхать на палящем солнце.

Нестерпимо тянет тебя к земле и хочется — ну хоть на минуту! — опереться на черенок лопаты, от которого полыхают ладони. Но это только тогда, когда даешь волю

чувству слабости, когда выключишься из ритма. Но вдруг — взгляд мельком из-под бровей на товарища, который, не разгибаясь, кидает и кидает говорливый тяжелый камешник, и соль, словно мохнатый иней, выступает на его рубашке, — и ты снова стараешься уловить такт этой необыкновенно духоподъемной, азартной, мужественной музыки труда, и опять мелькает, мелькает в твоих руках лопата, гремит бетон по желобу, с теплым чавкающим звуком падает в котлован. Там работать еще тяжелей. С утра было в тени тридцать четыре, к полудню ртуть подтягивается до сорока, но какая температура в котловане, никто не знает. Там надо ходить-ходить кругами, с трудом вытягивая резиновые сапоги из бетона, и «лопатить-лопатить» его тяжеленными трамбовками, сшибая кожу на руках и плечах о железные арматурины...

Я не узнавал бригады. Куда делась прежняя лень, апатия, безразличие ко всему. Яростный труд сделал людей другими. Разговоры теперь — о самом заветном, и застенчивая нежность в отношениях друг с другом, и помощь слабому, и добрая шутка.

И так — неделя, вторая, третья...

Тогда впервые я понял великую силу этого чувства — насущной необходимости твоего труда. Оно поднимает к высотам людей самых рядовых, обыкновеннейших. Да, и обыкновеннейших, таких вот, как тот же Гена Пусенков. Младший сын в большой семье инвалида-шахтера, в меру, как и все мы, шкодивший в школе, а позже даже отсидевший за воровство в колониях, здесь, на «Удачной», он стал одним из лучших рабочих.

...Они кончили бетонировать перекрытие поздней вечером. За два часа до того двое ребят из бригады уехали в поселок — жарить шашлыки. А потом в одной из комнат устроили из досок лавки, и был ужин, гитара, песни о Севере, о молодости, о дерзаниях сильных.

Сильные люди... Уже стало штампом вспоминать о них, когда пишешь о Севере. Мол, только такие здесь и живут. И я встретил множество рабочих, инженеров, которые, начитавшись подобной литературы, бежали сюда, бежали от своей слабости, ран, неурядиц: Север-де от всего вылечит.

Это не так. Слабых Север гнет еще ниже, к самой земле. Не зря так встревожил меня ночной разговор с моим давним другом-строителем, не зря. Здесь чаще, чем где бы то ни было, можно столкнуться с людьми, духовно опустошенными начисто: или пустопорожний цинизм, или же так, нечто пресмыкающееся... Но на «Удачной» таких нет. Таких просто не пускали сюда. И именно поэтому для работавших здесь мерилом всего было не собственное «я», не собственные претензии (помните позицию Кадзова, Гловяка, Кудрина?), а нечто иное.

Прощаясь, я спросил у Пусенкова:

— Гена, постройте фабрику, а дальше что?

— Дальше?.. Ходят слухи, будут осваивать новое месторождение далеко за Полярным кругом, где-то у моря Лаптевых. Представляете? У Ледовитого океана! Вот бы туда попасть...

— Зачем?

— Ну как же! — Он даже обиделся. — Дело-то нужное. А мы уж многому научились здесь, кому ж туда ехать, если не нам?..

В. В. Кованов,

профессор, действительный член Академии медицинских наук СССР

УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА...

Когда-то в томике стихов Евгения Винокурова мьяв встретились и врезались в память слова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться...» Отличные слова, и стихи хорошие. Я по профессии медик, с медициной связана вся моя жизнь. Для меня проблема «воспитай ученика» имеет первостепенную важность, особенно когда дело

касается молодежи. В конечном счете все в наших поисках, творчестве, буднях и праздниках неразрывно связано с тем, как мы, люди старшего и среднего поколений, воспитываем и готовим, смену, каковы наши взаимоотношения с молодыми, о чем и как мы спорим, в чем мы различны и в чем едины.

Вот мне и захотелось, не давая никаких практических рецептов, просто поделиться некоторыми своими наблюдениями, связанными с воспитанием молодых медиков.

Я отнюдь не претендую на «вселенский охват», но сталкиваться с этой вечно актуальной проблемой мне приходилось и тогда, когда я сам едва-едва начинал свой путь в медицине, и в дни, когда был ректором Первого московского медицинского института имени Сеченова (I МОЛМИ), и сейчас, когда руковожу в этом же институте кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии.

«Учитель, воспитай ученика...» Я ограничусь первой половиной винокуровской строки. Вторая часть — тема для особого разговора.

А сейчас... Позвольте привести еще одно высказывание, с моей точки зрения, очень точное. Принадлежит оно выдающемуся советскому пианисту и педагогу Генриху Густавовичу Нейгаузу: «Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты... Чем больше, шире и демократичнее культура, тем чаще появление таланта и гения...» Высказывание это привлекло меня не «проблемой гения», а «проблемой почвы», на которой вырастают умные, серьезные молодые кадры.

Мы давно уже привыкли к тому, что существует «школа Нейгауза», «школа Ойстраха», «школа Станиславского», — продолжу: школа Вишневского, Бурденко... Мне как раз посчастливилось пройти школу замечательного русского хирурга, основателя нейрохирургии и выдающегося военно-полевого хирурга — Николая Ниловича Бурденко. Посчастливилось почувствовать на собственном практическом опыте силу его таланта, авторитета, обаяния, опыта. Все это, вместе взятое, и было той благодатной почвой, которая вызывала и при жизни Бурденко и после его кончины появление многих талантов.

Некоторые считают, что едва ли не основное в подготовке врача — это максимальная передача ему комплекса самых разнообразных профессиональных знаний, по возможности так, чтобы будущий врач был готов ко всем превратностям судьбы в своей практике, чтобы он был, попросту говоря, во всеоружии. Кое-кто называет такой процесс натаскиванием. Слово это мне не нравится, да и не выражает оно сути медицинской педагогики (можно поспорить и о его целесообразности во многих, если не всех, областях педагогики вообще). Конечно, роль профессиональных знаний и навыков очень велика в любом деле, но их приобретение не должно иметь ничего общего с бездумным и бездушным натаскиванием.

Не только владеть знаниями, но любить человека безраздельно, отдавать ему все силы, знания, опыт (в противном случае нельзя стать настоящим врачом) — этого прежде всего требовали от своих учеников и Бурденко, и Петр Александрович Герцен, и Максим Петрович Кончаловский, и многие другие выдающиеся русские медики, с которыми мне посчастливилось встречаться, учиться у них и работать с ними.

Комплекс знаний и навыков — это само собой разумеется. Без этого вообще нельзя успешно работать где бы то ни было. Но Бурденко, Герцен, Кончаловский не были бы самими собой, если бы основывали свою педагогическую и экспериментально-клиническую практику на натаскивании своих учеников. Внимание, которое они уделяли чисто моральному, психологическому фактору в воспитании, трудно переоценить.

Помнится, был у нас в клинике Бурденко один аспирант, звали его Сашей. Человек он был талантливый, но в полном смысле слова сырой. Эдакий ярко выраженный сангвиник, не желающий и не умеющий обуздать свой неукротимый темперамент, сконцентрировать свои усилия на чем-то одном, определенном. Он разбрасывался в своих научных увлечениях и экспериментах, был недостаточно внимателен к больным, неорганизован в работе. И Бурденко и весь коллектив клиники (а был этот коллектив на редкость дружным, цельным)

маялись с Сашей отчаянно. Сколько раз ему повторяли: «Конечно, истина «Семь раз отмерь — один отрежь» мудрая и следовать ей необходимо, но нельзя же, усвоив лишь первую ее половину, напрочь забывать о второй и скакать, как кузнечик, с одного вопроса на другой!..» В медицине такое скакание особенно недопустимо. Профессия врача обязывает быть сосредоточенным. Иначе больной не поверит тебе. А без доверия пациента к врачу и самая блестящая хирургия бывает бессильной...

И вот однажды, когда терпение многих было уже на пределе, нашего Сашу словно подменили. Врывается он в ассистентскую необычайно взволнованный. «В чем дело?» — спрашиваем его. Отвечает не сразу. Оказывается, только что встретил его в коридоре Бурденко и с непривычной даже для его импульсивной природы экспансивностью закричал Саше: «Если еще раз увижу тебя слоняющимся без дела, я тебя возненавижу!..»

Именно «возненавижу», а не «приму решительные административные меры». Именно «возненавижу», а не «объявлю выговор или выгоню из клиники...». И что же? Подействовало, да как!..

Бурденко был абсолютно уверен в том, что совсем не обязательно воздействовать на человека только «сильными» средствами, — можно (и нужно!) апеллировать к его совести. И Николай Нилович обладал этим редким талантом — воспитывать врачей не только на лекциях или в операционных, но и у постели больного (во время обычного утреннего обхода) и простым разговором, подчас не имеющим ничего общего с медициной.

То, к чему стремился Бурденко, можно было бы назвать «гармоническим развитием личности», выявлением всех лучших качеств человека. И, может быть, прежде чем стать его учеником, надо было сдать своеобразный «экзамен на человека», на потенциального врача, для которого медицина — единственное и бесспорное призвание.

Отправной пункт здесь — любовь к человеку, гуманность в самом высоком и полном смысле этого слова.

Всем ли это удавалось? Наверное, не всем и не до конца. Но все, кто приходил к Николаю Ниловичу, попадали во власть этой сильной и, я сказал бы, страстно-человеколюбивой индивидуальности. Работать с ним было нелегко. Он был требователен, сложен, подчас резок. И вместе с тем беспредельно доброжелателен и постоянно движим желанием найти в каждом, совсем еще «зелененьком» студенте-медике то, что впоследствии сделает его настоящим врачом-подвижником и энтузиастом.

Методы? Нет, ни он, ни его ученики не могли бы в точности, по пунктикам назвать эти педагогические методы Бурденко. Как мне кажется, главным в них было стремление дать человеку раскрыться самостоятельно, найти свой собственный почерк. Доверяя молодому врачу жизнь больного, он требовал от него очень многого и давал ему очень многое, прежде чем врач один на один оказывался перед больным, лежащим на операционном столе. Он не торопился никогда: формирование врача — процесс медленный. Но в клинике Бурденко этот процесс не сводился к элементарному накоплению знаний и навыков. Будущий хирург самой атмосферой клиники вовлекался в борьбу за жизнь человека. Он не оставался пассивным созерцателем. Не только наблюдение за больными в палате, но и непосредственное участие в сложнейших операциях, проводимых Бурденко, предлагалось ему сразу же.

Пробуй, пробуй сам! Не забывай великую истину: от простого к сложному. А самостоятельно приступай к операции тогда, когда сумеешь не только ДЕЛАТЬ ее, но и ВЫХАЖИВАТЬ больного, чутко реагируя на смену его состояний, настроений, — таков был метод Бурденко.

Николай Нилович не разделял приходивших к нему в клинику молодых медиков на теоретиков и практиков в чистом виде. Он считал, что без практики и теоретик не раскроет своих возможностей полностью. Теоретиков, впрочем, любил. Когда к нему приходили ученики, в которых он тотчас чувствовал склонность к размышлениям, обобщениям, анализу, он стремился развить эти ценные качества, не ограничиваясь только техническими навыками (помню, так быстро Бурденко разглядел теоретический талант тогда еще совсем



юного В. Угрюмова; сейчас он руководит Ленинградским институтом нейрохирургии). Но, любя теоретиков, Бурденко внешне не проявлял к кому бы то ни было особого благоволения. В коллективе все равны, в коллективе нет звезд.

Каждый из его учеников знал: мало постичь хирургическую технику, надо ДУМАТЬ. А если ты и склонен больше всего к теоретической работе, все равно она немислима вне определенных технических навыков.

Несколько иными были педагогические методы Петра Александровича Герцена. В отличие от Бурденко, стремившегося предельно развивать в своих учениках самостоятельность, Герцен учил в основном на своих собственных операциях. А операции его — на желудочно-кишечном тракте, на кровеносных сосудах — были настоящими шедеврами. Не говоря уже о том, как велико было их значение в области хирургии раковых заболеваний (недаром именем Герцена назван крупнейший онкологический научно-исследовательский институт в Москве). Герцен любил, чтобы его операции смотрели студенты. Просто смотрели, даже не принимая в них непосредственного участия. Но то, что наблюдали мы на операциях Петра Александровича, было большой и нужной школой, давало нам многое.

Он поражал не только быстротой и тщательностью операций, но и красотой их исполнения. Герцен любил повторять нам, что оперативное вмешательство — это своеобразная травма, наносимая хирургом больному. Конечно, она оправданна, а в ряде случаев представляет единственный путь к спасению человека. Но, как., и при всякой другой травме, хирург должен стремиться к тому, чтобы она не наносила больному больше ущерба, чем само заболевание. Отсюда естественный вывод: чем меньше больной находится под наркозом, чем меньше лежит на столе, тем лучше для пациента. Поэтому операцию надо проводить в минимально короткое время, а, следовательно, техника, мастерство хирурга должны быть предельно отточены. Этому Герцен учил нас.

Тем, кто наблюдал за ним со стороны, казалось, что в любой его операции не было никаких трудных моментов и критических ситуаций. Обычно разговорчивый, Петр Александрович не прекращал беседы с учениками и во время операций. Подчас он даже обращался к нам: «Видите, как все просто?..» На самом же деле, конечно, все было не просто.

А бывало, что Герцен оперировал молча, и лишь произнесенное им в конце операции слово «интересно!» указывало на то, сколь трудным было только что совершенное хирургом. Слово «интересно!» Герцен произносил редко, особенно в операционной, и произносил тогда, когда непосредственная опасность была устранена...

Продемонстрировав ту или иную операцию, Герцен затем шел в секционную и предлагал студентам повторить только что показанное им. Он учил таким образом долго и настойчиво, и эта форма обучения молодых медиков была, бесспорно, эффективной. Мне, правда, было больше по душе то, как учил Бурденко. Может быть, дело тут еще и в том, что я неоднократно пробовал копировать операции Герцена, и у меня это не получалось. Впрочем, было бы несправедливо не заметить, что Петр Александрович, опираясь в своем преподавании на пример собственных операций, не препятствовал выявлению самостоятельности у учеников. Ведь именно так, опираясь на принципы Герцена, но вырабатывая собственный почерк, пришли в большую хирургию многие его ученики, в том числе выдающийся ученый-хирург нашего времени Борис Васильевич Петровский.

Жажда творчества — вот что прежде всего объединяло таких разных педагогов, как Бурденко и Герцен. Вот что прежде всего захватывало и нас, тогда совсем еще молодых медиков.

Вот, например, как рождались диссертации в клинике Николая Ниловича. С ними тоже связаны основные педагогические принципы Бурденко: главное — соответствие возможностей аспиранта и поставленной перед ним задачи. Развить в человеке качества,

необходимые для исследователя. Это — непереносимое требование Николая Ниловича. Если, скажем, в его клинику приходил человек пусть молодой, но уже обладающий известным опытом и предлагающий свою тему, Бурденко обычно включал эту тему в план научной работы клиники.

Иначе обстояло с новичками, только вступающими в медицинскую науку. Доверять — это не значит сразу же поручать такому новичку объемную, сложную проблему. Сначала предлагалась задача довольно простая. Новичок начинал работать над ней, а Бурденко внимательно следил: каков он? Как выполняет порученное? Нужно его как-либо подтолкнуть или же, наоборот, кое в чем сдерживать его пыл? Может ли этот новичок решать сложные вопросы самостоятельно или нужна непосредственная помощь его руководителя? Так, помнится, с простой задачи начинал свою научную деятельность Иван Минаевич Попаян, недавно скончавшийся ученый, умелый воспитатель научной медицинской молодежи.

Люди в коллективе были разные, с разными наклонностями, способностями и характерами. К каждому Бурденко находил особый подход. Были и «скакуны» (помните пример с Сашей, о котором я рассказывал уже?). Были и фантазеры, витающие в облаках, а были и фантазеры, твердо стоящие на земле. Каждому Николай Нилович старался как можно быстрее (но не торопясь!) определить место, помочь «найти себя».

Психологический момент и здесь играл огромную роль. Конечно, было совсем неплохо, когда новичок обстоятельно, добросовестно выполнял работу «от сих до сих», но это устраивало Бурденко лишь на первых порах. Заставить будущего ученого мыслить самостоятельно, подчас мучительно, думать не только о своей, отдельно взятой работе, но и о работе коллектива клиники в целом — вот главное. Трудно переоценить его отношение к коллективу и формированию чувства товарищества. Никакой разобщенности — все работают вместе, хотя тема у каждого своя. Таким образом рос каждый ученый, и вместе с тем рос весь коллектив.

Но вернемся к диссертациям. Итак, от простого к сложному: и в операции и в диссертации. Если проба проходила успешно, тема работы углублялась, приобретала новые, совсем неожиданные аспекты. Аспирант уже и сам мог предложить шефу сложный поворот темы — и шеф, как правило, не мешал ему. Но это в пределах плановых тем клиники. А были еще и внеплановые. С ними больше всего были связаны «фантазеры».

Эти внеплановые темы были как бы в заделе. Исследования по ним шли подспудно — в лаборатории, клинике. Официально они не фигурировали в отчетах. Они выносились на поверхность, становились плановыми лишь тогда, когда «подспудные» эксперименты давали интересные результаты. Любая проблема, поначалу казавшаяся «безумной», но представляющая практическую ценность, имела право на испытание.

В одних случаях результаты были положительными, в других — отрицательными. Это закономерно. Но риск (особенно в эксперименте) — благородное дело. Помнится, из одной «безумной» темы родилось усовершенствование масок для наркоза. Другая — сблизила еще на шаг медицину с биохимией.

Вот как было дело. В клинику пришла Лидия Смирнова — молодой биохимик. Казалось бы, зачем ей работать в коллективе, занятом в основном вопросами практической хирургии? Однако Бурденко прекрасно понимал, как нужна хирургам помощь биохимии, — ведь в клинической практике эта наука может очень многое дать и в диагностике, и в патологии, и в физиологии. Не случайно Бурденко говорил о том, что каждая операция — своего рода физиологический эксперимент, ставящийся в силу условий на человеке. Теперь никто не берет под сомнение аксиому: операция есть научное исследование с участием многих специалистов, представляющих самые разные аспекты науки вообще и медицинской в частности. Тогда же, в конце двадцатых — начале тридцатых годов, эта аксиома еще только зарождалась и на пороге дифференцирования в медицине стоял Николай Нилович Бурденко. Он лично разрабатывал сложнейший из существующих в современной хирургии аспектов — операции на головном мозге. И в нейрохирургии и в хирургии вообще

требовались и требуется сегодня активная помощь, активное вторжение смежных наук. В том числе и биохимии. Потому-то приветствовал Бурденко приход в его клинику ученых-биологов и много сделавшей впоследствии для практической медицины Лидии Смирновой.

Для тех, кто сам теперь воспитывает молодых медиков, и для меня лично пример Николая Ниловича — единственный в своем роде, бесценный: как надо работать с коллективом, чтобы вес были захвачены своей работой, чтобы чувство ответственности за доверенное тебе дело спасения человека было главной целью твоей жизни. Безраздельно. До конца.

Разумеется, те же требования должно предъявлять и к воспитанию в любой области. И здесь можно привести массу примеров, хотя бы художника Крамского — учителя великого Репина. Ему-то и принадлежат слова о необходимости развить в ученике то, что отличает его от учителя, дать волю «свободному высказыванию» творческой индивидуальности и не навязывать мнение учителя как единственно правильное и окончательное.

И все-таки как важны, особенно в начале самостоятельного пути, помощь или совет учителя!

Не успел я вернуться с войны, Бурденко вызвал меня к себе и предложил немедленно заняться докторской диссертацией. Это было в 45-м году. Николай Нилович был уже тяжело болен. Он перенес не один инсульт, с трудом передвигался, совсем потерял слух, говорил невнятно — мог изъясняться только на бумаге. Но он не желал смириться перед болезнью, не желал расстаться со своей научной и педагогической работой. Я тогда протокольно записал его наставления и советы — с чего следует начать экспери-, менты, что и как следует делать.

Бурденко торопил меня. Проблему он поставил передо мной сложную и острую. Я боялся, что не справлюсь с ней: речь шла о глубокой тканевой антисептике, применяемой в лечении гнойно-воспалительных заболеваний посредством введения лекарственных веществ в артериальное русло.

«Хоть бы часть выполнил!» — говорил Николай Нилович в ответ на все мои сомнения. Он давал мне дельные советы, подбирал необходимую литературу и справки. Только благодаря его помощи мне удалось довольно быстро закончить начатую в военные годы диссертацию. Это была последняя докторская диссертация, которой руководил Бурденко. В 46-м году, вскоре после моей защиты, он умер.

Почему я рассказываю сейчас об этом? Чтобы еще раз подчеркнуть, как глубоко, взволнованно и озабоченно относился Николай Нилович к вопросу воспитания молодых медиков.

Вспоминается мне и профессор М. П. Кончаловский, который, в частности, отводил огромную роль в учебном процессе институтским лекциям. Студенты (не только медики) часто ставят вопрос об их свободном посещении. Но никакие учебники, мне кажется, не могут заменить живого слова специалиста-ученого. Не случайно вопрос о том, как лучше строить и проводить лекцию, мы постоянно обсуждаем на ученых советах, ищем и разрабатываем новые формы. Вот сейчас, скажем, все шире вводятся в практику медицинских институтов так называемые комплексные лекции. Например, лекцию «Ревматизм. Современное состояние вопроса» (в курсе клинических дисциплин) часто читают вместе терапевт, патологоанатом и рентгенолог. В результате сложное заболевание освещается глубоко и всесторонне. В ряде случаев к чтению лекций привлекаются и аспиранты (первые опыты в этом плане как раз и принадлежат Максиму Петровичу Кончаловскому); конечно, каждому участию аспиранта в чтении лекции предшествует специальная подробная консультация его научного руководителя.

Чтобы стать врачом, студент должен сдать 98 зачетов и 50 экзаменов (таков полный курс медицинского института). Немало. Но сдать их успешно — это не все. Экзамена на «любовь к человеку» учебными программами не предусмотрено. Экзамена на дерзание,

поиск, эксперимент — тоже. Существует много «моральных» экзаменов, за которые не ставят оценок, но на которые дает ответ сама жизнь, собственная практика врача. И сдать эти экзамены необходимо. Причем оценка «посредственно» неприемлема. Трудно? Очень трудно. Но необходимо. Наверное, меня можно обвинить в максимализме. Но я уверен, что такой максимализм необходим. Ему учил нас и Бурденко. И «бродильные идеи» тоже необходимы в каждом деле, и элемент риска необходим.

Расскажу в заключение о трех таких «бродильных идеях», с которыми мне и коллективу Первого МОЛМИ пришлось столкнуться непосредственно. В 1949 году к нам на кафедру пришел молодой инженер Федор Гудов. Он разложил перед нами чертежи неведомого прибора, при помощи которого намеревался соединять любые мельчайшие сосуды. Предложение Гудова казалось абсолютной химерой, но инженер подкупал нас непосредственностью и убежденностью в правоте своего замысла. Решили рискнуть. Создали специальное конструкторское бюро, и работа началась. В результате был создан уникальный сосудосшивательный аппарат, изумительно тонкий, технически совершенный. Он дал возможность сшивать мельчайшие сосуды в операциях на бронхах, в кишечнике, желудке, разных протоках. Причем, если раньше на сшивание кровеносных сосудов уходило около часа, то аппарат Гудова позволяет делать это в три-четыре минуты. За границей этот аппарат называли «советским спутником в медицине». Сейчас он используется во всех областях хирургии. Так что эксперимент вполне оправдал себя.

Другой случай. Он связан прежде всего с деятельностью многочисленных научных кружков в Первом медицинском институте. По 4 — 5 лет будущие врачи работают в кружках НСО при кафедрах, и некоторые из них приходят в аспирантуру с почти готовыми диссертациями. Так было и с Глебом Соловьевым. Помню, после лекции о сосудосшивательных аппаратах и перспективах их развития ко мне подошел студент-третьекурсник и спросил: «Стоит ли заниматься проблемой ручного шва на кровеносных сосудах, или это уже не актуально?» Я ответил, что хороший ручной шов не конкурент механическому. «А можно улучшить способ ручного шва?» — продолжал студент. «Думаю, что можно. Пробуйте. Предлагайте!..» «Я предложу», — сказал Глеб. В течение двух лет Соловьев увлеченно работал в избранной им проблеме. В аспирантуру он пришел со своей темой и прекрасно защитил ее в 1955 году. Его оригинальный «круговой шов кровеносных сосудов» широко используется сейчас в хирургической практике. А Г. Соловьев, работая в клинике Б. В. Петровского, сам руководит сегодня воспитанием медиков и успешно разрабатывает проблему искусственного кровообращения на «сухом», выключенном сердце. Он становится, бесспорно, одним из крупнейших советских специалистов в области хирургического лечения врожденных и приобретенных пороков сердца. А начиналось это, как видите, с, казалось бы, «ненужной»

идеи: стоит ли усовершенствовать ручной шов, если есть механический?..

И последний случай. Совсем недавний. Молодой практикующий врач из Молдавии В. Развадовский (было ему тогда около двадцати пяти лет) обратился на нашу кафедру с дерзким предложением: разработать новый, оригинальный метод для закрытия дефектов черепа при нейрохирургических операциях. Позиции-то у него правильные, но методы его теоретически обосновать было почти невозможно. Откровенно говоря, не очень верилось в возможность реализовать это предложение, хотя ценность его в случае успеха была огромна. «Ну, что ж, давайте проверим в эксперименте! — сказали Развадовскому. — Выйдет — будете у нас аспирантом...» Пока шли опыты, я внимательно следил за тем, что делает молодой врач. Сомнения не оставляли многих работников кафедры, в том числе и меня. Не оставляли до тех пор, когда Развадовский буквально ошеломил нас всех, впервые получив поразительные результаты в обработке черепной кости слабым раствором формалина: «чужая» кость вживалась в череп собаки.

Доклад Развадовского в Институте травматологии и ортопедии вызвал большой интерес и одобрение крупных специалистов. Молодой экспериментатор оказался прав.

Недавно он с блеском защитил диссертацию, и ему предложили остаться в I МОЛМИ для исследовательской и педагогической работы.

И вот еще что хочется сказать в связи с Развадовский.

К сожалению, способным молодым ученым-медикам (а Развадовский, бесспорно, способный), чтобы развернуться в полную силу, приходится ехать в Москву или другие крупные центры. Кстати заметить, в технических науках этой проблемы уже нет. В медицине же — увы... Почему? Потому что на клинических кафедрах периферии острый голод на преподавателей, молодой профессуры нет вообще. Значит, заботиться о выдвижении молодых медиков на командные высоты нужно так, чтобы не было в центре переизбытка преподавателей высшей квалификации, чтобы они охотно ехали работать и за пределы столицы. Они там очень нужны. Едут же, к сожалению, не многие. А в результате — «ножницы»: в Москве, Ленинграде, Киеве — перебор кадров, а чуть подале — днем с огнем молодого профессора не найдешь... Вряд ли можно относиться к этому с олимпийским спокойствием. Вот почему мы, старшее поколение Первого МОЛМИ, и стремимся, чтобы наши ученики — молодые ассистенты и профессора — ехали работать туда, где они необходимы. Потому-то, когда, получая дипломы об окончании Института, наши бывшие студенты произносят клятву Гиппократу, мы, их педагоги, с волнением думаем о том, все ли мы сделали для этих молодых врачей, что еще мы можем для них сделать, что сделают они сами в своей самостоятельной медицинской практике.

...Мне снова и снова приходят на память справедливые и, я бы сказал, программные строки Евгения Винокурова: «Учитель, воспитай ученика...»

## СОЧИНЕНИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ

Николай Булгаков

### ОТ ДОМА ДО ШКОЛЫ

Как-то осенью в «Юность» зашел паренек, отрекомендовавшийся учеником десятого класса. — Почему о школьниках, — спросил он, — и о разных юношеских проблемах у вас пишут журналисты, педагоги, социологи — короче говоря, кто угодно, но только не сами ребята, которых прежде всего эти проблемы-то и касаются?

— Ну, это не совсем так, — возразили ему. — Взять хотя бы рубрику «Почта «Юности». Под этой рубрикой мы публикуем письма наших читателей, и очень часто это мальчики и девочки со школьной скамьи.

— Письма письмами, — сказал паренек, — но в четырнадцать — шестнадцать лет мы способны на кое-что и поболее. Конечно, я говорю не о проблемном очерке, написанном по всем правилам литературного искусства.

Но порассуждать о своем житье-бытье, поразмышлять о том, что дает нам школа и чего она не дает, и как идут наши комсомольские дела, и о первой любви, да и мало ли еще о чем — это смог бы из нас едва ли не каждый. Ведь пишем же мы на уроках сочинения на вольную тему и иногда даже пятерки за них получаем...

Так мы решили завести в журнале новую рубрику — «Сочинение на вольную тему».

Открываем мы ее статьей Коли Булгакова, написанной тотчас после окончания им десятилетки.

Чем намерена руководствоваться редакция, отбирая для опубликования те или иные материалы наших читателей? Не столько их литературными качествами (поэтому пусть простит читатель огрехи стиля и неуклюжесть иных выражений), сколько искренностью и свежестью мысли, остротой и актуальностью поднятых вопросов. Можете писать о чем душе угодно, и если ваш дневник, исповедь или статья представят интерес не только для вас самих, они найдут место в нашем журнале под рубрикой «Сочинение на вольную тему».

Пишите, юные друзья, попытайте счастья в публицистике, чтобы не пустовала ваша новая трибуна в журнале, чтобы и педагоги и родители услышали ваш собственный голос и узнали ваше собственное мнение о том, как идут у вас дела.

Год-два назад нам было предложено написать на листочке, кто наш любимый учитель и какое мы вообще имеем по части школы и учителей мнение или предложение.

Это было ужасно трудно. Это была какая-то исповедь. Ведь если вспомнить, то ни до этого, ни после, за все десять лет, нам никто и никогда не предлагал критически помыслить об учителе. Ни разу. Просто с первого класса дело было поставлено так, что учитель всегда прав, иначе и быть не может, а следовательно, и никакой с нашей стороны критики, никаких осуждений. Откровенно говоря, меня этот тезис — учитель выше всяких обсуждений — просто смешил, настолько он вступал в противоречие с тем, что было на самом деле.

Нет, может ли быть критическое отношение ученика к педагогу или не может — вопрос, право, искусственный. Критического отношения к учителю не может не быть. Только он впервые входит в класс —

оно уже тут. Мы приглядываемся к учителю изо дня в день, и у каждого из нас к нему вырабатывается совершенно четкое отношение, по мере того как мы узнаем его характер и требования, колебания, настроения. И это происходит естественно, само собой, отдаем мы себе отчет в этом или нет.

А было у нашего класса за десять лет учителей около сорока. Хотя учитель, наверное, привык считать, что это нас сорок, а он один. В начальной школе за четыре года у нас несколько раз преподаватели сменялись. Естественно, все они люди были разные, а от одних этих перемен уже возникало у нас, малышей, сравнение и первый, начальный, так сказать, анализ.

Я и сейчас помню, что одна из учительниц требовала прежде всего успевать сделать упражнение по русскому, а другая всегда говорила, чтобы мы ни в коем случае не спешили: лучше не докончить, но написать красиво. Одна говорила, чтобы обязательно у каждого был синий карандаш для подчеркивания, а другая считала, что на это уходит много времени и надо подчеркивать прямо ручкой. Учитель, когда впервые входит в класс, который до него учил кто-то другой, как-то порой не думает о прошлом, а только о будущем: «Я не знаю, как вас там учили, но теперь будет так!» И, наверное, каждый учитель меньше всего думал о том, что у нас к большинству разнообразных вещей и явлений, в том числе и к самому себе, есть какое-то свое отношение. Во всяком случае, совсем не часто учитель давал нам почувствовать, что он считается и с нашим мнением.

А в старших классах может — хоть и не часто — возникать даже такая ситуация, что ученики занимают прямо противоположные с учителем позиции в отношении самых существенных жизненных вопросов. Тут уже порой возникает даже единое какое-то отношение всего класса к определенному учителю — особенно заметное, коли оно отрицательное. Идут разговоры, споры. И все это между собой, подспудно.

И вот я думаю: а разве обязательно надо скрывать наше к учителю отношение? Почему бы об этом не говорить в школе, вслух, всерьез, с обоюдной пользой для дела?

Я думаю, что о школе в самой школе говорят очень мало. И разговор этот в определенной степени сдерживается тем, что о главной фигуре — об учителе — говорить принято только в дни торжеств, имеющих к нему отношение. А этого мало.

А нам иногда было надо, иногда хотелось поговорить об учителе с учителем, поговорить о нем не только как о педагоге, но и как о человеке, с которым мы общаемся в годы школы больше всего и который воспитывает нас независимо от того, отводит он на это часы или нет... Потому что учитель — это человек, который помогает нам узнавать мир.

Узнавать мир... В школе мы только и делали, что узнавали. (Почему-то хочется сказать: «узнавали новое». Но ведь это бессмысленное сочетание. А что же еще — узнавать старое?) Помню, впервые я почувствовал, что в школе «узнаю новое», когда на уроке труда

в первом, что ли, классе нам показала учительница, как разделить лист бумаги на три равные части: сложить трубочкой, а потом разгладить...

Но вот в чем вопрос: познаем ли мы в школе окружающий нас реальный мир? Ведь именно школа — главные ворота в большой мир. Ей и готовить нас к нему. Даже не готовить, а уже прямо говорить про него. Дом, семья — это, скорей, мирок, чем мир. По дороге из дома в школу и обратно жизнь тоже не узнаешь: слишком близко школа от дома, чтобы за этот отрезок пути узнать мир как он есть.

А на уроках мы уже говорили о гипотенузе, и вымерших животных, и о дате «неудачного бегства короля»...

Мы ходили в школу через Минаевский рынок, и там продавались красные раки. А мы знали: и сколько у рака усов, и как он понимает равновесие, — но не знали одного: а что же в нем, собственно, есть-то можно?

Да, у слова «жизнь» есть два понятия: философски широкое, несколько отвлеченное — и обычное, житейское. Биология или физика относятся к первому, к общему понятию. Но они могут почти ничего не прибавить ко второму — к пониманию действительности.

Сейчас, оглядываясь на школу, я думаю о том, как много она мне дала и как много не дала. Мне кажется, слишком мало знать об этом мире, что он состоит из молекул, хотя это тоже важно и нужно, что и говорить. Этому нас научили. Но как мало рассказала нам школа о «прекрасном и яростном мире»!

Вот пришла к нам в школу новая такая и очень важная «дисциплина» — обществоведение. Я и не любил ее и любил. Не любил за какую-то рутинность, что ли, — я имею в виду то, как нам преподносили эту дисциплину, а не сам предмет. Но очень интересной мне показалась в обществоведении философия, с которой до этого мы не встречались. Через эту философию можно «мир ухватить». Уважение к обществоведению как к предмету возникало тогда, когда оно ближе к жизни подходило, иногда даже вплотную. И этим качеством обладало только обществоведение, такой вот уникальный предмет.

Как-то мы говорили на уроке о селедках. Ну, о селедках, которые попадают к нам на стол. Об их вылове, и географии их промысла, и сортах, и о потреблении. Вы знаете, с каким это прошло интересом!

Или зашла речь вдруг об импортных туфлях. А через них (через них!) — о легкой промышленности, об экономике, о реформе. Актуальнейшая оказалась тема. Были бы уроки обществоведения целиком на таких вещах построены, мы все в школу ходили бы, как в Политехнический музей на поэтические вечера. Ведь хочется, чтобы жизнь изучаемая была настоящей, иначе какая же она жизнь? Чтобы во всей сложности и без отговорок, без проволочек: «Еще, мол, узнаете...»

А каким образом возникали эти разговоры о селедках, о туфлях, об экономике? Не знай мы ничего об этом из жизни, они бы, эти беседы, и не возникли. А если бы и получился такой разговор (а он бы вряд ли получился — мы же его сами всколыхнули), сидели бы удивленные и таращили глаза. А тут мы спорили, мы имели свою точку зрения, потому что мы уже кое-что знали о жизни. И рассказал нам это немного о жизни тот небольшой отрезок пути, что лежит между домом и школой.

Да, вначале писал я об учителях, а потом заговорил о предмете преподавания. Вроде бы разбросался, вроде разные темы взял. А на самом деле они сливаются в одну. Потому что не существует предмета самого по себе, в отрыве от преподавателя, и получается, что каков учитель, таков и предмет. Тут наука сквозь человека проходит, и на нее ложится печать человека, и становится она такой же яркой, как он, или такой же бледной, как он.

Вы думаете, в учебнике есть что-нибудь про то, о чем мы так жарко говорили на обществоведении? Просто мы случайно затронули тему, а учитель поддержал нас и развил ее. А не случись так, мне сейчас было бы и нечего вспомнить об этом предмете...

В том-то и дело, что предмета как такового в школе нет, он в ней не живет. Может быть, он где-нибудь и хранится, как стоит в кабинете биологии старый демонстрационный

скелет со скрепленными медной проволокой костями (интересно, сколько раз за все годы ему вставляли в челюсти папироску?). Но не живет он, предмет, сам по себе. Предмет в нашем понимании — это прежде всего учитель, который его ведет.

У нас в школе был параллельно нашим классам математический класс. Мне один парень из него недавно рассказывал, что у них учительница когда-то говорила: «Только математически безграмотный человек бывает в чем-то совершенно уверен».

— И она, — продолжал этот парень, — к своим урокам готовилась, как к экзаменам, и было просто приятно у нее учиться. А здесь, в институте, математичка наоборот: как будто ни в чем сомнений и быть не может. Говорит: «Ну, это понятно», «Это и так ясно», «Сами понимаете». Задние ряды у нее на лекциях спят. Я и математику даже немного разлюбил...

Вот видите! А ведь он из-за математики, наверное, и вуз этот выбрал.

Один учитель не представляет себе удовольствия от урока, если урок прошел без какого-нибудь вопроса или чего-то спорного. Он на седьмом небе, когда у него на уроке шум-гам-тарарам и когда заглядывает завуч: уж не «свободный» ли здесь урок?

А другой учитель доволен, если урок прошел гладко и хорошо: все в порядке. У него на уроке спорить-то никому и в голову не придет.

Вот у нас на литературе в девятом классе, бывало, расходились вовсю! Особенно досталось «Горю от ума» и «Евгению Онегину». Учительница наша тогдашняя в эти споры лишь масла подливала.

А потом, в десятом, у нас стал по литературе старый такой, опытный учитель, очень любивший свое дело. Все у него было основательно, капитально: и почерк четкий, аккуратный, и закладки, которые он по мере использования складывал слева от себя, и точнейший конспект урока, и все книги обернуты, и отвечать ему нужно, сообщая информацию какую-то, а просто болтовня на тему его не трогала...

Я, правда, не знаю, можно ли литературу так уж знать, как математику. Очевидно, можно знать какие-то факты, связанные с нею: биографические, исторические. Но нельзя, чтобы в понятие «з и а т ь» входили преимущественно чьи-то суждения, это же по крайней мере неинтересно — при отсутствии своих. Ведь литература воспринимается субъективно. Тут могут быть авторитеты, но не всегда может быть резкое определение «правильного».

Так вот, знать литературный фактический материал в последний год мы стали лучше. Но споров у нас уже не было. Очевидно, весь стиль урока стал более серьезным и уверенным. Мы в основном изучали и рассказывали фабулу и образы (произведения учили, как всегда, «по образам»). А остальное рассказывал учитель. И метода была четкая. Вот он спросил, положил авторучку поперек себя перед журналом, и уже точно: теперь будет рассказывать.

Самое худшее — это когда теряешь к учителю доверие. Если ему не доверять, что же это получается за учение? Потому что нельзя, я уверен, знания принимать механически, как белье в прачечной. Отношение к информации, как и к учителю, тоже невольно критическое, особенно в старших классах. Поэтому это очень важно и нужно, когда на уроках свободно возникают споры, диалоги, выяснения и поиски главного. Это куда лучше, чем механическое записывание конспекта за учителем, записывание с настроением «себе на уме» или вообще без всякого настроения — все это, конечно, без толку...

А что определяет наше доверие к учителю, к той информации, которой он нас «кормит»? Прежде всего степень его эрудиции. Это понятно. И доверительность по отношению к нам. И еще чувство юмора — качество, по-моему, для учителя совершенно необходимое — не только потому, что в школе просто не получится без юмора, но и потому, что чувство юмора — это чувство воспитываемое.

Надо ли объяснять, зачем нам всем чувство юмора! Человек, который рассмеялся над своим недостатком, — уже враг этого недостатка. Бюрократ, которому стало смешно то, чем он занимается, уже немножко и не бюрократ. Кроме того, юмор придает человеку силы в тех ситуациях, когда брать их уже неоткуда...



Сейчас я благодарен тем учителям, которые хотя бы просто хорошо или терпимо относились к юмору. Однажды кто-то сказал:

— Евгения Алексеевна, а я задачку придумал по биологии!

— Какую? — спросила она с интересом.

— «Умный мужчина женился на глупой женщине. От этого брака родилось девятнадцать детей, и все дураки. Каковы генотипы всех членов семьи, если глупость — доминантный признак?»

Евгения Алексеевна не восприняла эту задачку как несерьезное отношение к серьезному вопросу или как издевательство над предметом, который она очень любила. Она просто рассмеялась.

Но полное доверие к учителю, к поставщику информации, о котором я говорил, — случай не очень частый. Во-первых, завоевать такое доверие не просто. А во-вторых, оно рождается на основе взаимности. Дело в том, что мы и сами ревниво хотели, чтобы нам как-то доверяли, чтобы и нашему мнению тоже давалось право на существование.

Вот наш учитель литературы, о котором я уже говорил, никогда бы не стал слушать человека, не знающего как следует существа дела. Ну, скажем, высказывающего какое-нибудь свое мнение о произведении, но не знающего как следует его фабулы. Он был, этот учитель, конечно, авторитетом. Уважение к нему переходило и на уважение к его и р е д м е т у. Было чувство, что раз этот человек так любит свое дело, так, значит, оно действительно стоит любви; значит, это серьезное дело, а не так, болтовня. Это очень важно, иначе всегда возникает вопрос: «А зачем мне (нам) это нужно?»

Думают обычно, что юности свойственно не признавать авторитетов. Это и так и не так. Однажды мой брат очень здорово сказал, что высшим авторитетом является истина.

Совсем уж неправдоподобно полагать, что авторитет учителя нужен только ему самому, чтобы легче учить. Нам — это я по себе и своему классу говорю — авторитеты все-таки были очень нужны. Мы им доверяли, мы их уважали и у них-то в основном больше всего и учились. Мы их, авторитетов, даже сами искали. И только могли сожалеть, что нас ими не баловали.

Но были. И чаще всего благодаря им мы выбирали свой вуз. И уже после школы именно из-за них могли сказать:

— Все-таки хорошая была наша школа.

А после выпускного, на котором я впервые четко почувствовал, что она уже не ш к о л а и не будет ею больше для меня никогда, мы шли по «нейтральной полосе» улицы Горького и пели песни своего, 10-го «б», репертуара. И кто-то из наших даже с гордостью некоторой поправил, что мы уж не 10-й «б», а бывший десятый, а я сказал, что нет, что мы так навсегда и останемся нашим 10-м «б», и мы кричали у памятника Горькому классному руководителю Зинаиде Моисеевне громкое «до сви-да-ни-я!», понимая, что это за «до свидания».

А перед Историческим музеем я стал буквально на ходу засыпать: первый раз в жизни прямо глаз не мог открыть — уже вторую ночь не спал. А потом приехал домой и в два часа следующего дня «пробудился к повой жизни».

Вы помните, выпускники 1907 года, какой это был в Москве день? Такой жаркий... Наверное, помните.

## НАШ ФЕЛЬЕТОН

Наталия Ильина

Демоническая сила

«Какой вывод делает наша молодежь, посмотрев эту картину?» — спрашивают три читателя из Молдавской ССР в письме, адресованном редакции журнала «Юность». «А

ничего более интересного вы не могли бы поместить?» — допытывается с горькой иронией читатель, пожелавший остаться неизвестным. Читательница же П. из Мурманска следующим образом сформулировала заданный редакции вопрос: «Могут ли ученики смотреть такую картину и что может в их понятии соображении остаться?»

В вопросах ощущается явное недовольство журналом, и заданы они не без злорадства: как-то будет редакция выпутываться, чем объяснит свой поступок?

Что же наделала редакция, какую совершила ошибку?

Перелистаем прошлогоднюю подшивку журнала, найдем номер пятый. Там опубликовано несколько репродукций картин, побывавших на выставках художников Москвы и Российской Федерации. Одну из этих картин, «Солнце, воздух и вода» художника А. Априля, по мнению читателей, не следовало помещать на страницах «Юности».

На берегу реки три юные обнаженные девушки. Место уединенное, девушки позволили себе купаться нагими. На наш взгляд, художественное решение темы не должно бы вызывать упреков: все очень мило, чисто, скромно. Но читатели сердятся. В чем же дело?

Вот еще письмо из поселка Усть-Донецкого, Ростовской области, написанное в больнице читателем М. по поручению группы больных. Они тоже недовольны редакцией «Юности» за опубликование репродукции картины Априля, а также недовольны редакцией «Огонька». Что же там опубликовали? Дадим слово читателям, сохранив в неприкосновенности стиль и орфографию письма: «...во весь рост лицевой стороной сделана скульптура «Танцовщица». Как и я, многие больные такими произведениями реализма очень удивлены и раздосадованы: ведь иллюстрированные журналы смотрят и наши дети». Эти читатели сообщают далее, что на Западе имеются «клубы прожигателей жизни — бездельников», где посетителей обслуживают совершенно раздетые официантки, и вот в таких клубах изображения обнаженных вполне уместны. «У нас же нет клубов прожигателей жизни, и изображения голых женщин, на наш взгляд, излишни».

Не знаю, верны ли сведения читателей из Усть-Донецкого о западных нравах, но даже если верны, то при чем тут картина «Солнце, воздух и вода», при чем «Танцовщица»? Какую связь усмотрели наши корреспонденты между голыми официантками и произведениями искусства?

Дело тут, видимо, вот а чем. Этим читателям кажется, что картины и статуи, изображающие обнаженных, всегда только неприличны. Данным читателям неизвестно, что все дело в отношении художника к изображаемому, дело в решении темы... Сама тема, тема как таковая, беспокоит этих читателей. Им кажется: как голых ни рисуй, кроме срама, ничего не получится, и публикация таких репродукций на страницах журналов — поступок безнравственный.

На таких же точно позициях стояли ханжи и фарисеи минувших веков. Удержать эти позиции в наше время и в особенности в нашей стране трудно чрезвычайно! У нас делается все, чтобы познакомить трудящихся с лучшими произведениями изобразительного искусства: устраиваются выставки, массовыми тиражами выпускаются альбомы репродукций, широко открыты двери музеев и картинных галерей. Каждому легко убедиться, что живописцы и скульпторы всех времен и народов часто изображали обнаженных. В Третьяковской галерее можно видеть «Вирсавию» Брюллова, трех обнаженных юношей на берегу Неаполитанского залива Александра Иванова и его же картину «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой». Музыкой-то они занимаются, но раздеты совершенно. Нагая Ида Рубинштейн, нарисованная художником Серовым, выставлена в ленинградском Русском музее. Картину Ренуара «Обнаженная» и статую Давида можно видеть в музее имени Пушкина. Одно время там гостили картины Дрезденской галереи, и среди них знаменитая Венера Джорджоне...

Множество зрителей ежедневно посещает эти музеи, и там постоянно толпятся экскурсии школьников. Не только, стало быть, на страницах иллюстрированных журналов могут наши дети видеть голых, но вот и в музеях...

Почему же упреки и горькие вопросы адресованы только редакциям, а дирекции музеев остались в стороне? Эта непоследовательность объясняется, конечно, тем, что авторы писем понятия не имели о том, что делается в музеях. И репродукций не выдвигали. И не знали, что художники испокон веков лепили, рисовали, писали обнаженную натуру. Ее пишут на уроках живописи, ибо знать и уметь изобразить человеческое тело художнику необходимо. Пианисты играют гаммы, живописцы пишут обнаженных — вот как обстоит дело.

Нет никаких сомнений в том, что авторы адресованных в редакцию писем чрезвычайно далеки от изобразительного искусства. Предосудительного в этом, разумеется, ничего нет. Мало ли у кого как жизнь сложилась! Но в таком случае, казалось бы, сначала немного ознакомься с вопросом, а потом уж атакуй редакцию. Однако некоторые читатели поступают почему-то наоборот: сразу хватаются за перья и пишут. Мало этого. Пишут чрезвычайно агрессивно, не ограничиваясь мягкими упреками...

Возьмем, к примеру, читательницу Н. Она поначалу тоже задает вопросы: «Какая тема этого рисунка? Какой замысел? Или какое воспитание?» Но темперамент читательницы Н. не позволяет ей удержаться в этих границах. Четвертый вопрос нескрывая гневен: «Что же вы опубликовали в своем журнале?» А пятый падает, как удар кнута: «Страницу разврата, разнузданности и бескультурия?» К чему приводят такие страницы, читательнице Н. хорошо известно: «Вот откуда берутся у молодежи своеволие, разнузданность и похабность!»

Этот гнев и эту страстность объяснить придется все тем же: читательнице Н. изображений обнаженных ранее видеть не пришлось. Она сообщает: «Поколение моего возраста воспитывалось без показаний подобных картин и рисунков». Следовательно, впервые она столкнулась с обнаженной натурой, лишь перелистывая иллюстрированный журнал. Это полное отсутствие художественных впечатлений, или, как она выражается, «показаний», не мешает читательнице Н. знать, чем надлежит заниматься художникам. Рисовать им следует «лишь то, что могло бы внести с собой вежливость, истинную культуру и тактичность в поведении молодежи». Эта поборница культуры, в жизни своей не переступившая порога картинной галереи, способна и вполне конкретно наметить для живописца ряд тем: «Он не мог нарисовать комсомольскую стройку? Стремление молодежи к уборке урожая? Новое в искусстве? В технике и многое другое, что можно популяризировать среди молодежи?»

Хотелось бы знать: высказывается ли читательница Н. по вопросам физики, химии и математики? Дает ли советы биологам и указания антропологам? Ах, почему бы в самом деле ей не делать и этого, не отговариваясь тем, что в данных предметах она несильна! Ведь вот и в изобразительном искусстве несильна, и мысли свои выражает неграмотно, а художникам советы дает...

Житель Москвы читатель С. пошел еще дальше: он уж и советов не дает. Он в своем письме прямо приговорает редакцию к позорному столбу: «За такую агитацию бесстыдства, безразличия и разврата вам не простят не только те из современного поколения, которые не пойдут за вами, но и те, которые попадутся на эту омерзительную удочку». А кроме того, редакция, оказывается, призывает еще и к разрушению семьи. Дело в том, что подобные картины «вызывают единовременную животную страсть», что для некоторых куда привлекательнее, «чем единая семейная жизнь».

Какие уж тут советы людям, сознательно толкающим молодежь на путь разврата! Этим людям советов не дают, с ними поступают иначе. И читатель С. в заключение пишет: «Позор!!! За такие вещи милиция штрафует».

Читательница К. (из Латвии) вообще не считает нужным тратить лишние слова. Письмо ее предельно лаконично. С сотрудниками редакции, такое на страницах журнала допустивших, разговор короткий: их следует «отдать под суд за аморальное разложение молодежи».

У каждого, разумеется, могут быть свои взгляды на изобразительное искусство. Излагая свои взгляды в письмах, необходимо, однако, их как-то обосновывать. Если же пишущий этого не умеет, а высказаться охота, то горячо рекомендуется добавлять: «мне кажется...», «на мой взгляд...», «мне не нравится, но, быть может, я ошибаюсь...».

Авторы здесь цитированных писем ничего не обосновывают, что не удивительно ввиду их малой осведомленности в затронутом вопросе. Но пишут тем не менее очень категорично. Почему бы это? А потому, я полагаю, что авторы писем совершенно убеждены в правильности тех требований, которые они предъявляют к искусству. Что же это за требования?

Угрожавший милицией читатель С. настаивает на том, чтобы редакция «Юности» заменила на своих страницах «опстракционную иллюстрацию настоящими художественными картинами». Выражено это требование странно, но по существу возразить против него нечего. Однако необходимо, чтобы человек, выступающий против абстракционизма, хотя бы знал, как это слово пишется. И не будет, пожалуй, чрезмерным требовать, чтобы протестующий понимал значение употребляемого им слова. Поскольку «опстракционной иллюстрацией» названа картина А. Априля, есть все основания полагать, что читатель С. нетвердо знает, о чем говорит. Твердо он знает лишь одно: абстракционизм — слово ругательное. Усвоив это, читатель С. оперирует данным словом легко и свободно, обзывая абстракционизмом все то, что ему лично, читателю С, непонятно или не нравится. Так он понял это слово.

Читательница Н. и ряд других читателей требуют от произведения искусства «воспитания», сурово спрашивая редакцию: «Какое воспитание в данной картине?» Требование сформулировано несколько прямолинейно и, я бы сказала, вульгарно, но по существу возразить тут опять-таки нечего. В самом деле: «чистого» искусства не бывает, произведение искусства непременно влияет на зрителя, и надо, чтобы влияние это было облагораживающим. Вполне, значит, разумное требование.

Однако что именно понимают под «воспитанием» читательница Н. и другие авторы некоторых писем? Что имеют в виду, говоря о влиянии картины на зрителя?

Имеют они в виду вот что: стоит человеку увидеть картину, на которой изображена стройка, как он тут же побежит строить. А увидит он, скажем, натюрморт Кончаловского «Зеленая рюмка», как тут же побежит выпивать. Показывать такому зрителю картину, изображающую голых, конечно, совершенно невозможно. Читательнице Н. хорошо известно, к каким последствиям это приведет: «Значит, можно молодежи выходить в лес, на пляж, раздеваться наголо (!) и вести себя совершенно свободно, да?»

Действие, оказываемое картиной на зрителя, мгновенно и осязаемо — вот как понимают влияние искусства процитированные мною корреспонденты! А кроме того, они убеждены, что воспитывать может лишь тема сама по себе. Поэтому-то и не следует рисовать голых или там рюмки, а следует рисовать что-то возвышенное и полезное...

Но как же в таком случае быть с рассказом Глеба Успенского «Выпрямила»? Речь там идет о молодом русском учителе, попавшем в Париж. Как и многие мыслящие юноши тех лет, учитель мучился бесправием и униженностью своего народа и собственной униженностью мучился. За утешением ходил в Лувр смотреть на Венеру Милосскую. Созерцание великого произведения искусства «выпрямляло» молодого учителя, давало ему заряд бодрости, веры в человека, веры в будущее... Вот какое облагораживающее влияние оказывала почти обнаженная Венера Милосская!

Авторы цитированных здесь писем этого рассказа не читали. Музеев и картинных галерей, как мы убедились, не посещали. О том, что дело не в теме, а в отношении художника к теме, не слыхивали. И вообще от вопросов изобразительного искусства далеки чрезвычайно. А вот какие требования надлежит предъявлять к искусству — это почему-то знают. Откуда же?

О воспитательной роли искусства у нас много говорят и пишут. Но глядите, что получается, когда разумные мысли плохо усваиваются. Мудро говорится в народной

поговорке: «Недоученный хуже неученого». И самые правильные мысли можно, оказывается, довести до абсурда. Ведь того, что мы здесь цитировали, наши искусствоведы не писали все-таки никогда!

Осталось выяснить вот что... Обратите внимание: авторы писем считают, что знание требований, предъявляемых к искусству, важнее непосредственного с ним знакомства. Дескать, в музеях не бывали, картин не видали, но что надлежит от картин требовать — знаем, и этого достаточно, чтобы советовать живописцам и поучать скульпторов.

Странное убеждение! Откуда оно взялось, сказать не берусь.

И также совершенно непонятно, почему некоторые авторы писем полагают, что они могут грозить художникам за их картины милицией, а редакциям за опубликование репродукций — судами. Искусствоведы тут совершенно ни при чем! К подобным расправам они никогда не призывали и даже не намекали на них, помнится...

\*

В нашей стране с вниманием и уважением относятся к письмам трудящихся.

Каждая редакция знает, сколько на ее адрес приходит дельных писем, содержащих разумные предложения, справедливую критику, интересные мысли... Но знает и то, что важной работе над этими письмами мешает поток писем иных... Вот таких, о которых шла здесь речь. Их ведь тоже приходится читать, и сколько же сил и времени уходит на труд, смысл которого лишь в одном: не пропустить письма дельного!

Предложения могут быть разумны, критика справедлива, а мысли интересны лишь в том случае, если предлагающий и критикующий понимает, о чем говорит и чего требует. Если ж не понимает, воздержаться бы ему от высказываний! Это печально, когда человек не ощущает границ своих познаний. Печально прежде всего для него самого, ибо сам он попадает в положение неловкое и смешное.

Множество анекдотических случаев можно услышать от сотрудников журналов, радио, телевидения, театра... Читают по радио поэму «Цыганы» — поток писем. Чему молодежь учите? Эдак каждый побежит убивать из ревности! Запретить! Выпускает издательство «Декамерон» — поток писем. Чему молодежь учите? Эдак каждый начнет... Запретить!

Смешно? Смешно чрезвычайно. Но и очень печально. Не только для тех, кто эти письма писал, и не только потому, что думаешь с тоской: «Ах, есть еще у нас воинствующие невежды, ох, есть еще!» Имеются и другие причины для печали.

Пушкину и Боккаччо, как давно скончавшимся, беспорядочная стрельба письмами не страшна. Но иных живых такие выстрелы ранят. Ибо есть редакторы и режиссеры, у которых уважение к письмам трудящихся оборачивается испугом перед письмами. Их сорок пришло, и все ругательные! Не снять ли на всякий случай пьесу?

Но, видно, следует не количество подсчитывать, а сначала в качестве разобраться. Чей тут голос: голос зрелого зрителя, понимающего, о чем он говорит и чего хочет, или голос невежды?

Невежды — это несерьезно. Они становятся силой, и силой страшной, только в том случае, если к их голосам начать прислушиваться.

«Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий», — сказано Марксом. Всегда бы нам помнить об этих словах.

## СРЕДИ КНИГ

Итак, господин Даниэль Дегрен, очень молодой господин, приезжает в Берлин. В Берлине нет еще у власти фашистов, еще существует легальная коммунистическая партия. Конечно, бывают и демонстрации и стычки рабочих с полицией, но внешне для иностранца он может показаться довольно спокойным городом. Однако господин Дегрен очень

нервничает: ведь под этим именем путешествует московский комсомолец Митя Муромцев. Что если в условное место не явится связной? Что тогда делать?..

Нет, вы не угадали: это не начало приключенческого романа. Это один из эпизодов новой документальной повести. Митя Муромцев, работник Исполкома КИМ (Коммунистического интернационала молодежи), приезжает в Берлин, чтобы помочь немецким товарищам наладить работу с пионерами. Командировка в Берлин оказывается действительно не такой уж мирной, но... об этом лучше прочтите сами.

Автор книги «Давай встретимся в Глазго» Владимир Иванович Дмитриевский пишет в своей — автобиографической во многом — повести не только о Мите Муромцеве. Главное в ней — люди, которые окружают Митю, его товарищи, его наставники и учителя, комсомольские вожаки двадцатых годов — Лазарь Шацкин, Рафаэль Хитаров, Александр Мильчанов, руководители зарубежного комсомола — Рихард Шюллер, Альфред Курелла, Франсуа Бийю. Немногие из них живы, очень мало мы знаем о них, о КИМе. И. очень хорошо, что Вл. Дмитриевскому удалось то, о чем он пишет в своей книге, — рассказать молодежи «о молодости их дедов — зачинателей и организаторов великого интернационального товарищества комсомольцев всей земли», рассказать не с позиций «убеленного и умудренного», а простыми, жаркими словами непосредственного участника событий — комсомольца тех лет.

Большое, полезное дело сделал Вл. Дмитриевский, книга писателя — хороший подарок комсомолу в его юбилейном году.

Вяч. ИВАЩЕНКО

\*

О «Путешествии из Петербурга в Москву» Александра Радищева написаны сотни книг, статей, исследований. Издательство «Наука» выпустило еще одну работу — Юрия Карякина и Евгения Плимака — «Запретная мысль обретает свободу». Это полемическая книга, авторы ее не ставят своей задачей провести всесторонний анализ «Путешествия» или рассказать о жизни и творческом пути Радищева. Два исследователя стараются разобраться в той разногласии мнений, оценок, полемических крайностей, которых в избытке накопилось за сто семьдесят пять лет после выхода книги первого русского революционера. В самом деле, одни считали Радищева либералом, возлагавшим надежды на «сидящего во власти на Престоле»; другие просто отмахивались от усложненной композиции книги, от ее «либеральных» глав и, не затрудняя себя, объявляли Радищева революционером, не знавшим сомнений. Одним казалось, что «Путешествие» — это всего лишь несколько отрывков, в которых писатель излил «свои мысли безо всякой связи и порядка». А позднейшие исследователи приходят к выводу, что «Путешествие» — книга, совершенно единая по замыслу и по выполнению.

Загадки радищевской книги и привлекают внимание исследователей. Ю. Карякин и Е. Плимак опираются на концепцию «Путешествия», выдвинутую Г. П. Макогоненко тридцать лет назад, и после тщательного анализа текста приходят к выводу, что «Радищев не придерживался одновременно двух «диаметрально противоположных программ — идеи «просвещенного абсолютизма» и идеи народной революции, вторую программу он выдвигал в противовес первой».

Но самое интересное в книге не соблазнительно простые выводы, которые можно изложить в двух-трех строках. Авторы сами остерегают читателя от поверхностных противопоставлений: революционер или либерал, «несгибаемый революционер» или революционер, допускавший «колебания»... Авторы стремятся «понять смысл проблем, стоящих за так называемыми ошибками и колебаниями мыслителей прошлого». Вот почему столь важен в книге анализ идейного наследия Радищева, осмыслившего уроки английской, американской и французской революций XVII — XVIII веков, уроки Крестьянской войны 1773 — 1775 годов в России. Автор «Путешествия» предстает в книге Ю. Карякина и Е.

Плимака выдающимся мыслителем своего времени, первым русским революционером, понявшим невероятные сложности освободительного движения. Духовная эволюция Александра Радищева в последние годы его жизни особенно подробно прослежена в книге; авторы рассматривают противоречивое отношение Радищева к Робеспьеру и другим вождям якобинской диктатуры, раздумья писателя о путях и методах революционного переустройства жизни в российских условиях конца XVIII — начала XIX века.

Основные выводы Ю. Карякина и Е. Плимака доказательны и помогают глубже понять книгу, ставшую первым манифестом русской революционной мысли.

Вл. АННЕНКОВ

\*

Я по опыту знаю, что такое книга, сделанная десятком переводчиков. Редко она звучит стройным хором. Чаще десяток солистов, дурных и хороших, тянут каждый свое. Но когда единое, волевое начало пронизывает всех участников хора, когда сильный замысел заставляет прислушиваться и покориться, тогда получается хорошая книга. Она получилась у М. Петровых, В. Звягинцевой, В. Соколова, Н. Матвеевой, Ю. Нейман и нескольких других поэтов, создавших книгу еврейского поэта Исаака Борисова на русском языке («Есть слова», изд-во «Советский писатель»). В ней участвовали настоящие поэты. В ней присутствует поэзия. Это заслуга переводчиков, В ней присутствует поэзия И. Борисова. Это заслуга поэта.

Довольно трудно в коротких словах дать исчерпывающую характеристику книги. Традиционная это книга или новаторская? Интеллектуальная или эмоциональная? Границы этих понятий размыты или недостаточно определены. В недавнем споре поэты, не внесенные в списки интеллектуальной поэзии, как будто бы справедливо предъявили претензию на интеллектуализм.

Недоразумение произошло из-за недостаточной ясности термина. Есть понятие интеллектуализма нашей поэзии в целом — понятие о высоком уровне поэтического мышления. Это относится к поэзии, а не к данному поэту. Ибо, принадлежа к поэзии интеллектуальной, сам поэт может и не быть философом.

Есть и другое, более узкое понятие — интеллектуальный жанр, философская лирика, название, встречающееся чаще.

Исаак Борисов работает в жанре философской лирики. При этом он умен и эмоционален.

Она жила и по стеклу  
текла,  
Как вдруг ее морозом  
оковало.  
И неподвижной льдинкой  
капля стала,  
И в мире поубавилось  
тепла.  
Стою — дышу на раму...  
«Вот чудак!  
Что ты тревожишься?..  
О чем хлопчешь?  
Иль у зимы отнять  
добычу хочешь?  
Тебя волнует этакий  
пустяк?  
Пора свои потери

подсчитать  
И жестко подвести черту  
итога...»  
— Ты прав...  
Но помоги мне. ради бога,  
Росинку эту оживить  
опять!  
(Перевод Ю. Нейман.)

В этом стихотворении главное — атмосфера жизни. Силлогизм мог быть прост. Он задан уже в первой строфе. Легко догадаться, что капля, утратившая тепло, получит его от поэта. Но тут в стихи входит судьба поэта, его состояние, его мысли. Возникает «силовое поле» поэзии. Оказывается, что процесс «оживления росинки» не так-то прост. Здесь таится серьезнейшая проблема: игнорировать ли «этакий пустяк», малое существование, согласиться ли с его потерей, поскольку «свои потери», может быть, серьезнее, важнее, или «оживить росинку» бытия.

Это стихи о трудностях добра, о том, что творящий добро нуждается в помощи.  
Д. САМОЙЛОВ

\*

Лирических сборников в наше время выходит немало. Но интересны лишь те из них, в которых читатель не только встречает приятные стихи, стихи, которые ему нравятся, но, главное, встречает интересного для себя человека. Встречает личность. Личность своеобразную, чертами своего характера близкую ему.

С такой поэтической и человеческой личностью знакомимся мы, читая «Лирику» Льва Озерова (изд-во «Художественная литература»).

В этой книге задача поэта обозначена открыто: «Как мне на белом сеете жить? Хочу я всех людей сдружить». Просто? Но это не декларация. Не поза. Это поэзия поэта, и способ, при помощи которого поэт достигает цели, прост. Природа, вечная, постоянная и неповторимая, помогает ему сдружить людей. Каждый узнает себя, свое видение мира в строгих и точных строках поэта:

У ландыша облик снега!  
И может — какая  
шалость! —  
Градина, прыгнув с неба,  
На стебельке  
задержалась.

«Путешествие к душам людским» идет через мир, полный красок, щебета птиц, через великий мир природы. В отношении природы, как, впрочем, и в отношении жизни и поэзии, у Льва Озерова своя позиция: «Каждый день — обновление, каждый день — новизна...» Этот светлый, заинтересованный взгляд на мир особенно привлекает в творчестве поэта. Умение радоваться и удивляться жизни, умение передать свою радость читателю чрезвычайно редко. Этот дар есть у Льва Озерова.

Мысли о времени, о природе, о любви тесно связаны между собой, они связаны личностью поэта, они объединены беспокойством, тревогой, движением, борением света и тьмы. И вслед за Н. Заболоцким, воскликнувшим однажды: «Любите живопись, поэты!» — повторяет Л. Озеров: «Любите музыку, поэты!» А ведь музыка и живопись живут в его пластичных стихах — в строгих, классических ритмах («Все держится на ритме: звезды, годы, и музыка, и труд, и эти строки...») и в наполненных воздухом и светом пейзажах. И в



этом во всем — в борении света и тьмы, в «правде светотени» — правда поэтического мира Льва Озерова. И, может быть, за светлое видение мира, за четко выраженную позицию: «Я столько лет в руках держу перо! Я приказал ему творить добро!» — Михаил Светлов сказал о поэтическом голосе Льва Озерова — «тихий голос хорошего человека». Прислушайтесь к этому голосу — вы много узнаете о мире!

Алла КИРЕЕВА

\*

Эта книга, выпущенная тиражом в 15 тысяч экземпляров, со знаменитым красным конем на обложке, быстро стала библиографической редкостью. Речь идет о монографии «Петров-Водкин», написанной искусствоведом Владимиром Костиным.

На страницах книги раскрывается облик большого русского художника, человека яркого, эмоционального, мужественного и многообразно одаренного. С увлечением слушаешь рассказ автора о формировании, сложном пути и творческих победах Петрова-Водкина.

Большое место занимает в книге анализ лучших достижений художника, которые органически вошли в советское искусство, нашу художественную культуру.

Полувековая история советского искусства, смотр которой прошел в юбилейном году, в числе крупнейших своих мастеров, несомненно, числит Петрова-Водкина, с его стремлением видеть в действительности прежде всего «положительное, радостное, жизнеспособное».

Можно с уверенностью сказать, что и книга В. Костина, написанная с любовью, с научной добросовестностью, снабженная обширным справочным аппаратом, богато иллюстрированная, не будет одиноко стоять на книжной полке, а станет «помощью ежедневной в ежедневной работе».

Каждый, кто возьмет в руки эту книгу, с благодарностью подумает о ее авторе, издательстве «Советский художник» и рабочих будапештской типографии «Кошут», набравших и печатавших эту интересную книгу.

Гр. АНИСИМОВ

## ДЕБЮТЫ

Светлана и Марта Авдеевы:

«Начнем с того, что мы родились в цирке...»

История о том, как сестры Кох передали свой знаменитый воздушный аттракцион «Семафор-гигант» сестрам Авдеевым.

Где-то под самым куполом идет по ребру «Семафора» Марта Авдеева. Аппарат движется, Марта держит в руках балансировый шест. Марта кажется тоненькой, хрупкой, но сейчас под куполом она нижняя, она несет Светлану. Совершенно не прогибаясь, в струнку, Светлана делает на одной руке стойку на голове у Марты, а аппарат движется, и Марта идет по его ребру...

Московский цирк, репетиция. Я сижу у самой арены рядом с Зоей Болеславовной Кох, режиссером номера — да, теперь режиссером.

— Расскажите, как вы ушли с арены? — прошу я.

— Уходить с арены так сложно... Это было в Киеве шесть лет назад. Мне было очень грустно; казалось: вот ухожу из цирка — и все кончено. Вы знаете, обычно я пела, когда шла на пуантах по ребру «Семафора». Но в тот день я перевирала слова, путала... Было воскресенье, мы работали утром и днем, а вечером не смогли выйти...

— Сколько лет было тогда вашей старшей сестре, Марте?

— Сорок восемь... И не надо Долше об этом, а то я опять заплачу... Смотрите, как работают девочки! Я два года искала, кому передать номер. Почему Светлану и Марточку

выбрала? Светлану я еще девочкой видела, когда они с мамой работали на першах. Она от природы артистка, с детства. Потом я увидела ее уже с Мартой в номере «Гимнастки на шестах». Светлана держала девятиметровый шест, а Марточка наверху работала. Но теперь я их поменяла. Вес и рост у девочек одинаковый, но я сразу поняла, что Марта должна быть ниже! Смотрите, как легко она несет Светлану.

— Как режиссер, вы должны стремиться, чтобы сестры Авдеевы не просто повторили сестер Кох, но в чем-то и превзошли их, не так ли?

— Я себя чувствую, как на допросе. — Она пытается улыбнуться и тут же решительно, как и подобает настоящей артистке: — Да, я хочу, чтоб они были лучше, чем мы. Они уже хорошо работают. Быть может, еще чуть-чуть... Чуть больше еще репетировать. Как папа нас заставлял. Но сейчас, наверно, другой век... А может быть, я излишне придирчива?

Репетиция закончена, «Семафор» уносят с арены — близится вечернее представление. За кулисами, там, где висит трапедия, я беру интервью у Светланы и Марты, а цирк живет уже яркой вечерней жизнью, к нашей беседе прислушивается некий милый дрессированный песик, но гладить его мне не следует («Осторожнее», — предупреждает Марта), он может схватить за нос, был такой случай с одним космонавтом...

— Начнем с того, — говорит Светлана, — что мы родились в цирке, мама и папа родились в цирке тоже, родились в цирке и дед и бабушка. И наш прадед — нет, прадед был тоже артистом, но родился не в цирке...

И Светлана рассказывает, что прадед был вынужден родиться, как все, то есть не в цирке, но, искупая эту оплошность своих родителей — благопристойных богатых бюргеров, — он убежал из дома с труппой бродячих гимнастов. Он взял себе звучное цирковое имя — Океане — и вскоре приобрел известность не только в Германии, — был приглашен на гастроли в Россию. Здесь Океане оставил двух дочерей. Сердцем младшей, Эльвиры, завладел «дядя Пуд», знаменитый цирковой борец Всеволод Авдеев («дед был сыном французской графини», — вставляет Марта). «Дядя Пуд» весил двести восемь килограммов, и немые фильмы с его участием так и назывались: «Дядя Пуд на прогулке», «Дядя Пуд женится» и т. д.

Да, в цирке желательно, даже в наш век, иметь родословную. Если Кио, то — сын Кио! А с какой гордостью в книге «Вся жизнь в цирке» повествует о своем происхождении Зоя Кох: «Моя бабушка, Татьяна Львовна Сычева, родная сестра прославленного наездника (Николая Львовича Сычева), в молодости была прима-балериной, а потом балетмейстером в цирке братьев Никитиных. В этом же цирке берейтером, то есть помощником дрессировщика лошадей, работал Александр Антонович Красильников. Молодые люди полюбили друг друга, поженились и открыли в провинции свой маленький цирк, почти балаган. Большинство номеров в этом цирке исполняли они сами и их дети...»

Это отступление объяснит, надеюсь, почему я беру интервью только у Светланы и Марты, тогда как сестер Авдеевых — три. Три сестры Кох, значит, и три Авдеевы. На самом-то деле третья, Валя, совсем не Авдеева. («Мы иногда за двоюродную сестру ее выдаем», — говорит мне Светлана.) Валя окончила цирковое училище, но вот в цирке не родилась. Светлана взяла ее в номер, Валя работает хорошо и, может, когда-нибудь, став знаменитой Авдеевой, откроет репортерам свою подлинную фамилию. Пока же история нового «Семафора-гиганта» — прежде всего история Светланы и Марты Авдеевых.

— Мне было два года, — продолжает Светлана, — когда я пришла в цирк совершенно самостоятельно. Вечером мама ушла на работу, оставив меня, как всегда, дома, но я взяла свой складной стульчик и пошла вслед за мамой в цирк. Я поставила стульчик перед первым рядом, и, выйдя на арену, мама сразу меня увидела...

— Она и в оркестр забиралась, — перебивает Марта, — и засыпала там, представляете? Музыканты играли совсем тихо, чтобы ее не будить. А сколько раз милиция

останавливала ее, когда она шла в цирк со своим складным стульчиком! Маму даже оштрафовать хотели: не следит за ребенком.

— Но, Марта, ведь вы моложе Светланы?..

— Да, на три года. Но мама так часто вспоминает об этом...

Как старшая сестра (ей 25 лет), и как почти уже дипломированный режиссер (заканчивает в этом году ГИТИС), и как руководитель номера, Светлана берет беседу вновь на себя:

— Марта с шестнадцати лет работает, а я уже в восемь сделала пластический этюд — под руководством бабушки. Как видите, и работать и учиться, что ныне так модно, я пошла одновременно.

— Ну ладно, — опять перебивает Марта, — пусть до шестнадцати я была хворой, зато через три года она уже получит право на пенсию, а я молодой еще буду, мне далеко до пенсии, и тогда я подумую: стоит ли таскать на голове пенсионерку?

Светлана смеется. Мне кажется, она чуть-чуть опекает Марту, гордится ее способностями, которые так раскрылись в новом аттракционе.

— Мы делаем на «Семафоре», — говорит Светлана, — совершенно новый трюк, которого не было у сестер Кох, — колонну. Марта несет меня — это 60 килограммов, Валю — еще 50, да прибавьте 16 килограммов баланса. Такой вес, да в движении, никто из женщин, по-моему, в цирке еще не носил.

(Вопросительно смотрю на Марту, неправдоподобно хрупкую для такого атлетического трюка. А Марта играет с собачкой, той самой, которая может схватить за нос.)

Светлана продолжает:

— Цирковому искусству нас учила бабушка, Эльвира Максовна Океане. Наша бабуся. До конца жизни она так и не научилась хорошо говорить по-русски, путала род, падежи, но это русское слово «бабуся» ей очень нравилось. Еще в шестьдесят лет бабушка сама нам показывала, как надо правильно стоять на руках, на голове. Помню, нам сделали новый «бублик» — это такой кружок, прокладка, чтобы стоять на голове, — и бабушка положила «бублик» на пол: «Надо самой попробовать». Стоит она на голове, что-то слишком долго стоит и вдруг говорит маме: «Катя, сними меня». У нее с позвоночником что-то случилось. Вызвали «Скорую помощь», но бабушка врачу не сказала, что стояла на голове. И только когда из больницы выписывалась, спросила: «А па голове мне стоять теперь можно?» Но врачи разрешили ей только стоять на руках, и бабушка еще до семидесяти лет на кольцах подтягивалась. Бабушка ездила с нами по всем гастролям. И пусть сидит в зале министр культуры или иностранная делегация, но мы с Мартой выходим и прежде всего ищем бабушку. Она пряталась в глубине зала, чтобы нас не смущать, но мы всегда находили ее по очкам, по взгляду — если бы вы знали, какой это строгий был взгляд! И вот я костюм уже свой осматриваю, думаю, так ли голову повернула... И все равно она кричит потом: «Халтурщики! Балаганщики! Я сидела и краснела за вас! Вы меня позорите!» Правда, последние годы бабушка уезжала на лето в Одессу, жила на даче в Аркадии, и осенью, вернувшись, садилась смотреть нас и плакала: «Я вами горжусь». Но уже на следующий вечер: «Халтурщики! Балаганщики!»... Идеалом артистки была для бабушки Зоя Кох. «Когда Зоя работает, — говорила бабушка, — у меня мурашки бегут. Вы посмотрите, как она держится! Свет внутренний от нее исходит. А как она кланяется, как будто для каждого зрителя в отдельности». И я с детства считала, что лучше Кох никого нет, что их номер — это нечто сказочное. И еще с детства я старалась хотя бы, как Кох, кланяться. Надо мной смеялись: «Ты же не Зоя Кох!»... И вот теперь я иду на пуантах по ребру аппарата, как шла Зоя Кох!

Тут я прерву Светлану, чтобы представить читателю Ивана Константиновича Папазова, который помог в свое время Болеславу Юзефовичу Кухаржу (отцу сестер Кох) создать «Семафор-гигант», а ныне, как режиссер-тренер, помогает возобновить номер.

(Светлана мне говорила: «Папазов не только занимается аппаратом и вообще всей нашей техникой, но и первым лезет наверх. И это в пятьдесят семь лет, причем без лонжи,

без ничего. Мы за него боимся: «Иван Константинович, куда вы?» А он стоит на самом верху круга, смеется: «Дурочки, вы дурочки»...)

Слесарная мастерская Московского цирка. Визжат сверла, летит тугая вязкая стружка — старый эквилибрист и тут работает артистически. Папазов делает велосипед, на котором сестры Авдеевы покатаются по ребру «Семафора» к славе, признанию, как когда-то его жена Марта Кох со своими сестрами Зоей и Кларой.

— Наш, отец создавал этот помер в сорок втором году в Ивановском цирке, — рассказывает Папазов, — и для аппарата были нужны металлические детали. Но весь металл в ту пору шел для фронта. Что делать? Около цирка открыли выставку трофейной артиллерии, хожу я по этой выставке и вижу: там такие замечательные детали к номеру есть, а присмотря за выставкой никакого... Наши артисты потом смеялись: «Папазов разобрал все трофеи»...

— Могу представить, как обидно вам было, что последние годы аппарат ржавел в Киевском цирке, уже никому не нужный...

— Я думал: такой помер у нас один, нельзя терять такой номер, но сестры Кох свое дело сделали. Хотя, помню, Зоя переживала: «Как же я брошу?»... Они правильно в тот последний день от вечернего выступления отказались, хотя их должны были вечером чествовать. Они могли бы, знаете, и попасть: нам, воздушникам, терять самообладание нельзя. Но Зою я понимаю: при ее славе, известности — такому артисту всегда труднее уйти. Старик Никитин, когда последний раз работал, взял горсть опилок с арены — целовал эти опилки. Зоя замечательная \* артистка, знаете, но в технике совсем не понимает — ничего. Год назад в Сочи я последний раз отработал и вскоре поехал в Киев — аппарат принял. Теперь обновить его думаю. Как Зоя одна могла бы восстановить номер? Зато в выборе девочек она не ошиблась. Марта с «колонной» шагает, как по бульвару. А круг-то движется... Хотя им легче, чем сестрам Кох. Сейчас, к примеру, чуть ли не каждый двойное сальто делает, а прежде — «смертельный трюк»... И все же работают здорово. Никто не сделает то, что они делают. Если бы видели вы синяки, которые они в первые дни получали, то, наверно, спросили бы: «Что вас пытали, что ли?» Такие синяки, а они опять лезут на аппарат... Покажите мне других таких девочек?

Светлана эти синяки помнит:

— Десять месяцев репетировали на низком канате, прежде чем подняться на аппарат. Поднялись. И трясемся от страха. По канату мы уже все трюки носили, а здесь первые дни падали бесконечно. Теперь не падаем и все трюки делаем. Но красиво ли, женственно? Как вспомню нашу бабуся: «Халтурщики! Балаганщики!»...

Интервью вел Ю. ЗЕРЧАНИНОВ.

## ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

### ИНДИЙСКИЙ ПРИНЦ ИЛИ... КОММУНАР?

Долгие годы он изучал историю Парижской коммуны. Писал о своих исследованиях, читал лекции. Потом задумал написать книгу о днях Коммуны — книгу, героем которой был бы Гюстав Флуранс. Это к могиле Флуранса через девять лет после падения Коммуны пришли рабочие, с чего и начались традиционные шествия парижан.

Наш историк отнюдь не пытался открыть нового героя Коммуны; многих его коллег уже привлекала личность Гюстава Флуранса.

Но вот однажды, работая над книгой, зная о жизни Флуранса все, что знать было возможно, наш историк вдруг спохватился:

— Но ведь я читал уже о нем книгу. Не статью, а именно книгу, яркую книгу. Все так знакомо. Нет, нет, определенно: все это кем-то уже написано...

Через несколько лет Иосиф Израилевич Гинзбург скажет мне с нескрываемым торжеством:

— Ну, конечно же, мы знакомы с Флурансом с детства. И как это я так долго соображал! Флуранс — прототип капитана Немо! И я сейчас докажу это. Только внимательно слушайте.

И я слушала. Гюстав Флуранс получил блестящее образование в парижском лицее имени Людовика Великого, где учились Вольтер, Робеспьер, Гюго. Он окончил его с двумя дипломами: филологическим и естественных наук. Затем он сотрудничает в газете «Марсельеза». Он возглавляет отряд восставших греков, сидит в тюрьме, дерется на дуэли с клеветником. Он создает и вооружает отряд стрелков, когда началась франко-прусская война. Он призывает строить баррикады, когда 200 тысяч парижан пришли на похороны убитого сотрудника «Марсельезы». Он встречается в Лондоне с Марксом и становится членом I Интернационала. И наконец, Флуранс — коммунары. Он ведет парижан на Версаль и гибнет от сабли жандарма. «Рыцарски великодушный, благородный Флуранс» — так вспоминал его Маркс.

— Вы давно читали Жюль Верна? — прерывает самого себя Гинзбург. — Вам все это ничего не говорит?

— Нет, ничего, — признаюсь я.

— Минуту внимания, — торжественно произносит мой собеседник, достает старинную гравюру, на которой изображен Флуранс, и просит определить его возраст.

— Возраст... Лицо еще молодое, по этот ученый лоб и борода...

Гинзбург листает Жюль Верна и дает мне прочесть: «Этому человеку можно было дать от 35 до 50 лет — точнее определить его возраст я не мог».

— Но это еще не все. Вот о внешности Немо: «Голова его была гордо поднята... Твердый взгляд отражал благородство мыслей... Облик его производил впечатление большой искренности. Тонкие, красивой формы руки, большой лоб». А все, кто вспоминал Флуранса, подчеркивали именно благородство его облика. И Герцен, пожалуйста, с восторгом писал Огареву: «Он мне ужасно понравился лицом и благородством всей посадки», — почти кричит историк.

— Ну, видите ли, — пытаюсь я возразить. — Жюль Верн многих своих героев падала благородной внешностью.

Кажется, Гинзбург меня не слышит. Он хитро улыбается.

— Но это пока только внешность... Читайте дальше: «До последнего вздоха я буду на стороне всех угнетенных, и каждый угнетенный был, есть и будет мне братом». Так говорит капитан Немо. А вот он ведет свой «Наутилус» к берегам острова Крит, поднимает с затонувших кораблей золото и говорит: «Неужели вы думаете, что я для себя собираю эти сокровища?!» А Флуранс именно на восставший Крит переправил деньги и сам туда прибыл с оружием в руках, — торжествует Гинзбург.

Он водит толстой ручкой по жюль-верновской страничке: «Отважный до безрассудства Немо пробивается к Южному полюсу». А вот он на «могиле» судна «Марселей», команда которого погибла со словами: «Да здравствует республика!».

— Понимаете?!

— Понимаю, но ведь Немо, кажется, был индийским принцем.

— Жюль Верн писал роман. Приключенческий роман, а не биографию Флуранса.

Гинзбург немного успокаивается и рассказывает, что Жюль Верн и Флуранс, как ему удалось установить, не были знакомы лично. Но о существовании друг друга, конечно, знали. Они жили в одно время. В одном городе. Имя Флуранса мелькало в газетах тех лет. Известно, что Жюль Верн был большим другом некоторых коммунаров, что он с жадностью следил за передовыми идеями.

— Так что же...

— А то, — кричит мой пылкий собеседник, — что не мог такой писатель не обратить внимания на Флуранса! Это же его герой! Капитан дальних странствий, благородный, отважный человек.

Что мне остается добавить к этому? Все герои этой истории — и в том числе сам историк — мне крайне нравятся. Как бы я хотела, чтобы догадка его подтвердилась! Во всяком случае, профессор А. И. Молок, автор многих работ по истории Парижской коммуны, даже старшего сына своего назвавший Флурансом, говорит, что догадка Гинзбурга — и очень интересная и убедительная гипотеза.

Быть может, она подтвердится, когда биографы Жюль Верна и историки получат наконец доступ к архивам писателя, ревниво охраняемым его наследниками?..

В. БЕЗРУКОВА

## ПРЕМИЯ БИЕННАЛЕ ДЕ ПАРИ ВИКТОРУ ПОПКОВУ

В маленькую художественную мастерскую, которая находится в мансарде одного из многоэтажных домов на Фрунзенской набережной в Москве, почтальон принес пакет, оклеенный французскими марками. Жюри парижской пятой Биеннале извещало живописца Виктора Попкова о том, что он получил одну из первых премий за произведения, показанные на международной выставке молодых художников в столице Франции осенью прошлого года.

На Биеннале были представлены работы из 60 стран мира. Тем приятней успех нашего соотечественника. Он удостоен почетной премии за картины «Двое», «Бригада отдыхает» и «Полдень». Первая опубликована в четвертом номере «Юности» за 1967 год, вторая — в третьем номере за 1966 год.

Начиная с 1958 года, когда Попков еще учился в художественном институте имени В. И. Сурикова, наиболее удачные его произведения репродуцируются нашим журналом.

Попков много ездит по родной стране, его холсты все чаще встречаются на московских и всесоюзных выставках, некоторые из его произведений приобрела Третьяковская галерея, отдельные гравюры закупил музей современного искусства в Югославии.

Сейчас Виктор Попков работает над серией новых полотен, раскрывающих характер людей и природы нашего Севера.

Ю. ЦИШЕВСКИЙ

## ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ «СЕЛЕНА»

Я уверен, что в пещеры первобытные люди собирались не только ради самосохранения или чтобы обсудить очередную охоту и т. д. А наверняка и потому, что так просто веселее. Ведь хотя они и были еще первобытными, но все-таки уже людьми. И даже танцевали уже, видимо, что-то похожее на твист в натуральном пещерном полумраке.

А что же говорить о современных студентах!

В раздевалке, конечно, очень хорошо. Общение там самое тесное. Но этого, как ни странно, мало.

И стали появляться студенческие кафе.

И вот уже одно из них, «Селена», при Московском институте электронного машиностроения, отмечает свой четырехлетний юбилей. Гремят залпы шампанского и хлопушек-конфетти. Ура!

Торжественность такая понятна — рождалась «Селена» не просто: с большими трудностями различного характера, ребята ночами не спали. И Золушка (столовка) обернулась прекрасной принцессой (кафе).

В наш век, когда общение между людьми, казалось бы, так расширилось — радио, телевидение и т. д., — порою все же очень не хватает живого человеческого общения с искусством, с друзьями, вообще с людьми.

«Селена» хранит воспоминания о своих гостях, доставивших студентам немало приятных минут. В «Селене» были Александр Галич (творческий вечер которого согласилась провести И. Грекова, мизмовцам знакомая не только как прозаик, но и как автор труда по теории вероятностей), джаз-ансамбль Гароняна (с Гароняном), Наталья Кончаловская (на вечере, посвященном Эдит Пиаф) и другие.

У самих ребят отличные джазисты, целых два коллектива. И, наконец, гордость «Селены» — цветомузыка (все-таки мизмовцы — электронщики).

— Причем, — говорит «средний» председатель совета кафе Саша Аруин (так как за четыре года председателей было всего три — кстати, тоже плюс «Селене», не так ли?), — к цветомузыке все относится по-разному. Вот моя мама заявляет, что цвет только раздражает ее, мешает слушать музыку. А многие, наоборот, в восторге; есть даже такое мнение, что цветомузыка прибавляет к слуху еще одно чувство, которым мы воспринимаем музыку, — зрение — и остается только потрогать музыку руками...

Одна девушка, которая, как и я, была в «Селене» впервые и которая очень любит танцевать, сказала мне потом, что каждый, кто с ней танцевал, спрашивал:

— А знаете, какая у нас цветомузыка?

Я обмолвился о совете кафе. Да, есть такой, он собирается по вторникам и мужественно решает сложные «кафейные» вопросы.

— А ведь можно было бы, — говорит нынешний председатель совета кафе Юра Терещенко, — раз студенческих кафе уже немало, собраться как-нибудь в горкоме комсомола и поговорить: «А у вас?» «А у вас?» — или даже создать штаб студенческих кафе.

Конечно, можно было бы. Все равно же дело это необходимое и студентам нужное, иначе к чему бы им весь этот огород? А опыт есть, как видите.

Н. БУЛЛ

## ФИЛЬМ НАЗЫВАЕТСЯ «ДВИГАТЕЛИ»

На традиционном пятом фестивале ВГИКа обратила на себя внимание картина со скромным и деловым названием «Двигатели», признанная лучшим хроникально-документальным репортажем года.

Представленная мастерской учебного фильма (руководитель Б. Альтшулер), эта картина стала одной из самых спорных, острых лент фестиваля. Не случайно именно авторам «Двигателей» — режиссеру В. Левину и оператору В. Ковде — присужден специальный диплом «За художественный поиск» журналом «Советский экран».

Но прежде чем рассказать об этой картине, немного истории — очень недавней. На четвертом вгиковском фестивале чуть ли не сенсацией стала другая лента того же В. Левина, тогда еще первокурсника\* — «Слова». В ней рассказывалось... вернее показывалось — в «Словах» звук использовался не как элемент художественного декора, а как часть действия — о фантастически трудной, героической работе молодой учительницы, обучающей речи глухих детей. «Слова» показывались по телевидению, даже заняли первое место на конкурсе любительских фильмов (в нем участвовали и вгиковцы), посвященном пятидесятилетию Советской власти.

...Светлая классная комната. Парты, составленные кольцом. И в этом кольце средоточие направленных на нее детских глаз — на учительницу Валентину Яковлевну Стаценко. («Расскажите, расскажите, пожалуйста, о ней отдельно, — просит В. Левин в беседе, которую мы с ним сейчас ведем. — Она делает чудеса. Нужно, чтобы все узнали о ней».) На этом уроке длиной в двадцать экранных минут и пять жизненных лет произойдет многое, чему мы станем свидетелями. Дети скажут свои первые слоги: са-со-су; первое

слово: сосулька; первую фразу: сегодня суббота. А потом — фантастика! — обратятся друг к другу: «Давай станцуем твист». И станцуют... глухие дети, трудом, волею, мукой, терпением маленькой худенькой женщины возвращенные к жизни. А она после занятий присядет в уголке, возле окошка, закурит...

Маленькая учебная лента-пособие (не побоимся этого слова) стала волнующим произведением искусства, художественным фильмом.

Володя Левин рассказывает: — До ВГИКа я учился в Институте химического машиностроения и занимался там в любительской киностудии. Потом пять лет работал на «Мосфильме» — инженером в лаборатории кинодекорационной технологии и опять-таки ходил в кинолюбителях.

На экране завод. Завод имени Владимира Ильича. («Я с детства живу поблизости от этого завода, он как родной для меня», — говорит В. Левин.) Здесь делают двигатели. Здесь трудятся те, кто является (в названии фильма явная символика) двигателями общества.

Вместе с камерой мы как будто поселились на заводе. Мы привыкаем к шумам цехов и к тишине ночного заводского двора, становимся свидетелями многих жизней — люди влюбляются, женятся, хлопчут о жилье, делятся друг с другом и с начальством своими треволениями. И все это здесь, на заводе, который для них вся жизнь.

Пожалуй, главное и самое ценное в «Двигателях» — не столько доподлинное, без помпезности воспроизведение атмосферы действия, сколько это, словно приходящее к нам впервые, ощущение единения рабочего коллектива, неизбежности, необходимости этого тяжелого, далеко не чистенького, с тысячами огорчений и неполадок и все-таки великого и торжествующего труда. Не столь уж часто за последнее время нам вот так хорошо и правдиво рассказывали с экрана о труде, о рабочем человеке — наверное, потому так волнует эта картина...

— Как работали? Мы создавали фильм о новой экономической системе, — говорит Володя Левин. — Хотели как можно доходчивее, правдивее и полнее рассказать о ее преимуществах. Но мы хотели создать художественный фильм, основанный на документальных съемках, но притом поэтический — такова была наша рабочая формула. Мы снимали летом. Через весь фильм, если вы заметили, проходит тема зноя. Машины, омывающие заводской двор, рабочий, жадно хватающий струю воды, и, наконец, дождь, облегчающий от жары, утоляющий, обновляющий, — все это поэтическая струя, которую мы старались привнести в фильм... Мы снимали не «скрытой», а репортажной, обычной камерой — методом, который принято называть кинонаблюдением. Долгое время узнавали завод, прежде чем появиться там со съемочной аппаратурой. Потом поставили камеры и засели на заводе на целых четыре месяца. Вначале от нас, мягко выражаясь, пытались избавиться, говорили «не до вас», но потом нам помогли и секретарь парторганизации А. Варфоломеев и директор завода А. Алов. Нас даже допустили в директорский кабинет, где решались на наших глазах, перед кинообъективом, важнейшие вопросы заводской и просто человеческой жизни. Но мы не хотели давать чистый протокол действия, мы пытались переосмыслить его, передать суть явлений, художественно оформить идею.

Л. ЗАКРЖЕВСКАЯ, член жюри фестиваля

## СПОРТ

### И ВНОВЬ ФУТБОЛ...

Весна — на поля прилетают грачи, а на стадионы, конечно, мячи. Уже сделан первый удар, уже забит первый гол. В «Юности» футбольный сезон открывают два героя сезона прошедшего: тренер московского «Динамо» Константин Бесков и центральный нападающий московского «Торпедо» и сборной страны Эдуард Стрельцов.

«Если бы мне пришлось начинать все сначала...»



## Интервью с Константином БЕСКОВЫМ

И вновь, как в былые годы, когда Константин Бесков блистал на поле, футбольный мир поклоняется ему. Он бросил вызов самому Виктору Маслову и, если не выиграл это единоборство, — уже и не проиграл.

Репортеры спешат утолить всеобщую жажду. Бескова ныне спрашивают: и как он учился в школе и имеется ли у него хобби?

И я, в свою очередь, изловчился и настиг Бескова в подмосковном санатории «Истра», где он пытался хотя бы на две недели уединиться с женой от этого безумного футбольного мира.

— Простите, уважаемый Константин Иванович, — сказал я, — но я бы хотел с вами поговорить о футболе.

А он вдруг весело:

— Я заранее знал, что даже за стенами санатория от футбола не скроюсь. Каждое утро — так было и так будет — я обречен вставать с занозой в голове: футбол, футбол, футбол... И засыпать с этой занозой, а иногда и ночью просыпаться. Но если бы мне пришлось сейчас начинать все сначала, я опять бы выбрал футбол.

Меня занимает: на что он рассчитывал, принимая перед прошлым сезоном «Динамо»? Неужели был убежден, что сразу же сможет оспаривать и Кубок и первенство у киевлян?!

— Через три года мне будет пятьдесят, — говорит Бесков. — И иногда мне кажется, что жизнь уже прожита. Но в то же время у меня сейчас какая-то особая уверенность в себе. Знаю, мне кажется, что правильно в футболе и что неправильно. Чувствую: хватит опыта, чтобы сплотить любой коллектив — найти игроков, поднять их мастерство. Я шел в «Локомотив», когда он вылетал из первой группы... «Динамо»? Это была рядовая, среднего класса команда, когда я ее принял. Но, поработав с ребятами месяц в зале и месяц в Самарканде, увидел, что команда имеет потенциальные возможности вести борьбу за высшие призы. Я знал, что не смогу за короткий срок резко повысить мастерство отдельных игроков, но зато смогу улучшить дисциплину, отношение к учебно-тренировочным занятиям, к режиму. Делал ставку на сплочение коллектива и, конечно, на тактику игры. Не один, конечно, возрождал команду — помогли Лев Яшин, наш комсорг Вадим Иванов, Виктор Аничкин, Валерий Маслов, Геннадий Гусаров, Георгий Рябов и другие. А ведь Гусаров и Рябов, как и Вшивцев, перед началом сезона были на грани отчисления из команды. Но подобрал для них место, и они вновь заиграли. Да, соперничать с киевлянами нам было непросто. Маслов имеет больше ярких индивидуальностей в своей команде, и он может усиливать ее за счет лучших игроков Украины. А я добивался полгода, чтобы разрешили играть за «Динамо» талантливому Козлову, которого я же в свое время пригласил в «Локомотив»... И вообще у киевлян было больше игроков основного состава, чем у нас. К тому же линии киевлян не так разоряли для сборной, как наши линии. Их защиту совсем не трогали. А нам какво пришлось, когда стали брать в сборную Аничкина и Маслова! И Мудрика не было: наш центральный защитник еще в начале сезона получил тяжелую травму...

— А если бы Аничкина и Маслова не брали в сборную, — спрашиваю, — вы бы не уступили киевлянам в чемпионате?

— Наши неудачи на финише имеют чисто психологическое объяснение. Должен признаться, что среди многих задач, которые мы решали в прошлом году, одну решить до конца все же не удалось. Современный футбол требует от игрока высшего уровня сознания. Тридцать четыре матча мы шли без поражения, и этот успех растворил волю, собранность отдельных игроков. Одни нарушали режим, другие приходили на тренировки без должной настроенности и, как следствие, их не хватало, чтобы провести весь матч на подъеме. Три-четыре игрока проводят матч не в полную силу — и потеря очка, а там, глядишь, и двух — так было в Москве, в матче с тбилисцами. После этого поражения мы долго играли успешно,

но в начале октября я заметил, что ребята вновь размагничиваются, теряют игровой тонус. Третьего мы выиграли у «Пахтакора», а через неделю предстояла игра с «Кайратом». Я думал: что делать? Ребята устали: кто по семье соскучился, кто по друзьям, по своей девушке. Может, поднимется настроение, если слетать на четыре дня в Москву, подумал я, и предоставить их вечерами самим себе? Десятого, прилетев из Москвы, мы выиграли у «Кайрата» 2 : 0 и опять возвратились в Москву: восемнадцатого предстояла игра в Ленинграде. Еще пять дней я отпускал игроков вечерами домой, а затем мы сыграли вничью с «Зенитом» и проиграли минчанам. Но я совсем не уверен, что, если бы все эти дни держал команду на сборах, игровой тонус удалось бы повысить. Мне казалось, что из двух зол я выбираю меньшее. Хотел верить, что сознание всех игроков уже соответствует требованиям современного футбола. Ведь нужно себя к игре собирать, как курочка собирает зернышки. Иначе у тебя желание победить — лишь на кончике языка, а побеждать нечем: душа пустая.

— Тренер должен быть жесток? — спрашиваю.

— Я не считаю жестоким того тренера, который профессионально относится к своему делу. Это не жестокость. Я предъявляю к игрокам требования, которые предъявлял в былое время самому себе, чтобы не сесть на скамью запасных. Я перестал играть лишь в тридцать четыре года, когда встал вопрос: футбол или аспирантура? А если бы я продолжал тренироваться, то играл бы, мне кажется, лет до сорока. Сейчас я веду приблизительно тот же режим, что и игроки, выкладываюсь на тренировках зачастую не меньше, чем они. Да, устаю, но не изнемогаю. Игрок не должен растворяться в своих слабостях — вот за что идет борьба. Были в моей тренерской практике случаи, когда игроки конфликтовали со мной: мои требования им казались, как вы говорите, жестокими. Но, прочитав одну из статей Товстоногова, я убедился, что совершенно аналогичные причины лежат и в основе конфликта артиста и режиссера. Я знаю и цену успеха Игоря Моисеева. Настоящий футбол, как и настоящий театр, балет, требует, чтобы человек отказался от каких-либо слабостей, соблазнов.

Распрашиваю Константина Ивановича о предстоящем сезоне. Но раскрывать карты он, очевидно, не склонен. Он лишь говорит, что динамовцы должны повысить техническое мастерство, чтобы освоить те тактические варианты, которые в предстоящем сезоне будут наиболее прогрессивными. Его беспокоит, что Федерация футбола требует у него четырех игроков в сборную — теперь еще Козлова и Еврюжихина. Его беспокоит возрастающая грубость на поле, ибо его девиз — «За чистый футбол». Московские динамовцы, как известно, не имели в прошлом сезоне ни одного удаления с поля. Есть у нас защитники, которые, с его точки зрения, попросту бьют классных, высокотехничных игроков.

— А к предстоящему сезону, — продолжает Бесков, — мы начали готовиться еще в прошлом году, во время поездки по Южной Америке. Ребята хорошо отдохнули: в изобилии солнце, фрукты. О своем престиже мы, конечно, не забывали, по и выигрывать любой ценой не стремились, а хотели красивую игру показать, различные варианты пробовали, играли гибко, учитывая противника. Южноамериканская пресса писала, что команда «Динамо» показала современную игру в обороне и в нападении. В шести матчах, кстати, Яшин пропустил лишь два мяча: один — с пенальти, другой — со штрафного. Умение Яшина руководить оборонными действиями, его опыт помогали нашим молодым игрокам обрести чувство уверенности. Мы опробовали в поездке несколько новых молодых игроков: центрального защитника Владимира Смирнова, который к нам пришел из «Кубани», полузащитника Владимира Белякова из «Волги». Ездил с нами и бывший спартаковец Юрий Семин.

— Согласны ли вы с мнением наших спортивных журналистов, признавших лучшим футболистом прошлого года Эдуарда Стрельцова?

— Конечно.

— Но вот зарубежные специалисты предпочли Стрельцову вашего Численно...

— Что касается умения вести индивидуальное единоборство, то здесь между ними нет большой разницы. Но диапазон игровых действий Стрельцова как нападающего

значительно шире, чем у любого нашего игрока. Вспоминаю еще пятьдесят пятый год, когда наша сборная выиграла 6: 0 у шведов. Были два аналогичных момента у такого классного игрока, как Сальников, и у восемнадцатилетнего Стрельцова. Получив в штрафной мяч с фланга, Сальников, который шел на большой скорости, отпустил его метров на шесть, и мяч достался вратарю. А Стрельцов в подобной же ситуации обработал мяч безукоризненно, подправил его и забил в ворота.

— Вы довольны своей судьбой, — спрашиваю я, — своими тренерскими успехами?

— Мне, очевидно, недостает дипломатичности. Слишком часто приходится называть вещи своими именами. И тренерская судьба моя до сих пор складывалась не идеально. В пятьдесят шестом году я пришел в «Торпедо» и были приглашены в команду юные Медакин, Мстревели, Маношин, Островский, Воронин. Требовалось время, чтобы обновленная команда заиграла, но довести дело до конца мне не дали. Подобная история у меня повторялась не раз. Я бы сравнил положение тренера с положением писателя, которому не дают дописать последнюю главу книги, говоря, что гораздо лучше ее допишет другой. Помните, я принял сборную, которая в ту пору проигрывала? И за одиннадцать месяцев мы ни разу не проиграли, сыграв тридцать матчей.

Но затем проиграли финал Кубка Европы испанцам (ведь в Мадриде играли!), — и меня тут же освободили: дескать, не смог сохранить Кубок! Такова судьба тренера.

Впрочем, нынче жаловаться на судьбу Бескову не приходится. Его команда начинает сезон, не собираясь уступать киевлянам.

Интервью вел Ю. ЛЕОНИДОВ

«Мы разговариваем на языке паса»

Интервью с Эдуардом СТРЕЛЬЦОВЫМ

Уже в самом конце беседы, когда я вдруг спохватился, что забыл поздравить его со званием лучшего футболиста года, он сказал мне: его команда осталась на двенадцатом месте, и признание журналистов его смущает, хотя быть лучшим, конечно, приятно, тем более, что журналисты красивую игру ценить умеют. А для него это — главное.

Да, Стрельцов из тех, кто делает футбол красивым. Вот он рассказывает о недавнем матче со сборной Англии:

— Я получил удовольствие во время этой игры. Такие матчи люблю. Не боишься потерять мяч, как сейчас говорят, импровизируешь. Тобой руководит не боязнь проиграть, а желание выиграть. И не просто выиграть. Красиво. Поле мокрое — немного мешало. Но зато какое там поле! Я впервые играл на «Уэмбли». Лучше поля, наверное, нет. Позавидуешь участникам чемпионата мира. Можно было хорошую игру показать... Я люблю футбол за то, что он красивый, и за то, что он трудный, мужественный, может быть, даже опасный.

— Красоту все по-разному понимают.

— Я понимаю так. Нас одиннадцать человек. Мы разговариваем на языке паса. Пас нас связывает. Можно красиво обвести, красиво ударить, красиво прыгнуть. Можно даже красиво бегать. Можно и нужно. Но самое главное — пас. Он должен быть красивым, то есть мягким, точным, своевременным. Он должен быть умным, то есть неожиданным, застающим врасплох, хитрым, что ли.

— Но иногда Стрельцов злоупотребляет пасом.

— Знаю, и ничего не могу с собой поделать. Мне и тренеры об этом говорят. Валя Иванов говорит. Но сам-то он всегда играл в пас. Кстати, кто так играет, обычно много забивает: Иванов, Бесков, Сальников, Федотов — каждый больше ста голов. Моя бы воля, я бы хорошие пасы считал, а не голы. Шучу, конечно. Но и то и другое — точно считал бы. Мне и голы всегда нравятся не индивидуальные. Коллективные.

А я напомнил Эдуарду гол, который он забил в позапрошлом году киевлянам, обыграв трех защитников и обманув вратаря. Гол, получивший приз за красоту.

— Удовольствия от него я получил меньше, чем от многих других голов. Вот, например, в Чили. Мы забили четыре гола. Именно четыре, хотя первый влетел от ноги чилийского защитника. Мне удалось дать верхом пас мимо вратаря прямо к Банишевскому. Если бы защитник не дотянулся, Толя легко отправил бы мяч в сетку. Но самый приятный гол из этих четырех для меня тот, что я забил с великолепного паса Толи Бышовца. Хочешь верь, хочешь нет, я был очень рад, что именно он сумел дать мне такой пас. Потому что Толю все упрекают, по-моему, справедливо, за индивидуализм, за то, что никогда мяч вовремя не отдаст. Он редко отдает. Многие говорят, что не умеет. Но вот доказал он, что умеет, во всяком случае, что может научиться. Как научился играть в пас Давид Пайс. В Трнаве мы три гола забили, и во всех он участвовал. А один раз дал такой пас, что мне только ногу осталось подставить.

Нет, не только ногу подставил Стрельцов. Пас действительно был хороший. Но как Эдуард его принял, как мощно двинулся вперед и как точно и несильно пробил в угол! Я не стал спорить со Стрельцовым. Иначе весь разговор превратился бы в спор. Его послушать, так он сам ничего особенного и не делает. И даже раньше, когда его задача была забивать, всё, по его словам, создавали ему Иванов и Сальников.

— Тоже было интересно играть. Сейчас другой интерес. Сейчас я должен сам создавать.

Тоже было интересно?! А ведь для подавляющего большинства форвардов интерес только в том и заключается, чтобы самому забить. Да и мы, журналисты, слишком часто ценим нападающих только по числу забитых голов. Помню, как все огорчились, когда в 1965 году Стрельцов, вернувшись в футбол, долго не забивал. Передач великолепных делал столько, что другому на всю спортивную жизнь хватило бы. А мы говорили: забивать надо. Наконец где-то в середине сезона он забил два гола в матче с минским «Динамо». Мне пришлось писать об этой игре отчет в «Советский спорт». Фамилия Стрельцова упоминалась дважды: «с ходу пробил в нижний угол» и «добил мяч в сетку». И все тогда говорили, что он отлично сыграл. А это был далеко не лучший его матч. Вот в прошлом году с тем же минским «Динамо» (торпедовцы проиграли 0:1) он действительно сыграл великолепно.

— Что толку, раз мы проиграли. Никогда так, наверное, не будет, чтобы получить удовольствие от своей игры, если команда проиграла. После поражения без люминала не заснешь.

— А после победы?

— Тоже. Но тогда и засыпать не стремишься. Приятно во всех деталях матч вспоминать. Вот и получается: сначала перед игрой ночь не спишь...

— Перед любой?

— Конечно...

Первое впечатление, когда видишь Эдуарда, — его усталое лицо. Большой футбол приносит игрокам не только удовлетворение от хорошей игры, от побед, не только утоление жажды борьбы (а в этом, мне кажется, существо спорта), не только интересные поездки и славу, но и огромную усталость. Она с годами накапливается. В конце сезона все они измотаны, утомлены физически и нервно. Весной большинство выглядит свежо. У Стрельцова же слишком трудная судьба, лицо у него всегда усталое.

Но сейчас он улыбается. Потому что не только играть, но и говорить о футболе ему приятно.

— Все обычно сравнивают бразильский и английский стиль игры, — продолжает Эдуард. — Я больше люблю английский футбол. Бразильским восхищаюсь. Восхищаюсь Пеле, который может обвести троих, четверых, но всегда стремится дать хороший пас. Для него пас — главное. Восхищаюсь их техникой. Но люблю футбол английский. Он смелый, сильный, решительный. Красота его в простоте. Мне нравится, как англичане идут на мяч. Бескомпромиссно, зло. На мяч, а не на игрока. Нравится, как они играют головой. Их атаки умны и логичны. И мощны. Они играют по-мужски. Уважают друг друга и не «ломают», как мы говорим, друг друга. Обидно за наш футбол, но в последние годы он становится более

грубым. Наши защитники — конечно, не лучшие, но ведь таких большинство, — уступая в мастерстве, не стесняются бить по ногам, охотиться за тобой. Трудно даже найти виновного. Это очень сложная проблема. И неуверенность тренеров, на которых давит начальство и которые могут лишиться места из-за поражений, и либеральность судей, и реакция публики — победа «своих» любой ценой. Грубость вообще сейчас бич «номер один» мирового футбола. Но наш-то футбол не должен быть таким. Просто не представляю, как можно бить товарища, если хотите, коллегу, только потому, что он играет в майке другого цвета. А ведь футбол при всей его суровости, что ли, как раз прекрасен, когда на поле торжествует благородство, уважение к противнику. Вот, например, так случилось, что в прошлом сезоне на два матча с московским «Динамо» (кубковый и чемпионат) я выходил с травмой. Мне делали обезболивающие уколы. Динамовцы об этом знали. В первом матче против меня играл Маслов, во втором — Аничкин, и оба они не то что ударить по ногам, даже по правилам ни разу меня не толкнули. А я знаю, что многие другие защитники, наоборот, постарались бы сделать так, чтобы я ушел с поля. Теория «очко любой ценой» защитила бы их.

— Но не эта ли теория заставила и тебя играть с травмой?

— Нет. Так случилось, что у нас некому было выйти на поле. А матчи эти были важными для «Торпедо». Разве, скажем, на чемпионате мира или Олимпийских играх уйдешь из-за травмы? В Чили, на первенстве мира, когда бразильцы играли с командой Чехословакии еще в групповом турнире, Пеле получил травму и остался на поле. А Коля Тищенко в Мельбурне с переломом ключицы остался на поле. Так что футбол требует, я бы сказал, героизма. Но грубиян никогда этого не поймет. И никогда не окажется способным на это.

Раз Стрельцов любит в футболе мужество, значит, думаю, ему должен нравиться и хоккей. И спрашиваю:

— А ты в хоккей играл когда-нибудь?

— Зимой иногда играю. Даже за первую клубную «Торпедо» выступал. Техника у меня не ахти какая. Зато скорость есть. На коньках я научился кататься поздно, лет в 14 — 15. А то бы, может, и технику приобрел.

— И стал бы хоккеистом?

— Нет, конечно. В футбол-то я играю с детского сада. В войну коньков у нас не было. Так что и по снегу мяч гоняли. Мяч — это, понятно, название условное. Но что-то гоняли. А хоккей я больше люблю смотреть.

— А футбол смотреть любишь?

— Любой! С удовольствием смотрю, как играют на первенство Москвы наши заводские клубные команды. И всегда болею. Когда смотрю матчи мастеров или международные, то вроде как изучаю. А за торпедовцев, особенно за юношей и мальчишек, болею страшно.

— Значит, будешь тренером.

— Хотя бы для того, чтобы с футболом не расстаться. Я без него жизни не мыслю. Старшим тренером команды мастеров я вряд ли смогу быть. Мне это вроде и не по душе. Хочу быть вторым тренером. Больше заниматься с дублерами. И главное — учить, показывать, что и как делается. Фишки на макете — не по мне. Может быть, так рассуждаю, пока играю. Но больше мне нравится осуществление, а не придумывание.

Мы беседуем в его небольшой комнате, под новогодней елкой. Входит жена Рая.

— Спроси его: почему он не любит выигрывать с крупным счетом?

— Да, не люблю я выигрывать 5 : 0. Как-то неловко перед соперниками. И жалко их. Неправильно это, конечно, но не могу себя перебороть.

Мне вспомнилось одно интервью с Пеле. Почему он не бьет пенальти? — спросили его. Оказывается, Пеле иногда стоит в воротах. И вот однажды ему били пенальти. Он говорит, что почувствовал такое отчаяние, беспомощность, бессилие, что с тех пор не стал

бить одиннадцатиметровые. Ему жалко вратаря. И Стрельцов тоже ничего не может с собой поделаться. Видимо, каждый большой мастер хочет играть на равных.

Разговор закончен, бабушка приводит с гулянья маленького Игоря, и тут Эдуард, немного смущаясь, мне говорит:

— Помнишь, в «Советском спорте» была беседа с тремя венгерскими игроками? Их спросили: «Ваше наибольшее желание?» Помнишь, как ответил Месэй?

— Помню. Чтобы его сыновья добились в спорте хотя бы таких успехов, как он.

— Я бы так же ответил.

Интервью вел В. ВИНОКУРОВ

## ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Да, это действительно футбол со всеми его странностями и непонятностями, относящимися в равной степени и к самой игре и к ее восприятию. Здесь с какой-то чистой и наивной непосредственностью соседствует все, что сказано, говорится и будет сказано о футболе, начиная от признания в любви (Л. Кассиль и Ю. Трифонов) и кончая сатирическими аргентинскими замечаниями братьев Тур, которые, наверно, не очень по сердцу истинному болельщику, ревнивому в своей привязанности и не прощающему даже тени недоброжелательности к предмету своей любви.

Среди многих футбольных книг сборник выделяется своей необычностью. Здесь, может быть, не так уж много сочных ударов по воротам и спасительной акробатики вратарей, приводящих в трепет сердца любителей, но здесь собрано все или многое, что происходит вокруг футбола, и из этих серьезных и шуточных, патетических и иронических, прозаических и стихотворных замечаний, реплик, очерков, рассказов постепенно вырисовывается то лицо футбола, какого мы порой не замечаем, футбола, вошедшего в быт, в литературу, вторгнувшегося в семью, в работу, в нашу жизнь, в личные отношения. Он предстает перед нами как элемент нашей общественной жизни. Даже в ехидных усмешках, анекдотах, островах по поводу нашей футбольной слабинки, рассыпанных в сборнике, проявляется вольное или невольное признание и уважение к нашей любимой игре, к игре, уже давно вышедшей за границы народного развлечения или оздоровительного мероприятия. Над теннисом и борьбой ведь не посмеиваются.

В сборнике много страниц, написанных писателями и поэтами в разное время и по разным поводам. Соединенные вместе, они дают живописную и убедительную картину. Футбол вписывается естественно и просто в нашу жизнь даже в годы войны. Нельзя без волнения читать рассказ Л. Кассиля о матче подводников и страницы из повести А. Борщаговского «Тревожные облака», воспоминания М. Мержанова. Да, футбол — это игра, в которой проявляются все лучшие черты советского человека: смелость, чувство собственного достоинства, патриотизм, товарищество, великий артельный дух.

Многие из событий, рассказанных в книге, проходили на глазах автора этих строк. Я видел матчи с басками, о которых пишет Андрей Старостин. На моих глазах разыгралась драма Кочеткова в матче ЦСКА — «Динамо». И я редактировал корреспонденцию спецкора «Красного спорта» П. Лебедева из освобожденного Киева о «матче смерти», ставшего затем темой повести А. Борщаговского.

Для того, кто читает сборник, это, если хотите, своеобразная футбольная выставка. И история, окрашенная впечатлениями участников и свидетелей, — от одесской «зари футбола», взятой из записных книжек Ю. Олеси, до «Открытия футбольной Америки» К. Симонова и В. Синявского и рассказа А. Софронова об английском чемпионате мира. Здесь же лучшие люди футбола в мемуарах А. Старостина, и рассказы Л. Кассиля, и многое, многое другое.

И немножко статистики, без которой не может обойтись ни одна футбольная книга. И юмористические рассказы, связанные с футболом. И стихи, хорошие и серьезные, стихи Э. Багрицкого, К. Ваншенкина, М. Луконина и И. Бехера, заставляющие нас по-новому

осмысливать и воспринимать футбол. И даже немножко методики — советов юным футболистам, для которых, собственно, эта книга и выпущена. Думается все-таки, что и старшее поколение получит истинное удовольствие от этой книги, хотя и заметит, наверное, некоторые несообразности и неточности. Впрочем, даже они имеют свой смысл, ибо показывают, как писали о футболе некоторое время назад, а это ведь тоже входит в историю игры. Жаль только, что не указаны даты написания рассказов и очерков.

Книгу хорошо дополняют старинные фотографии, а также иллюстрации, в частности И. Игина и Н. Елинсона.

А. ВИТ

Пылесос

Вл. Панков

В нашей школе — КВН

На субботу в актовом зале нашей школы назначен был матч клуба веселых и находчивых между шестым «А» и шестым «Б».

Целую неделю классные руководительницы оставляли нас после уроков и проводили с нами тренировки.

— Уче-ение... — в растяжку говорила нам Инга Ильинична.

— Свет! — быстро кричали мы в ответ.

— В каком слове есть три буквы «Е» подряд?

— Длинношеее, — вразброд отвечала наша команда.

— Каким будет синий платок, если его опустить в Черное море?

— Мокрым! — в упоении отвечали мы, предвкушая блестящую победу над заморышами из шестого «А».

— Прекрасно, — потирая руки, говорила Инга Ильинична, — завтра повторим вероятные вопросы по литературе.

Дело в том, что соревнования КВН должны были проходить по общеобразовательной программе. Там были вопросы и по зоологии: в — У кого усы длиннее ног?

И по физике:

— Как звали жену Бойля — Мариотта?..

Кроме того, в программе были прыжки на одной ножке через скакалку, соревнования, кто быстрее выпьет два литра воды и кто быстрее накормит друг друга манной кашей с завязанными глазами.

Мы все просто горели от нетерпения сразиться в честном поединке.

Но назавтра, когда Инга Ильинична стала прогонять с нами вопросы по литературе, оказалось, что с нашими знаниями далеко не уедешь.

— Какой ужас! — схватилась за голову Инга Ильинична. — Вы же меня без ножа режете. Стыд-то какой!.. Кто у нас капитан команды?

— Нет у нас капитана. Еще не выбрали.

— Надо что-то немедленно делать, надо спасти честь класса... Вы подумали, как мы будем выглядеть, если нас покажут по телевизору? Позор на всю страну! Есть предложение: чтобы в нашем клубе находчивых не было случайностей, выбираем в капитаны меня. Кто «за»? «Против» — нет.

Фу, все просто вздохнули свободно. Такого железного капитана еще Поискать! Инга Ильинична, по-моему, все-все знает. Даже кое-что лишнее...

И вот наконец суббота! Мы собрались в актовом зале, заиграла музыка, на сцену стали подниматься команды во главе с капитанами. У нас капитаном была железная Инга Ильинична. Как же мы удивились, когда у шестого «А» капитаном оказалась их железная

учительница Лидия Павловна. Мы сразу поняли, что и со знаниями шестого «А» уедешь не дальше, чем с нашими.

Тут мне Инга Ильинична подсказывает первый вопрос.

— Что вы знаете о теории Эйнштейна? — спрашиваю я во всю глотку у шестого «А».

Мы смотрим с ухмылкой на наших противников, а они ковыряют пол носками ботинок. Вдруг вперед выходит Лидия Павловна и запросто отвечает... И тут же подбрасывает нам вопросик насчет Резерфорда. Вся наша команда, как по команде, начинает глазами хлопать, а ответ приходится держать Инге Ильиничне. Она все про этого Резерфорда разобъясняет и еще спрашивает Лидию Павловну что-то такое, что мы даже не понимаем. Тут у них соревнование и пошло.

Постояли мы, постояли на сцене, потом надоело — в зал спустились. Сели тихонько и следим, как Инга Ильинична с Лидией Павловной друг дружку по физике и химии проверяют.

Скоро они науку бросили и стали на одной ножке через скакалку прыгать. Лидии Павловне хорошо — она молоденькая, а у Инги Ильиничны годы, одышка...

Потом стали воду пить. По два литра. Литр выпили, больше никак, но честь класса...

А тут как раз по программе подходит момент, когда капитаны должны друг дружку с завязанными глазами манной кашей кормить... В зале от волнения даже привстали... Напряжение! Муха пролетит — услышишь... Кто первый не выдержит?

Первым не выдержал я. Прыгнул на сцену и на глазах у всех одним махом съел манную кашу Инги Ильиничны. Все-таки любимая учительница...

Ох и нагорело же мне потом! Еще чуть-чуть, и мы бы выиграли...

Так что не видать нам себя по телевизору, как своих ушей.

Герман Дробиз

## ИСКУССТВО НАЖИВАТЬ ВРАГОВ

Еду я как-то в трамвае, размышляю о том о сем и вдруг прихожу к мысли, что у меня нет врагов. Причина — мой мягкий, слабый характер. Печальное следствие — не нравлюсь девушкам. И, что особенно обидно, — милой, милой, милой Кате...

Трамвайная тряска способствует логическому мышлению. Через два перегона делаю вывод: чтобы понравиться Кате, надо закалить характер. Характер закаляется в борьбе с врагами. Врагов нет, значит, их надо нажить. Буду наживать, не отходя от кассы. Вот сейчас оборву себе пуговицу с пальто, брошу вместо монеты и спокойненько возьму билет. Кто-нибудь сделает замечание, отвечу грубо и мгновенно наживу врага. Ругань, склока, возможно, драка, обязательно милиция — и мой характер покроется первым тонким слоем брони!

Бросаю пуговицу. Все видят. Жду. Все молчат.

Отрываю билет. Все видят. Жду.

Все молчат. Не вытерпел, говорю:

— А я вместо монеты пуговицу бросил.

Опять молчат. Потом один старичок дружелюбно так улыбнулся:

— Твое счастье, контролера рядом нет.

— Заткнись, папаша! — грозно сказал я. — Тебя не спрашивают.

— Не спрашивают, так не спрашивают, — согласился старичок.

Я быстренько осматриваюсь. Пожилая женщина, два пацана, солидный мужчина, здоровый парень... Ну, заступитесь, заступитесь за старичка! Что вам, горло подрать жалко? Вам пустяк, а мне закалка характера...

Молчат. Что за чертовщина!.. Иду ва-банк.

— До чего трусливый народ пошел, — говорю. — При них хоть человека режь — не пикнут.



Ну, думаю, так прозрачно намекнул — дальше некуда. Неужели никто не обидится?  
— Это ты точно подметил, — сказал парень. — Трусы и подхалимы. Вот у нас мастер...

— Вы совершенно правы! — перебила его женщина. — От хулиганья проходу не стало. Недавно возвращаюсь домой...

Но тут уж я перебил:

— С хулиганами хоть милиция борется. А вот, скажем, в трамваях. Вот я пуговицу бросил. Все видели и молчат.

— И молчим, — охотно согласился мужчина.

— А как не молчать? — сказала женщина. — То, что вы интеллигентно выглядите, еще ничего не доказывает. Теперь бандиты очень хорошо одеваются.

— Какие бандиты?! — рассердился я. — У меня даже оружия нет. Можете проверить!  
— И я стал выворачивать свои карманы.

— Умный бандит разве станет его в карманах таскать? — со вздохом заметил старичок.

— Сам умный, старый дурак! — заорал я, хватаясь за последнюю возможность обострить отношения.

— Умный, так умный, — согласился старичок. — Не умнее других.

И двинулся к выходу, а за ним женщина, парень, мужчина и пацаны. На смену им из глубины вагона наплывали новые пассажиры.

Итак, все рухнуло. Мне никогда не нажать врагов. Мне никогда не переделать характер. Никогда не полюбит меня милая, милая, милая Катя...

Я утер набежавшую слезу, порылся в карманах и бросил в кассу настоящую монету.

— Бросил монетку, а билет не отрывает, — раздалось за моей спиной.

— Раз не отрывает, значит, не бросил, — возразил другой голос.

— Конечно, не бросил! — поддержал третий. — Какой дурак бросит денежки, а билет не оторвет? Нет таких дураков.

— Как это нет? — раздался еще один голос с интонациями бывалого остряка. — Вот он, перед нами. Есть такой дурак.

— Послушайте, — сказал я, оборачиваясь к голосам и показывая билет, — ваши подозрения совершенно неосновательны.

Все так и ахнули.

— Все-таки оторвал! — удивился пятый голос.

— Ловкач! — восхитился шестой.

— Такой упитанный, а три копейки экономит, — пробасил седьмой, а дальше я сбился со счета, потому что посыпалось со всех сторон, я попытался было пробраться к выходу, но нечаянно толкнул бывалого остряка, получил в ухо, сел на чьи-то колени, получил в другое, и на ближайшей остановке меня вышвырнули из дверей в объятия милиционера.

На прощание седьмой голос сказал мне: «Ирод проклятый!», — восемнадцатый завопил: «Жмот! Жмот!», — а бывалый остряк прошептал с угрозой: «Ты мне еще попадешься!»

Я ликовал. Оказывается, я все-таки способен нажать врагов! Милая, милая, милая Катя, ты еще не потеряна!..

## В НОМЕРЕ

К столетию со дня рождения А. М. ГОРЬКОГО..... \*

Б. БЯЛИК. Отец.....

А. М. ГОРЬКИЙ. Письма к сыну

П| ПРОЗА едор КНОРРЕ. Ночной звонок. Рассказ.....

Василий РОСЛЯКОВ. Два рассказа:

1. ...И слезы первые любви. 2. Двое в \_\_\_

августе.....11

1

Василий АКСЕНОВ. Затоваренная бочно-тара. . По вест,ь с преувеличениями и с и о  
в и д е и я м и. (П о-с л е е л о вне к повести Е. Си- JT дорова) . . . . . "

## ф ПОЭЗИЯ

Татьяна КУЗОВЛЕВА. «Темноголовая де- \ Г) вочка Оля...»..... ,w

Ася ВЕКСЛЕР. «Падали, не дойдя до конца...». «Казалось, что в невыпавшей  
росе...». «Что случилось! Спокойная до грусти...». «Со снегом белым были в связи...». «Где  
скрипка — лист- 4П вою.,».....

Инна КАШЕЖЕВА. Декабри. «Стареет л л эпоха металла...» .....

Николай ПОТАПЕНКОВ. Стихи о тепле.

Лазареты 41-го.....ЛО

Эдуард БАЛАШОВ. «Я у Нарвских во- }?. рот...» .....

Ярослав СМЕЛЯКОВ. Сирень. Зарядка в j/l Гагре. Володя. Колокольчики "О

Василий КАЗАНЦЕВ. Дорога домой. «По полю, по травам, как легкая тень...». «О  
солнце второй половины зимы!..». А7 «Снежинок белые иголни...». Кедр . . °\*

Николай РУБЦОВ. Ночь на родине. Купавы. Синенький платочек. Ты с но- ж.у  
раблем прощалась.....\*»

Семен БОТВИННИК. «Есть чудо внезап- 1Q ных страстей...».....00

Анна АХМАТОВА. Надпись на книге ^

Аленсандр ГИТОВИЧ. Памяти Анны Ахматовой. Воспоминание. Моим читате- -wj  
лям. Остров святой Надежды .... //

Анатолий ПРЕЛОВСКИЙ. Ворон. Хлеб. jo Два мальчика, Сибирь. ... О

## О К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Э. ЧЕРЕПАХОВА. Златоваятели Грузии

## ® ПУБЛИЦИСТИКА

Арнадий АРКАНОВ. Вьетнам в огне . . °\*

Юрий ПОЛУХИН. Подвиг на трубке 70 «Удачная» ..... Ш

В. В. КОВАНОВ. Учитель, воспитай уче- ОС ника.....

## & СОЧИНЕНИЕ

## НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ

Николай БУЛГАКОВ. От дома до шнолы ТМ"

## f НАШ ФЕЛЬЕТОН

Наталья ИЛЬИНА. Демоническая сила \*\*

## ф СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации . . . 96

## © ДЕБЮТЫ

Светлана и Марта АВДЕЕВЫ. «Начнем 98 с того, что мы родились в цирке...» .

## ф ЗАМЕТКИ

## И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

В. БЕЗРУКОВА. Индийский принц или... коммунары? % Ю. ЦИШЕВСКИЙ". Премия  
Биеннале де Пари Виктору Попкову. Н. БУЛЛ. Цветомузыкальная «Селена». Л.  
ЗАКРЖЕВСКАЯ. \*П4 Фильм называется «Двигатели» . ,w1

## СПОРТ

И вновь футбол... (Интервью с Константином Бесковым и Эдуардом Стрельцовым)  
108

А. ВИТ. Признание в любви.....

А «ПЫЛЕСОС»

109

Вл. ПАНКОВ. В нашей школе - КВН . . , WT Герман ДРОБИЗ. Искусство наживать 4  
in врагов. Рассказ.....

На 1 — 4-й страницах обложки — рисунок В. БЫЛИНКИНА.

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. З я б к и и а.

Адрес редакции: Москва. Г-69. ул. Воровского, 52. Тел. Д 5-17-83. Рукописи не  
возвращаются.

А 00364. Подп. к печати 16/11 1968 г. Формат бумаги 84X108Vir,. Объем 12,18 усл.  
иеч. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 406. Заказ № 3839.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул.  
«Правды\*», 24.